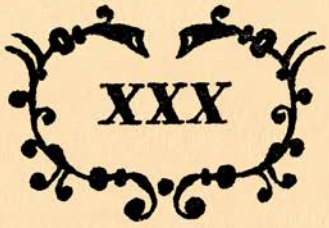
Новый Журнал



Нью-Йорк

Новый Журнал

THE NEW REVIEW

Основатель М. ЦЕТЛИН

Одиннадцатый год издания

Кн. XXX

1952

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1953-й ГОД

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА
ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

В 1953-м году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара,

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки,
в Бразилии — 30 крузейро.

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:
"The New Review", 223 West 105th St. New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.
Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня.

Редактор М. М. КАРПОВИЧ
Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ
Обложка работы М. В. ДОБУЖИНСКОГО

Copyright 1952, by "New Review". All right reserved.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Стр.

М. Алданов — Повесть о смерти 5
Б. Зайцев — Древо жизни 74

СТИХИ: — *З. Гиппиус, А. Величковского, В. Злобина, О. Ильинского, В. Смоленского, А. Браиловского* 127

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

Сергей Маковский — Вячеслав Иванов в России 135
Глеб Струве — Новые варианты шигалевщины 152

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Н. Воинов — Беспризорники 164
Письма Максима Горького к В. Ф. Ходасевичу 189
Александр Ос — По лесам и лагерям Суоми 203

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Н. Тимашев — Окаменение коммунистического строя 213
М. Вишняк — Оправдание народничества 225
Н. Градобоев — Состав Верховного Совета СССР 243
Ю. Марков — О советской железнодорожной политике 270

БИБЛИОГРАФИЯ:

Дм. Чижевский — Три книги о русской философии, *Ю. Сазонова* — И. А. Бунин «Жизнь Арсеньева», *Архимандрит Киприан* — В. Вейдле «Вечерний день», *Б. Филиппов* — Ю. Елагин «Укрощение искусств» и М. Коряков «Освобождение души», *М. Алданов* — Н. А. Тэффи «Земная радуга», *В. Завалишин* — С. Максимов «Тайга» и М. Булгаков «Сборник рассказов», *Роман Гуль* — С. Юрасов «Враг народа», *Ю. Елагин* — С. Малахов «Летчики», *Р. Прайзинг* — Stanislavsky's production of the Sea-Gull .. 279

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.
417 Lafayette Street,
New York 3, N. Y.
317

ПОВЕСТЬ О СМЕРТИ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ*

I

> It hath been observed by wise men or women, I forget which, that all persons are doomed to be in love once in their lives[1].
>
> *Fielding.*

В комнате Ольги Ивановны всё было в совершенном порядке, и чистота была необыкновенная: нигде ни соринки. Каждая вещь стояла на определенном раз навсегда месте, и еслиб кто-нибудь что-нибудь хоть немного передвинул, хозяйка тотчас заметила бы это и поправила. Лиля, смеясь, говорила, что всякий раз, как она входит в комнату мамы, ей хочется вылить там на пол чернила, поставить стул на туалетный столик и разбросать все вещи. Оклеена была комната светленькими обоями в цветочках, а мебель обита розовым кретоном. На стенах висело несколько залитых солнцем пейзажей. В углу стоял туалетный столик с дорогим прибором из слоновой кости; на щеточках и на склянках были латинские буквы О. Л. Это был подарок мужа, привезенный им из Парижа. Ольга Ивановна чрезвычайно дорожила прибором, как всеми подарками мужа, и почти к нему не притрагивалась; редко пользовалась духами, пилочками, ножницами. На письменном

---

* См. 28-ю и 29-ю кн. «Нов. Журнала»

[1] «Было замечено умными мужчинами или женщинами, не помню, какими именно, что каждый человек обречен однажды в жизни влюбиться».

столе стояли натертая до блеска серебряная чернильница, такие же песочница и лодочка для перьев, портреты мужа и дочери, работы киевского живописца, в серебряных рамках. Этим столом она тоже пользовалась не часто. Когда муж находился в Киеве, ей некому было писать: с дочерью она никогда не расставалась; если же Лейден уезжал, писала в его кабинете. По конституции дома, Ольга Ивановна ничего на письменном столе мужа не трогала: Константин Платонович этого терпеть не мог. Она имела лишь право, и то нелегко завоеванное, сметать пыль с книг и бумаг, осторожно их поднимая и кладя на прежнее место. Лейден вначале относился к этому так, точно для его жены тут было приятное ей, а ему очень вредное занятие; ее работа была большим злом, но пыль всё-таки тоже была зло, он и выбрал в конце концов меньшее. На собственном письменном столе Ольги Ивановны перья всегда были хорошо очинены, а чернила в чернильнице свежие. Они никогда в спальной не наливались, Ольга Ивановна уносила чернильницу на кухню, наполняла очень аккуратно, сливая из бутылки по стеклянной палочке, и вытирала всё предназначенной для этого тряпочкой. При этом Ульяна говорила, что барыня слишком много пишет и что это очень вредно.

Теперь кабинет был занят Виером, и Ольга Ивановна писала у себя. Когда она заканчивала шестнадцатую страницу письма к мужу, в комнату вбежала Лиля и взволнованно сообщила, что ливрейный лакей принес приглашение к польскому графу. Лейдены с ним были мало знакомы; его дом считался одним из лучших в Киеве, и попасть туда было не так легко.

— Я посмотрела, mon chat, вы, я знаю, не рассердитесь. Зовут нас в четверг вечером на чашку чаю. Вас и меня!.. Я дала лакею полтинник, не мало? Но вы мне отдайте, у меня осталось всего двадцать пять копеек. — Лиле полагалось карманных денег пять рублей в месяц, что тоже считалось баловством. Ее подруги получали два или три рубля. — Приглашение на карточке и в конверте! А на нем, смотрите, надпись «Madame et Mademoiselle Leyden», через игрек! Папа тоже

так пишет, так в его заграничном паспорте. Мама, нам *нужно* обзавестись конвертами! Скоро у всех в Киеве будут, а у нас еще нет. Теперь уже никто не пишет писем без конвертов. И это так удобно, не нужно сургуча. Я попрошу Тятеньку достать для нас. Можно?

— Можно, только не очень дорогие. Вот он кстати, Тятенька, легок на помине, — сказала Ольга Ивановна. Из передней раздался звонок, Тятенька всегда звонил по своему. Ольга Ивановна и Лиля вышли в залу.

Там карточка была внимательно изучена всеми тремя.

— Гравированная, — одобрительно сказал Тятенька, проводя пальцем по буквам.

— Это верно устроил мосье Ян! — сказала Лиля.

— Что-ж, он нас *угощает* графом? — спросила Ольга Ивановна, задетая словом «устроил». — Мы, слава Богу, ни за какими графами не гоняемся.

— Да нет, mon bijou, просто мосье Ян нас хочет познакомить с новыми *интересными* людьми, — поспешила сказать Лиля. — Не в том, конечно, дело, что он граф. Но, говорят, он очень любезный и образованный человек.

— Конечно, конечно, пойдите, — посоветовал кисло Тятенька. Он был задет тем, что сам приглашения не получил.

Виер, войдя в залу, объяснил в чем дело:

— Там будет Бальзак. Он приехал в Киев из Вешховни. Я думал, вам будет интересно на него взглянуть. Граф знает Константина Платоновича, он, кажется, имел с ним дела.

— Бальзак!.. Ах, как я рада! — сказала Лиля. — Я всё его читала!

— Что-ж, и я рада. Мы слышали, что он гостит у Ганской, но я не знала, что он приехал в Киев.

— Приехал в Киев? Да, они вместе приехали. Кажется, граф с Ганской в родстве или в свойстве. Вся польская знать в родстве или в свойстве, — сказал с улыбкой Виер. — А вам я по секрету сообщу, что, может быть, Бальзак прочтет что-то свое. Разумеется, это не публичное чтение: для публичного чтения нужно было бы разрешение, его не дали бы полякам.

Но он у них обедает, а после обеда уступит мольбам гостей и что-то прочтет.

— Вы приглашены и на обед?

— К сожалению. Я не охотник до графов.

— Значит, у них dîner prié? — вставила Лиля. Но парижанин Виер не оценил или даже не понял этого выражения, которое давно вышло из употребления во Франции; Лиля читала и старинные романы.

— А после обеда будет много народа?

— Кажется, человек тридцать.

— И панна Зося будет? — с лукавым видом спросила Ольга Ивановна и погрозила ему пальцем. Она что-то слышала от Тятеньки, спросила, не подумав, и сама смутилась: бестактных или бесцеремонных вопросов никогда не задавала. Виер густо покраснел.

— Какая панна Зося?

Ольга Ивановна назвала фамилию и что-то постаралась объяснить: слышала, будто эта прелестная барышня имеет большой успех в польском обществе. Лиля не знала, куда деться. То, что мосье Ян смутился, было ей тяжело.

— Я не знаю, будет ли она. Может быть, — сухо сказал Виер, особенно недовольный тем, что покраснел.

— Ты что наденешь, чудо мое? — виновато спросила Ольга Ивановна. Чудо мое посмотрело на нее зверем, но ответило: «Синее, английского бархата». Между ними начался разговор о платьях.

«Они-то откуда знают?» — с раздражением подумал Виер. «И что же именно они знают? Что я хотел жениться и что *они* не хотели?».

Он побывал у своей барышни на следующий же день после приезда. Ее родители остановились в Английской гостинице, самой дорогой в городе. «Верно, запродали пшеницу или клевер и приехали сюда пыль пускать», — с улыбкой думал он, одеваясь. У него было свойственное полякам уменье хорошо носить костюм. На этот раз оделся особенно тща-

тельно. «Ну, что же меня ждет?» — думал он по дороге. Думал с волнением, — однако не с таким волнением, какого сам ожидал. «Значит, не влюблен?» — спрашивал он себя огорченно. — «Если сам себя об этом спрашиваю, то не очень влюблен. Или в самом деле я бесчувственный человек?».

Увидев Зосю, он вспыхнул от радости. Она тоже покраснела. Видимо, была крайне смущена. «Неладно!» — тревожно подумал Виер. — «Неужто разлюбила?..». Он почтительно поцеловал руку ее матери, затем, поколебавшись одно мгновенье, поцеловал руку и Зосе, хоть это не было принято; Виер сказал себе еще по дороге, что после долгой разлуки можно, и тотчас увидел, что нельзя. Отец и мать встретили его любезно, но видимо были не в восторге от его прихода. «Так, так, понимаю!» — подумал он. Взгляд у него стал холодный и надменный.

После десяти минут разговора не оставалось сомнений. И опять Виер удивился, что принял это не как катастрофу. Он говорил о Париже, обращался преимущественно к родителям, изредка поглядывал на Зосю, спрашивал ее, предпочитает ли она Киев или деревню. Она отвечала робко и всё более смущенно. «Понимаю, понимаю. Верно, появился другой. Очень хорошо. Я этого собственно и ждал», — солгал он себе. Когда он встал, посидев не более четверти часа, родители, переглянувшись, пригласили его на следующий день к обеду.

— Да, да, непременно приходите! *Мы* так рады вашему приезду! — с чрезмерным жаром сказала Зося.

— Благодарю вас. Я охотно приду, — сказал он. Был доволен тем, *как* он это сказал.

Отец проводил его до лестницы, в корридоре, тоже с жаром пожал ему обе руки и даже хотел потрепать его по плечу, но Виер отстранился. Внизу в небольшом холле он остановился и рассеянно закурил папиросу. «Теперь надо всё обдумать. Впрочем, что же тут обдумывать?..».

Кто-то его окликнул. Оказалось, школьный товарищ, с которым он встречался и в прошлый свой приезд. Другом тот не был; у Виера и в школе было мало друзей. Теперь эта

встреча была ему неприятна, как была бы и всякая другая: он хотел остаться один. Они поговорили — опять о Париже. Узнав, у кого он был, товарищ, поглядывая на него, спросил, принимают ли они уже поздравления.

— Поздравления? С чем? — спросил Виер равнодушным тоном. «Ну, да. Сейчас всё буду знать», — подумал он и небрежно положил папиросу в пепельницу. Он угадал: оказалось, что у Зоси жених, молодой помещик из Конгрессовки.

— Вот как? Я не знал. Кто такой?

— Им повезло. Прекрасная партия. Приятный человек и две тысячи душ, — ответил товарищ и назвал фамилию жениха. Фамилия была хорошая, хотя и не громкая.

— Две тысячи душ. Да, разумеется, прекрасная партия, — медленно повторил Виер. — Это верно? Они мне ничего не сказали.

— Еще не объявляют. Жених поехал в Варшаву к матери за благословением.

— Я очень рад за них, — сказал Виер. — Она очень милая барышня.

«Ну, вот, всё кончено, — подумал он, выйдя на улицу. — И я ничего не могу сказать. У нас ведь была просто милая корректная переписка. Правда, она могла бы известить меня. Но, может быть, написала после моего отъезда из Парижа. Или сама еще тогда не знала. Не знала, что свалятся две тысячи душ. А то ее заставили родители?» — спросил он себя, цепляясь за это предположение, менее обидное для его самолюбия (смутно уже чувствовал, что для него теперь главное в оскорбленном самолюбии). — «Возможно, что и заставлять не надо было. Ведь в самом деле, две тысячи душ! Шутка ли сказать».

На улице он опять остановился: куда же теперь идти и что делать? Дул сильный ветер, было очень холодно. У подъезда гостиницы на углу Крещатика стояли извозчики, но он пошел пешком вверх по крутой Лютеранской. «Ну, что-ж, во всяком случае моей вины нет», — думал он: эта мысль всег-

да его успокаивала в неприятностях. «Принял совершенно спокойно, как следовало. Может быть, даже слишком спокойно? Да не вызывать же этого помещика на дуэль!» — сказал он себе с усмешкой. — «Может быть, какой-нибудь горячий шляхтич так и сделал бы. Я не шляхтич и не горячий. Это было бы глупо до смешного. Помещик вдобавок ничем не виноват, он верно и не подозревает о моем существовании».

Он вспомнил то, что рассказывали в польской колонии в Париже: у Мицкевича был роман с какой-то знатной польской барышней, он был в нее влюблен, и она тоже как будто была в него влюблена, но, по желанию родителей, вышла замуж за человека ее круга. «Мицкевич был, даже, кажется, ее женихом, а у меня с Зосей ничего почти и не было... Они мне не решились сказать. Быть может, хотят сообщить завтра на обеде, «как нашему другу, вам первому». Подали бы шампанское и выпили бы за их здоровье. Разумеется, я к ним на обед не пойду!».

Его самолюбие было задето и тем, что с *ним* вышла такая обыкновенная история. Правда, сходство с историей Мицкевича немного его утешило. «Он был беден, а ей нашли богатого! А что он был *Мицкевич*, это для таких людей никакого значения не имеет. Что-ж, он с собой, к счастью, не покончил, и я не покончу. Я не Мицкевич, но и у меня есть дело в жизни».

Вернувшись в дом Лейденов, он написал краткое письмо отцу Зоси: извещал, что, к большому своему сожалению, не может прийти завтра обедать: давно приглашен к другим, о чем было забыл. Затем, походив по кабинету, порвал на мелкие кусочки это письмо и написал другое: во втором тексте ничего не говорил о другом приглашении, а вместо «к большому сожалению» написал «к сожалению». «Так лучше, больше не будут звать». Еще походил по комнате, хотел было восстановить первый текст, но не восстановил. Попросил дворника тотчас отнести письмо и дал ему рубль; за услуги в доме всегда давал начай щедро, гораздо щедрее, чем давал бы богатый человек.

Странным образом, почти незаметно для него самого, история с Зосей несколько изменила его политическое настроение и не только тем, что еще увеличила его ненависть и презрение к деньгам, к их власти, к миру богатых людей. Теперь он думал, что незачем *всё* валить на русских. «Вот и у нас тоже «души», в этом Лейден, к несчастью, был прав. Когда мы освободим Польшу, тот помещик зубами вцепится в свои две тысячи душ. И еще более прав Бланки, доказывавший мне «примат социального над национальным». Сейчас для нас, поляков, это неверно, но, конечно, за национальными войнами придут войны гражданские, и смысла в них будет больше, чем в национальных войнах».

Он думал также, что скоро надо будет отправиться в Петербург, а оттуда заграницу. Но уезжать из Киева ему не хотелось. «Нельзя однако слишком долго пользоваться гостеприимством Лейденов, как они ни милы».

Виер не мог не видеть, что Лиля понемногу в него влюбляется. Не хотел притворяться, будто это ему неприятно. Самая мысль о том, что он мог бы жениться на русской, не приходила ему в голову. Это было бы изменой национальному делу. Тем не менее Лиля в последние дни всё больше ему нравилась. «Вздор, и не влюблена она, а просто «любит любить». Скоро закончу все дела и уеду. Хоть Киев и провинция, но для доклада князю Адаму надо толком узнать, что здесь делается».

Он посещал польские кружки, говорил там о близости европейской войны, призывал слушателей готовиться к ней. Слушали его внимательно, с интересом и с уважением: он жил в Париже и следовательно должен был знать всё о намерениях французского правительства. Престиж Виера ослабевал, когда из его ответов на вопросы оказывалось, что он не только ни разу не разговаривал с Тьером или с Гизо, но и никогда их не видел. Не мог даже толком ответить на вопрос, «что думает князь Адам»: Чарторыйский в своем единственном разговоре с ним не касался особенно важных вопросов. Заканчивая до-

клад, Виер просил слушателей высказаться. Они отвечали не очень уверенно, некоторые и не очень охотно. Не подавали большой надежды на то, что строй Николая I рухнет. Иные откровенно говорили, что никаких признаков его близкого падения нет.

И главное, никто не понимал, как же они собственно должны «готовиться к войне»? Не заниматься сельским хозяйством? Не посещать Контрактовой ярмарки? Не поступать в университет? Пользы для польского дела от этого быть не могло, и всем им надо было жить. Виер советовал вести пропаганду, но они встречались преимущественно друг с другом, никаких иностранцев не знали, а мысль о том, чтобы вести пропаганду среди крестьян, вызывала у них смущенную или даже ироническую улыбку. — «Тут народ очень, очень отстал от французского», — объясняли они. Когда же он говорил, что в освобожденной Польше понадобятся глубокие социальные реформы, большинство участников собраний слушало его как будто без сочувствия. «Ну, да, они все помещики или дети помещиков», — думал Виер. — «Да и в самом деле, что это значит «готовиться»? Так, когда во внешней политике какой-либо державе решительно нечего сказать или сделать, правительство объявляет, что оно «очень внимательно следит за положением».

В одном из этих своих докладов Виер в заключение привел эффектную цитату из Луи Блана. Цитировал не дословно, на память. Но память у него была прекрасная; да и ошибиться здесь не было бы грехом.

— Известный французский политический писатель Луи Блан, — сказал он, — уподобляет нынешнее общество королю Людовику XI в последние дни его жизни. Король почувствовал приближение конца. Между тем мысль о смерти приводила его в дикий ужас. Он стал скрывать от врачей, от приближенных, даже от самого себя симптомы своего недуга. Старался ходить твердой походкой, бодрился, красился, впрыскивал что-то для блеска в глаза и говорил врачам: «Да я никогда в жизни не чувствовал себя лучше!». — «Так, — говорит Луи Блан, —

поступает и нынешнее общество. Оно чувствует, что его смерть близка, — и отрицает свою тяжкую болезнь. Оно окружает себя лживой роскошью, придает себе вид непоколебимой мощи, хвастает как и чем только может. Но его душу гложет тяжкая тревога. На всех его праздниках незримо присутствует призрак революции».

Виер произнес цитату с подъемом. Это произвело впечатление, и Виеру аплодировали больше обычного. За чаем все хвалили его ораторский талант, но видимо слова Луи Блана относили только к Парижу. Спрашивали, действительно ли во Франции можно ждать революции каждый день.

— Не только во Франции, — ответил он.

Возвращался он по Александровскому спуску довольно поздно. Огни в окнах домов были уже погашены. Величественный Государев сад был пуст, в темноте неприветлив и даже страшен. «А там дальше обрыв, Днепр, за ним бесконечные занесенные снегом равнины, непроходимые леса, глухие темные села, ничем, кроме хлеба, не интересующиеся рабы»... На улице прохожих было очень мало. Из дворов изредка лаяли собаки. Поворачивая вправо, он оглянулся на черную громаду сада и ускорил шаги. На Шелковичной была совершенная тишина. Киев спал мертвым сном. Виер вдруг спросил себя, так ли уж верно, что близок конец строя. Невидимое присутствие призрака революции в Липках не чувствовалось. «Что, если нет его и никогда не будет в этой огромной, могущественной, страшной стране?».

II—III

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

IV

And here she erected her aerial palaces[2].
Walter Scott.

Ответ графу составила Лиля. Конверты были куплены отличные. Она долго колебалась: как надо написать: «Comte» или «Monsieur le Comte»? Еще дольше думала о том, как одеться. У нее было шесть вечерних платьев, но из них три были киевские. Остановилась на петербургском, самом дорогом. «Конечно, и эта Зося будет? Верно она лучше меня», — вздыхая, думала Лиля. — «Да и что-ж, когда я не полька»... О платье матери заботиться не приходилось: у нее вечернее было только одно. «Кажется, мосье Яну не нравится, что я маму называю «Mon chou». Да, они поляки такие учтивые, особенно с родителями. Сыновья целуют отца в плечо. Буду говорить «maman»...

В день приема к ним под вечер приехал Тятенька, напомаженный, надушенный, в каком-то странном мундире, зеленом, с голубым воротником, с оранжевыми отворотами. Лиля всплеснула руками.

— Тятенька, что это?

— А, так и вы получили приглашение? — радостно спросила Ольга Ивановна. Она уже когда-то видела Тятеньку в этом мундире.

— Получил. «И я». Удостоился, — смиренно-иронически отвечал он. Приглашение пришло в последний день, несомненно по ходатайству Виера. Тятенька делал вид, что ему всё равно. — Не пригласили бы, так лежал бы спокойно на полатях, тихо, хорошо, — говорил он, хотя едва ли мог бы провести хоть один вечер не в гостях.

— Но что же это за наряд! Ведь у них не маскарад!

— Это, не «наряд», а мундир киевского дворянства.

— Да какой же вы дворянин?

— У нас на Кавказе все дворяне. К киевскому дворян

[2] «Здесь-то она воздвигла свои воздушные замки».

ству я не приписался, но мог бы приписаться в любой миг и приняли бы, — неуверенно сказал Тятенька и рассмеялся. — А естьли хочешь знать правду, то оказалась большая неудобность: самый расчудесный из моих фраков проела проклятая моль! Сегодня смотрю: дырки. Уж я мою старую дуру лаял, лаял, да что с нее возьмешь: прилежаше пития хмельнаго. Что же мне было делать?

— Да вас еще в тюрьму посадят! И никто не ездит в гости в дворянском мундире, разве где-нибудь в провинции, в Житомире! Да и мундир теперь совсем другой, теперь общий для всех губерний. Я все наши мундиры знаю, могу отличить любой полк.

— Вздор, ни в какую тюрьму не посадят, и я лучше тебя понимаю, как надо ездить в гости к графьям. Только вот что, голубки, красавицы, милочки, по дороге к вам у меня на животе оторвалась сверху пуговица штанов! Я и то едва в них влез. Не пришьете ли, красавицы?

— Разумеется, я сейчас пришью. И снимать не надо эти... панталоны. Я на вас и пришью, — конфузливо сказала Ольга Ивановна.

— Чувствительно благодарю вам, Оленька.

— Тятенька, надо говорить «благодарю вас». Это немцы говорят «благодарю вам», «danke Ihnen», — сказала Лиля.

— Дурочка, что ты понимаешь! Надо говорить «благодарю вам». Всё равно, как «благотворю вам». «Благодарю» значит «дарю благо».

— Уж я не знаю, что это значит, только никто так не говорит. И вы так не говорите. Видно, нынче хотите нас удивить.

— Что ты смыслишь, глупенькая! Сам митрополит Филарет пишет «благодарю вашему преосвященству». А никто так правильно не выражался, как он. Почище твоего Пушкина!

— Вечно спорите о пустяках, — сказала Ольга Ивановна, доставшая иголку и нитки. Она принялась за работу. — Давно вам пора, Тятенька, заказать новый фрак. Теперь больше носят оливковые, я и моему заказала.

Закажу, закажу, Оленька милая. А тебе, клоп, ответствую...

— И «ответствую» никто не говорит! Вы что-то настроились на старинный лад! Ни к чему это, бросьте.

— Ответствую, что и Гёте ходил в мундире. Я сам видел, как он в Эрфурте в пору встречи с Наполеоном...

— Знаем, слышали! — снова перебила его Лиля. Ей было и забавно происшествие с пуговицей, и немного она сердилась на Тятеньку: слишком было уж это непоэтично. «Сейчас придет мосье Ян и увидит, как мама пришивает!». Но Ольга Ивановна пришила пуговицу быстро. Тятенька с чувством поцеловал ее в голову.

— Что «знаем, слышали», дерзкая девченка? Сейчас вот встану и уши надеру. Всё косность моя, совершенно ты избаловалась.

— Знаем, что у них были необыкновенные лица, особенно у Наполеона, потому что он только что вернулся с острова Эльбы...

— Дурочка, с Эльбы Наполеон гораздо позже вернулся в Париж, и я его видел, вот как тебя вижу, в ту самую минуту, когда он въезжал в Тюилери. Не мудрено, что у него было такое лицо, что и сравнить ни с чем нельзя. А в Эрфруте...

— Знаем, знаем! И что они были в мундирах тоже знаем! Только ведь Наполеон в самом деле был военный.

— Что правда, то правда: был военный. А Гёте был не военный и не знатнее дворянин, чем я... Здравствуй, пане ласкавый, — сказал Тятенька. В комнату вошел Виер. Он был в синем фраке, который очень к нему шел. Лиля смотрела на него, тщетно стараясь скрыть восторг. — Да может, ты, глупенькая, не хочешь ехать со мной?

— Хочу, хочу. И maman хочет, — сказала Лиля. Тятенька был, конечно, не блестящий кавалер, но ехать совсем без кавалера было бы тоже не слишком приятно. Виер, приглашенный и на обед, не мог их сопровождать.

— То-то. Но тогда кормите меня ужином.

— Тятенька, до ужина еще далеко. До того мы с ва-

ми еще выпьем китайской травки, — сказала Ольга Ивановна. У нее были два-три таких словечка, чуть ли не заимствованных у Тятеньки. Лилю эти словечки раздражали. Иногда, правда, ей приходило в голову, что, быть может, и ее собственные французские замечания раздражают ее мать и особенно отца, но тут вина была на их стороне. — Лиленька говорит, что граф и не подумал бы нас звать, это вы ему нас навязали, мосье Ян.

— Навязал? Вовсе нет, граф был чрезвычайно рад, — сказал Виер смущенно. Он не любил и не умел лгать.

— Пусть вам, мама, не будет совестно. «La conscience est de ces bâtons que chacun prend pour battre son voisin, et donc il ne se sert jamais pour lui», — сказала Лиля фразу, выписанную ею из романа в тетрадку. Но по лицу Виера она увидела, что ему эти слова не понравились. Лиля была очень взволнована: и предстоящим чтением, и тем, что мосье Ян увидел ее в новом платье и ничего не сказал. Впрочем, он не замечал дамских туалетов, да и комплименты говорил редко.

Звали на девять часов. Они выехали в три четверти десятого и думали, что приедут слишком рано. Этого в провинции боялись больше всего: опаздывать приличиями разрешалось, но оказаться в пустой гостиной было бы очень неприятно. Приехали они как раз тогда, когда главные гости — «те, что почище», — как говорил, смеясь, Тятенька, — уже выходили из столовой: трехчасовый обед кончился. Зала была приблизительно такая же, как у Лейденов, или только немного роскошнее. Чтобы нельзя было сказать, будто подготовлялось публичное чтение, стулья лишь теперь начинали расставлять полукругом перед небольшим столом.

Хозяин не сразу догадался, кто такие вновь прибывшие; он очень приветливо с ними поздоровался и велел лакею, проходившему с подносом, подать им шампанского. К облегчению Лили, граф не изумился, увидев мундир Тятеньки.

— А у нас сегодня знаменитый гость, — сказал он. Объяснил, что в Киев приехал Бальзак и что он согласился про-

честь один свой рассказ. — Нам удалось его упросить. Я вас с ним познакомлю.

— Ах, мы будем так рады! — сказала Ольга Ивановна. Лиля тревожно слушала, но мать сказала это по французски без ошибки. Они сели рядом в третьем ряду стульев, так чтобы и не слишком близко к чтецу, но и не слишком уж далеко. Тятенька сел осторожно; опасался, как бы не раздавить хрупкий золоченый стул. Он пришел в самом критическом настроении. Отправляясь в незнакомый дом, да еще польский, да еще графский, заблаговременно выпил для храбрости. «Там верно ничего, кроме чаю и печенья, не дадут. Знаю я их, графьев», — говорил он за обедом. Шампанское его утешило, он выпил два бокала. «Лишь бы не слишком затянул твой Бальзакевич», — сказал он вполголоса. Лиля сделала страшные глаза. По ее мнению, они и между собой в этом польском доме должны были говорить по французски, и никак не годилось называть Бальзака Бальзакевичем.

Ольга Ивановна до начала чтения успела осмотреть туалеты дам. Ничего замечательного не нашла, но один фасон заметила для Лили: «Опишу Степаниде, отлично сделает».

— Слава Богу, не мы одни русские, — вполголоса сказала она дочери. Лиля не ответила: тревожно искала взглядом мосье Яна, нашла его и покраснела. Он стоял у дверей с молоденькой, очень хорошенькой барышней. — «Она!» — подумала Лиля. — «Лучше меня!.. Или нет? Ох, лучше!».

Бальзак лениво, переваливаясь, вошел в залу в сопровождении поклонников и поклонниц. Одет он был небрежно, что удивило гостей: все слышали рассказ о необыкновенном щегольстве этого писателя. Лиля не обратила внимания на его костюм, но наружность Бальзака ее разочаровала. «Вот не думала, что твой Бальзак такой!» — прошептала разочарованно и ее мать. — «Одет как будто всё взято напрокат!» — радостно шептал Тятенька. — «И старый! Я такого в лавку приказчиком не взял бы!». — «Тятенька, это верно Ганская, правда?» — спросила взволнованно Лиля, глядя во все глаза на даму, вышедшую из столовой; у нее вид был и сконфужен-

ный, и вместе с тем какой-то хозяйский. На воображение Лили действовало то, что Ганская была *любовницей* Бальзака. — «Да, конечно, это Ганская! Ах, как одета!» — прошептала Ольга Ивановна. — «Ничего особенного, мама! Я это платье видела еще в Петербурге! И совсем она не красива, и немолодая. Что он в ней нашел?». — «Пенензы!» — ответил Тятенька.

Хозяин дома поспешно прошел к столику и остановился, с приветливой улыбкой, глядя на собравшихся. Тотчас установилась тишина. Опершись на столик рукой, он по французски радостным тоном объявил, что на долю дорогих гостей выпал необыкновенно счастливый сюрприз:

— Мне и в голову не приходило просить нашего знаменитого гостя читать нам что бы то ни было, — сказал он. — Но наши дамы набрались храбрости, и их похвальное мужество увенчалось большой наградой. Мосье Онорэ де Бальзак согласился нам доставить огромное удовольствие. Как у каждого из нас, у меня в доме, конечно есть его книги, и он нам прочтет свой рассказ: «Le Prince»... Граф чуть запнулся. Бальзак с улыбкой подсказал: «Le Prince de la Bohême». Он давно привык к тому, что люди, называвшие себя его горячими поклонниками, плохо помнили его произведения, а часто и вообще их не читали. — «Le Prince de la Bohême», — повторил хозяин и, чуть сгорбившись, на цыпочках отошел к своему стулу.

Бальзак неторопливо отпил глоток сахарной воды, откашлялся и пододвинул к себе книгу. Он любил читать свои произведения, особенно артистам театров: показывал им, как *надо* читать. В кругу артистов не церемонился, развязывал галстух, расстегивал рубашку, а то и снимал фрак. Здесь этого сделать было нельзя. В этот вечер он чувствовал себя лучше, чем обычно в последнее время, и знал, что будет читать хорошо. Начал он с комплиментов собравшимся гостям. Подумал было, не похвалить ли Россию, но это было не очень удобно, так как дом был польский и почти все гости — поляки. Не годилось хвалить и Польшу, так как она официально не существовала, а один из гостей, как ему вскользь сказал хозя-

ин, был важный русский чиновник. Поэтому он похвалил Киев; добавил, что пишет книгу: «Lettre sur Kiew». Это вызвало первые, довольно долгие рукоплескания; гости не догадались, что надо было аплодировать при его появлении. Бальзак с усмешкой смотрел на публику. Обратил внимание на Лилю, на Зосю, раздел их глазами, прочел в блестящих глазах Лили то, что она чувствовала, и вздохнул. «Мне бы ее шестнадцать лет, я перевернул бы мир. Но теперь...» Когда рукоплескания прекратились, он заговорил снова:

— Это мой *небольшой* рассказ, — подчеркнул он по привычке опытного чтеца, — я набросал уже довольно давно, а закончил и отделал недавно. Он посвящен моему другу, знаменитому немецкому поэту Анри Эн, которого вы все, конечно, читали.

Гости закивали головами. — «Какой Эн? Я и не слышала о таком», — шепнула Ольга Ивановна Тятеньке. — «Это Гейне, его все знают», — ответил Тятенька. — «И я знаю, да неужто они произносят Эн?». — «Что-ж тут странного? Мы тоже произносим неправильно. Немцы говорят «Хайне». — «Тятенька, мама, умоляю вас, замолчите!» — прошептала Лиля. Впрочем, и другие гости еще переговаривались. Лиля увидела что Виер сел в последнем ряду, далеко от них, но далеко и от Зоси. Бальзак открыл книгу.

Как ни мало было ему интересно это небольшое киевское общество, он тотчас увлекся чтением. Читал он превосходно, всё разыгрывал в лицах. Рассказ был построен очень сложно, так что и понять было не так легко. Главным действующим лицом был Габриель-Жан-Анна-Виктор-Бенжамен-Жорж-Фердинанд-Шарль-Эдуард Рустиколи, граф де ла Пальферин, из семьи, прибывшей во Францию с Екатериной Медичи и находившейся в родстве с Гизами и с Эсте. — «Ишь как разнесло», — шепнул Лиле Тятенька. — «Уж такой граф, уж такой граф! Любит видно, шельма, графьев». В графа де ла Пальферин была страстно влюблена какая-то дама, встреченная им на бульваре. Ни эта женщина, ни граф Тятеньку не заинтересовали. Он всё искал, к чему придраться, и нашел

только в конце: муж дамы французский водевилист Брюэль за что-то получил русский орден Владимира II степени. — «Всё ты, братец, брешешь! Никогда щелкоперу такого ордена не дали бы. Ни в жисть!» — шептал Тятенька. — «Ох, проклятый стул! Нозе мои изнемогосте суть!»...

Ольга Ивановна, напротив, слушала очень благожелательно, но не всё понимала. Чрезвычайно понравилось ей то, как Бальзак говорил по французски. — «Совсем не так говорит, как у нас! Даже Фундуклей говорит куда хуже!» — шепнула она дочери. Лиля фыркнула и ответила, что было бы очень странно, если бы Бальзак говорил по французски хуже Фундуклея. «Ох, что-то сюжет уж очень вольный для Лиленьки», — с беспокойством думала Ольга Ивановна. — «И так она целый день читает такие книжки, а тут еще на людях... Но ведь здесь есть и другие барышни, теперь ведь не те времена, не то, как меня воспитывали. А уж французы без этого не могут...» Впрочем, ее немного задело, что, по словам Клодины, женщина тридцати пяти лет не может рассчитывать на любовь. Ольга Ивановна отнюдь не собиралась кружить головы мужчинам. Тем не менее это замечание кольнуло ее. «Да ведь он-то и выдумал Бальзаковский возраст!» — обиженно думала она. «Бальзаковскому возрасту» автор «Человеческой Комедии» и был преимущественно обязан своей популярностью у женщин всего мира.

Клодина, женщина легкомысленного образа жизни, вышла замуж, чтобы иметь настоящих теток: — «J'aurai de vraies tantes», — объясняла она. «Вот это верно», — подумала Ольга Ивановна, — «и Марья Ивановна была такая». В зале послышались смешки. Общие улыбки вызвали и слова о «le souverain parce que des femmes». У Клодины были дивные волосы, столь же прекрасные, как у герцогини Беррийской. — «А я и не знала, что герцогиня Беррийская славится своими волосами», — шепнула Ольга Ивановна Тятеньке. — «Может, и славится, да ему какое дело? Выдумывать может что угодно, а так не годится писать. Точно он гладил герцогиню Беррийскую по головке... Всё он врет! И насчет балета тоже брехня,

будто все знаменитые танцовщицы уроды... И что это такое: «Верхнее *до* танца»? Щелкопер!» — шептал Тятенька.

Виер слушал еще более враждебно. Ему не нравились ни рассказ, ни его автор. «Никаких убеждений у него нет. Этот человек ничего не любит, кроме денег и знати. И пишет он так, будто сам к ней принадлежит, а на самом деле он плебей, проникший в высшее общество благодаря своей славе. Прав Бланки, что терпеть его не может... Еслиб, конечно, этот граф с шутовским именем не был в родстве с Гизами и с Эсте, то его можно было бы назвать хамом», — думал Виер, понимавший только рыцарское отношение к женщинам.

«Желаю вам такой любовницы! — сказал нам однажды Пальферин. — Нет собаки, которую можно было бы с ней сравнить по совершенной покорности и преданности. Иногда я себя упрекаю, спрашиваю себя, почему я с ней так строг. Она подчиняется с кротостью святой. Она приходит, я ее выгоняю, она плачет, но только уже во дворе. Я не пускаю ее к себе целую неделю, затем назначаю ей свидание в будущий вторник, например в полночь, в шесть часов утра, в десять, в пять, в самое неудобное для нее время, когда она завтракает, обедает, встает, ложится. О, она придет точно в указанный час, будет прекрасна, восхитительна. А ведь она замужем, она связана обязательствами по дому. К каким только хитростям она не вынуждена прибегать, каких только предлогов не должна выдумывать, чтобы подчиняться моим капризам! Она пишет мне каждый день, я ее писем не читаю, она это видит — и продолжает писать! Вот в этой шкатулке лежит двести ее писем. Она просит меня каждый день вытирать мою бритву ее письмом. Я это и делаю! Она думает и правильно, что вид ее почерка мне о ней напоминает...»

«Да, это и есть настоящая любовь!» — думала Лиля, замирая от восторга и стыда. У нее было такое чувство, будто Бальзак читает нечто непристойное или будто он ее подсмотрел в ванне. Лиля год тому три раза целовалась прошлым маем с гимназистом в Государевом саду, где волшебно пахло сиренью. Но этот гимназист не был похож на графа Пальфе-

рина и скоро уехал из Киева, поступив в московский университет. С той поры она ни в кого влюблена не была. Это очень ее тяготило и даже мучило: «Уходят лучшие годы! Ведь после двадцати лет всё будет кончено!..». Тридцатилетние женщины казались ей старухами; она только изумлялась и плохо верила, когда подруги ей говорили, что генерал-губернатор влюблен в даму тридцати пяти лет. «Правда, он сам дряхлый старик», — говорила она. Подруги тоже смеялись: «Влюблен в тридцатипятилетнюю!».

Она слушала о графе де ла Пальферин и думала о мосье Яне. Как будто они тоже совершенно друг на друга не походили. И всё-таки что-то верно у них было общее. «Вдруг и мосье Ян так относится к своим *любовницам*. У него наверное в Париже были *связи*. Может быть, несколько связей», — замирая, думала Лиля, не пропуская вместе с тем ни одного слова из того, что читал Бальзак. «Да, разумеется, оне относятся к нему так же, как она к графу де ла Пальферин. Но он верно не так с ними груб?». Грубость графа всё же несколько коробила Лилю. «Какое красивое имя: граф де ла Пальферин! Виер тоже хорошее имя. Он потомок графа Девиера!.. Я завтра же куплю этот рассказ, если только его можно найти. Возьму у мамы денег вперед, папа наверное дал бы, да и мама даст, уже скоро первое»... Бальзак изредка отрывался от текста и обводил глазами публику. Вдруг он встретился взглядом с Лилей. Ей показалось, что он чуть усмехнулся. Она замерла. «Ведь он всё видит, он видит людей насквозь!.. Кондотьер? Граф кондотьер. Что такое кондотьер? Может быть и мосье Ян кондотьер?». Она оглянулась и вспыхнула: Виер как раз смотрел на нее. Он тоже смутился и тотчас отвел глаза. И впервые с совершенной ясностью, она поняла, что влюблена, *безумно* влюблена в мосье Яна. «Неужели он всё время смотрел на меня сзади! Надо повернуться спиной к Тятеньке... Но не сейчас, а через минуту, чтобы он не догадался. А что если он в эту Зосю не влюблен? Ах, какое это было бы счастье!».

Когда Бальзак кончил, в зале опять раздались рукопле-

сканья. Бальзак с любезной улыбкой раскланивался. Хозяин дома долго и горячо жал ему руку и говорил комплименты. Подходили и другие слушатели, те, что были посмелее и хорошо говорили по французски.

— ...Так, значит, и вы ненавидите это новое слово «blague»? Я так был рад, услышав от вас, что оно в вашем прекрасном языке не удержится, — сказал польский помещик, проживший два года в Париже. Он учтиво посторонился, давая дорогу Ольге Ивановне и Лиле, которых подвел к Бальзаку хозяин. За ними неуверенно подошел и Тятенька. Хотя рассказ ему не понравился, всё же было лестно пожать руку такому знаменитому человеку. Граф скороговоркой представил и его: не был уверен в его имени, но догадался, что Бальзак всё равно ни одного имени не запомнит.

— Ах, мы с дочерью такие ваши поклонницы! — говорила Ольга Ивановна. Дальше ничего не могла сказать: хозяин подводил других гостей. Бальзак кланялся, благодарил и целовал руки дамам. Он был очень доволен, в особенности, тем, что сердце не стучало и что одышки не было.

Лиля опять оглянулась на мосье Яна. Он к столику не подошел: теперь опять стоял с Зосей. Лица у них были взволнованные. У Лили упало сердце. Она поспешно отвела глаза и встретилась взглядом с Тятенькой. Он тоже увидел польскую барышню, усмехнулся и, нагнувшись к уху Лили, тихо сказал:

— Вот это она и есть, панна Зося. Только я и забыл вам сказать: это всё, оказывается, неправда. Или, может, *была* правда, а теперь кончено. Наш пан Ян остался с носом. Она выходит за другого. Страшный богач: три тысячи душ, пол уезда леса, — сказал Тятенька. Он то преувеличивал чужое богатство, то начисто его отрицал: «да он в долгу как в шелку, скоро всё достояние продадут с молотка и пойдет верно побираться», — иногда ни с того, ни с сего говорил он о слишком высокомерных помещиках, или же о киевском книготорговце Литове, которого недолюбливал — не за конкурренцию, а за недостаточное понимание книги.

Лиля замерла от восторга. Собственно, главное для нее не изменилось: всё равно она не могла выйти замуж за мосье Яна. Ей было и жаль его: «Как он верно страдает!». Но не радоваться она не могла. «Хороша же эта Зося! И она еще смеет с ним разговаривать!.. А может быть?.. Вдруг это возможно?.. Говорят, заграницей это разрешено! Я попрошу, я умолю папу и маму отпустить меня заграницу!.. Надо взять себя в руки, надо успокоиться».

Некоторые гости были, очевидно, приглашены и на ужин. Ольга Ивановна заторопилась: опасалась, как бы не подумали, что она напрашивается на приглашение. Хозяин, провожая, очень учтиво их благодарил за доставленное ему удовольствие. — «Что вы, помилуйте! Это вы нам доставили такое удовольствие!» — говорила Ольга Ивановна. Лиля теперь и не заметила, что мать сделала по французски две ошибки. Сама она ничего не сказала хозяину дома; Ольга Ивановна потом дома ее за это упрекала. «Где он? Остается ужинать? Что я ему скажу?..». Она увидела Виера внизу. Он надевал шубу. Шуба у него была дешевая, швейцар ему даже ее не подал.

— Ну, что, какой был обед? — вполголоса по русски спросила его Ольга Ивановна. — Верно, блюд двадцать и шампанское?

— Совершенно верно, — улыбаясь, подтвердил Виер.

— Вы познакомились с Ганской? Правда, что она такая интересная?

— Интересная ли? Во всяком случае она очень любезна: просила меня приехать к ней в Вешховню. Я за столом оказался ее соседом.

— Вы поедете?

— Может быть. Не знаю еще.

— Надолго?

— О, нет. На несколько дней.

— А как вам понравился Бальзак? Великий писатель, —

без уверенности сказала Ольга Ивановна. — И как прекрасно читает!

— Я не большой его поклонник.

— Щелкопер! — подтвердил Тятенька, очень довольный тем, что побывал на чтении. — Французскому водевилисту дали Владимира II степени! Это как еслиб нашему Ленскому пожаловали Андрея Первозванного! А естьли не знаешь, то не пиши. А естьли тут сочиняешь вздор, то верно и другого не знаешь.

— Ах, нет, мне очень понравилось, и он такой любезный, — сказала Ольга Ивановна.

— А вам понравилось, мадмуазель Лиля? — спросил Виер рассеянно.

— Очень. Страшно понравилось! C'est un écrivain admirable! — нараспев выговорила Лиля. Она успела «взять себя в руки».

V-VI

. . . . . .

. . . . . .

VII

> Les uns descendent d'Abel, les autres de Caïn, dit le chanoine en terminant; moi, je suis un sang mêlé[3].
>
> *Balzac*

Лейден уже довольно давно находился во Флоренции с женщиной, с которой сошелся в Константинополе.

Он называл ее Роксоланой. Имя у нее было какое-то странное, вроде Фатимы. Так она ему сказала в первый день, но затем стала с именем путаться: в другой раз оказалось,

---

[3] «Одни происходят от Авеля, другие от Каина», — сказал в заключение каноник. — «А во мне смешанная кровь».

что ее зовут Зулимой. Он впрочем скоро заметил, что она часто врет и притом без всякой причины или цели. В этих именах был малоправдоподобный, конфетный восток. Позднее он догадался, что Фатимой, Зулимой и другими именами ее верно звали люди, «покупавшие» ее до него. «Время байроновское, много бездельных людей шатается по Европе в поисках подобных приключений». Однако нужно было как-нибудь ее называть. Лейден вспомнил рассказ гида. Она никогда о жене Солеймана Великолепного не слышала, но новое имя ей понравилось.

— Так меня и зови, — сказала она со смехом.

Они беспрестанно переходили с русского языка на французский. Роксолана говорила, что ей необходима практика во французском языке. Иногда она одно и то же сначала говорила по русски, затем сама для ясности переводила на французский. Это и забавляло Лейдена, и было немного ему досадно, точно новый, странный, неправильный язык подчеркивал его новую, странную, неправильную жизнь.

— Так и знай: ты теперь Роксолана.

— Хочешь, и я тебя буду звать Солейманом Великолепным? Не хочешь, ну, не надо. А ну, ты будь как султан. Все султаны щедрые, ах, какие щедрые! Они своим женам всё дают: бриллианты, шелк, бархат, гро́ши. Так делай и ты, а я буду тебя любить.

— Будешь любить? Значит, еще не любишь?

— Ты вези меня в Париж, я там скоро буду главная гадалка. Я еще не всё умею, но буду уметь, я страсть умная. А я хорошо говорю по французски?

— Ты отвечай, когда тебя спрашивают!

— В Париже можно много заработать. А я ну, тебя люблю. Буду страсть любить, если ты будешь щедрый.

Константин Платонович знал, что его считают «человеком с заскоками». Теперь он признавал, что люди, так его определявшие, были совершенно правы: «И даже не с заскоками, а просто полоумный. На старости лет изменить жене,

связаться с авантюристской, влопаться в историю, которая должна кончиться неприятно, что может быть глупее и постыднее!». Тем не менее Лейден был весел и бодр, как давно не был.

В день своего отъезда из Константинополя, по дороге с Роксоланой на пристань, он вдруг на улице увидел Виера. Тот изумленно на них взглянул, хотел как будто поклониться, — не поклонился, сделал вид, что не видит. «А мне говорил, шельмец этакий, что уезжает!.. Он никому не скажет, я знаю»... Как ни неприятна была Лейдену эта встреча, в ней было и что-то доставившее ему удовольствие. «Или уж очень мне надоело, что меня все всегда считали Ба-Шаром?».

— Кто это? — спросила Роксолана. — Ты его знаешь?

— Да, знакомый.

— Красивый. Он богатый?

— Нет, бедный, — сердито ответил Константин Платонович. Она вздохнула.

На пароходе он завел дневник. В Киеве у него были тетрадки, он записывал свои философские мысли. Дневника же, которым его дразнил Тятенька, никогда не вел. Теперь решил записывать, как сошелся с Роксоланой. Сначала ему показалось, что это невозможно: на бумаге всё выйдет слишком грубо и безобразно. Лейден знал, что Ольга Ивановна никогда в его тетради не заглядывает, с ужасом подумал: что, еслиб она прочла! «Я так люблю ее, что не хотел бы ее огорчать, и пустяками, а теперь сделал *это*! И даже не мучает совесть»... Он всё же кое-что записал: слова выходили литературные, новомодные: «любовный чад», «любовный угар», — он таких слов терпеть не мог, но трудно было найти другие для того, что у него было с Роксоланой в первую неделю. На море не качало ни разу, были разные мифологические острова, необыкновенные виды, в дороге полагалось рано вставать и поздно ложиться. Они поздно вставали и рано ложились.

В молодости Лейден вел обычную жизнь холостых мужчин и считал себя опытным человеком. Но по тому, что он в

дневнике называл «техникой любви», он не встречал женщин, приближавшихся к Роксолане. Особенностью ее при этом была «внутренняя безчувственность», — он и тут другого слова для дневника не нашел. Всё это ей видимо наскучило, она просто выполняла обязанность, за которую ей платили деньги. «Верно и выполняет лучше или хуже в зависимости от того, сколько ей платят». Лейден ее спрашивал, любит ли она его, однако никаких иллюзий не имел; да и спрашивал больше от скуки, от того, что надо же было с ней хоть немного разговаривать. «Она «любит», как Бордони поет: «Мастер без страсти»... С тех пор, как он стал Би-Шаром, мысли и чувства у самого Константина Платоновича приняли циничный характер, прежде совершенно ему не свойственный.

В разговорах с Роксоланой его удивляло то, что она все поступки людей неизменно приписывала денежным соображениям и делала это без малейшего порицания: очевидно, считала это вполне естественным и законным. Роксолана рассказывала ему о своей долгой связи с инглезом, фамилию которого не помнила. «Хороший человек, ах, какой хороший! Он страсть меня любил. А я его до сих пор люблю», — говорила она поглядывая на Лейдена: в ее нехитрую тактику входило возбуждать в нем ревность. — «Ну, а потом узнала его жена. Она богатая, ах, какая богатая! Имения, дом, гро́ши, всё у них было! Что же ему было делать? У него и свои гро́ши были да гораздо меньше. Понятное дело, он к ней ушел, а меня бросил... Много пил вина. Вот в Италии, говорят, хорошее вино. Ах, какой инглез был хороший! Ну, щедрый не щедрый, потому что и самому ведь нужно, зачем же отдавать лишнее? Он знал, что может другую иметь дешевле. Я ведь дорогая, да зато стою. Инглез мне больше дал, чем ты до сих пор, да ведь ты мне будешь давать дальше много. Я не люблю, когда дают мало. А твоя жена не знает, и ты ей не говори. А она верно старая. А если спросит, куда ушли гро́ши, ты скажи, ну, что потерял в торговле или на улице украли. Ах, как у нас крадут в Галате, ну все просто удивляются».

Разговаривать с ней было скучновато. Шутки она пони-

мала с большим трудом и не скоро. Раз вечером они сидели на палубе; Роксолана глядела на небо, лениво думая о своих делах. — «Милая, ты не смотри на звезды: всё равно я тебе их подарить не могу», — сказал Лейден, выдав за свою шутку слова, сказанные любовнице каким-то английским лордом. Она долго не могла понять: — «Конечно, не можешь. Как же можно подарить звезду? Она на небе». Всё же, когда Лейден, зевая, разъяснил ей остроту, Роксолана посмеялась. — «Что-ж, это ничего», — сказала она. — «А вот ты в Италии сейчас дай мне гро́ши, мне много надо купить, ну ничего нет».

«Что с нее взять»? — записал в дневник Лейден. — «Громадное большинство незначительных людей находят, что счастье в деньгах. Они этого не говорят, они, вернее, даже и не думают этого, но живут так, как если бы это было общепризнанной истиной. Я говорил Тятеньке, что критерий человека в том, какое место деньги занимают в его жизни. Но так ли это? Слишком многим выдающимся людям были присущи поразительные, почти наивные алчность и скупость. А у нее прямо разгораются глаза, когда она видит золото. Надо тщательно его от нее скрывать... Да, странная и нехорошая вышла история. Правда, вернусь в Киев, всё как рукой снимет, будет полная перемена. Вот как Фруассар в своей хронике представлял себе 100-летнюю войну с английской точки зрения, пока жил в Англии, и с французской после того, как вернулся во Францию».

Вечером он как-то читал наизусть Роксолане стихи киевского поэта Андрея Подолинского: «Нет, душистых струй Востока — Мне противен тонкий яд, — Разве-б гурии Пророка — Принесли свой аромат, — Разве-б в знойном аромате — Талисманом я владел, — Чтобы жар твоих объятий — Никогда не охладел»... Она ничего не понимала, но слушала не без удовольствия. Константин Платонович, морщась, вспомнил, что эти стихи Подолинский читал у них в доме на Шелковичной: Лилю до того отослали спать; Ольга Ивановна неуверенно восхищалась.

Всё же, в первое время Лейден пытался «добраться и

до души Роксоланы» (так писал в своем дневнике). Но ни до чего он не добрался, никакой души не нашел. «Я не назвал бы ее Би-Шаркой», — писал он, — «только потому, что она вообще не понимает разницы между добром и злом. И ведь таковы еще миллионы, десятки миллионов людей. О них, по той глубокой тьме, в которой они родились, даже нельзя сказать: «К добру и злу постыдно равнодушны», как у нас горланил Вася».

Лермонтовскую «Думу» часто декламировал один из приятелей Лили. Обо всем, связанном с домом, с дочерью и особенно с женой, Константин Платонович вспоминал с ужасом. Но вспоминал он об этом не часто: прежде не подозревал, что не думать — так легко. И всё яснее чувствовал, что нисколько не хотел бы вычеркнуть из своей жизни эту новую страницу. «Уж очень много выдумывали о совести и раскаяньи разные богословы и драматурги»... Особенно легко было ни о чем неприятном не думать за вином. На пароходе были и дузика, и Тенедос, и крепкое тяжелое английское пиво. Роксолана пила еще лучше, чем он.

Красавицей Роксолану он по прежнему не считал, но ее голос действовал на него неотразимо. «Странно, что у нее и голос, и глаза выражают прямо противоположное ее мнимой «душе». И вздор вообще, будто они у людей что-то выражают. У Петра Игнатьевича голос очень хороший, а лоб сделал бы честь Канту или Спинозе, и это не мешает ему быть болваном и прохвостом»... Лейден вспомнил, что при первой встрече с Ольгой Ивановной его тоже поразил и привлек ее мелодический голос. «Сопоставление гадкое и оскорбительное для Оли. Но я *посмел* это вспомнить — и почему же я рад, что посмел?».

Характер у Роксоланы был доброжелательный и услужливый. На пароходе был какой-то одинокий старичек. Роксолана с ним познакомилась и на второй день, увидев, что у него болтаются на жилете пуговицы, предложила пришить их. — «Что-ж, он старый и один, этого не дай Бог», — объяснила она Лейдену, — «А нитки в Галате плохие. А ну если я буду

старая и одна?» Константин Платонович видел, что ее профессия кажется ей совершенно естественной и нисколько не дурной. «Еслиб только она поменьше врала... Впрочем, не мне теперь ее этим попрекать: сколько придется врать мне!.. Ян, конечно, никому не скажет ни слова, но вдруг встретят другие? Разболтают просто по любви к сплетням, даже не по злобе»... Странным образом, несмотря на свой новый цинизм, Лейден, с той поры, как стал Би-Шаром, думал о людях снисходительнее и больше никому не желал смерти. «Впрочем, кого же мы можем встретить во Флоренции? А ежели встретим, я объясню, что это случайная попутчица по пароходу, и тотчас перееду с ней в другой город». О том, что дела у него именно во Флоренции, он даже не подумал.

Накануне приезда в Италию Константин Платонович за обедом не стал пить и, не ожидая кофе, ушел один в каюту. Роксолана осталась со старичком. В каюте Лейден немного полежал, затем встал и написал в дневнике: «Неужели была ошибкой вся жизнь, построенная на Ба-Шаровском начале? Ведь всё-таки жизнь превратилась в обман! Конечно, не навсегда. Другие, даже старые, люди не придают значения таким похождениям. Но что если я в самом деле внезапно сошел с ума? И даже не совсем ведь и внезапно. Тятенька давно — полушутливо, однако не совсем шутливо — говорит, что я сумасшедший. Может быть, какая-то темная наследственность осталась у меня в крови, как верно была у моего родственника Штааля. Разве мы что-либо об этом знаем? Хорошо же тогда мое «Константинопольское чудо»! Оно, значит, проявило душевную болезнь».

VIII

Тициан девяноста семи лет отроду сказал, будто только теперь начал понимать, что такое живопись. *Из старого словаря.*

При первом знакомстве Флоренция не очень его поразила. Он ожидал большего. Остановились они в старой гостинице на Лонгарно. Роксолане она не понравилась.

— И комната у грека была больше, и кровать лучше, смотри, какая эта твердая! — сказала она, садясь на кровать. Теперь они чаще говорили по французски. — Кровать это самое важное. У грека были шкапы, а мне нечего было вешать. А здесь один шкапчик. Куда я дену всё, что ты мне купишь?

— Да этому дому верно лет триста.

— Что-ж тут хорошего? Оттого и плохо, что лет триста. Что старое, всё плохое. И люди так... Ты с хозяином не торговался, он дешевле уступил бы. Пустил бы меня поторговаться. Ты не умеешь.

— Не умею. Вот и за тебя переплатил.

— Переезжать не стоит. Ты пойдешь мыться? Верно, опять на целый час? Хорошо, я пока выну вещи. Ах, мало у меня вещей...

— Неужели ты не видишь, как здесь всё прекрасно?

— Что прекрасного? Да если дом и прекрасный, то ведь он не мой.

— Смотри, какой вид.

— Самый обыкновенный вид. Река узенькая, вода грязная. Разве в Константинополе такая вода? Неужели это вправду такой важный город?

— Один из самых прекрасных городов мира.

— У нас в Пере теперь строится дом в четыре этажа! Когда я себе построю дом, то у меня будет настоящий дом, хороший, светлый. И у меня будет свой сад с грушами. Ах, как я люблю груши! И непременно чтоб были свои... Ты скажи хозяину, что ты не рассчитал, ты их денег не знаешь. Он должен уступить. Париж верно совсем другой город, — критиковала она, впрочем очень благодушно: была еще веселее обычного. — У вас в Киеве есть груши?

Площадь собора понравилась и ей, тут были хорошие магазины. Расспрашивала Лейдена, сколько в городе жителей, много ли иностранцев, особенно англичан. Потребовала, чтобы он тотчас повел ее в самый лучший ресторан. Аппетит у нее был необыкновенный. В ресторане она обрадовалась

тому, что на карте так много блюд. Названия были длинные и звучные. Роксолана просила его переводить. Константин Платонович читал по итальянски свободно, но и сам плохо понимал, что такое разные «Tartufi alla parmigiana», «Beccatichi con polenta», «Nodini vitello alla pizzaiola». Она всё запоминала. Способности к иностранным языкам у нее были очень большие.

— А это что такое? В плетеных бутылочках? Неужели вино? — радостно спросила она. — Закажи это вино, вот эту корзинку побольше! Мы с тобой ее всю выпьем. Я так рада, что мы здесь! Это не беда, что город дрянной. Увидишь, как будет хорошо! Ты доволен, что ты со мной? Правда, я симпатичная?

Константин Платонович подтвердил, что очень доволен, но подтвердил без жара. Роксолана несколько встревожилась. «Ох, скоро бросит!».

— Может, ты о жене думаешь? Да ведь она старая... Ну, хорошо, не сердись, я не буду говорить о твоей жене. — Закажи мне еще одно сладкое. Я съела Crema caramella, а теперь я хочу еще Gelato di Crema, — выговорила она уже на память, не заглядывая в карту. — И выпьем потом еще вина. Вот он хвалил Valpolicella, посмотрим, что это такое.

Пообедав, они вышли на улицу, где тоже были магазины. Роксолана стала вздыхать. Оказалось, что ей нужно решительно всё.

— Ты султан, я твоя невольница, и помни же, что султаны очень щедрые. Они своим женам привозили целые грузы на верблюдах, — говорила она, смеясь. Ее смех действовал на него всё-таки уже меньше, чем в первые дни. «Ну, на верблюдах, это ты ври больше!» — подумал Константин Платонович. Когда они вернулись домой, он мысленно сосчитал, сколько истратил за день; при ней считать открыто ему казалось неудобным. Роксолана в первый день, в Константинополе, спросила, сколько у него денег. Он ответил уклончиво. Теперь спросила опять.

— А тебе зачем знать? Хватит.

— Да ты не бойся. Я никогда не ворую, — сказала она просто и с гордостью, точно все другие воровали.

— Слава Богу.

— Ты можешь не запирать, ничего не возьму. Просить буду, а сама не возьму. Это опасно, в тюрьму посадят, сколько я таких случаев знаю! — говорила она. — Ты пожалуешься?

— Непременно пожалуюсь.

— А ты сам мне давай. Мне нужны деньги. Ах, как мне нужны деньги! Когда я буду богата, я уеду в Париж. Ты со мной не поедешь ?

— Да ты ведь еще не богата.

Он, разумеется, не сомневался, что они скоро расстанутся. То, что она об этом говорила как о чем-то само собой разумеющемся, было и неприятно, и успокоительно.

На следующий день он занялся делами, побывал в разных местах, накупил книг, навел справки. Когда он вернулся домой, как было условлено, в пять часов, Роксоланы не было. Константин Платонович испугался: «Неужто удрала!». Но она скоро вернулась, нагруженная покупками. Истратила всё, что он ей утром дал. Сказала, что всё это были самые необходимые вещи и что ей нужно еще многое другое.

— Меня уже все понимали! А то пальцами показывала. И я много выторговала, правду говорю! Увидишь, что я скоро буду говорить по итальянски! А кофе в Стамбуле гораздо лучше. И я уже видела одну гадалку. Она понимает по французски. Я к ней зайду? Ты дашь мне деньги?

— Зачем тебе гадалка?

— Как зачем? Я сама гадалка, да еще не такая хорошая. Надо посмотреть, как эта работает, какая у нея квартира. Я буду знаменитая гадалка.

— Такая была во Франции, мадмуазель Ленорман.

— Как же, самая первая. У нее сам Наполеон бывал, и

все. Она умерла. Вот и я хочу быть такой. А ты дай мне денег, чтобы учиться. Эта берет по золотому, — сказала Роксолана, сильно преувеличив цыфру. — Два-три раза схожу и всему научусь. Хорошо?

— Хорошо. Только не завтра. Завтра пойдем осматривать музеи. Там Тицианы, Тинторетто, столько других.

— Пойдем осматривать музеи, — тотчас согласилась она. — Я знаю, здесь все осматривают. Надо, так надо. А рахат-лукума здесь нет. Не знают, дураки, что это такое!

В музеях Роксолана делала тоже не очень интересные замечания. Погуляв с час по залам, объявила, что устала и уйдет: еще надо кое что купить.

— Через два часа мы встретимся у того дворца, на котором башня не посредине, а съехала на бок. В Турции за такую штуку, верно, посадили бы подрядчика на кол.

— У Палаццо Веккио? Хорошо, — сказал Лейден и дал ей не очень охотно еще три золотых.

«Угар» и «чад» проходили. «Да, я стар... Поздно», — думал он.

Через несколько дней он снова зашел в музей. Один портрет привлек его внимание. Изображен был человек средних лет, весь в черном, с цепью на шее, с вьющимися темными волосами, с усами рыжеватого цвета. В правой руке он держал перчатку. «На кого это он похож?» — спросил себя Лейден почему-то с тревожным недоумением. Подошел поближе, взглянул на надпись: «Tiziano (Vecellio), 1477-1576, Ritratto d'ignoto». «Портрет неизвестного»? Похож, — но не могу вспомнить, на кого. Как будто по виду русский!». Он отошел, еще побродил по залам, спустился к выходу, стал натягивать перчатку, которую держал в руке, и ахнул: «Неизвестный» был похож на него самого! Константин Платонович снял перчатку, снова поднялся, разыскал портрет и долго на него смотрел. «Странно! Только волос больше, а так точно с меня писано!»

Это его озадачило. Как многие иностранцы, впервые при-

езжающие во Флоренцию, он вначале чувствовал себя итальянцем эпохи Возрождения. «Да что же собственно тут невозможного?» — подумал Лейден. — «Согласно Платону, души, отбывшие кару *там*, возвращаются на землю и вселяются в новых людей. Помнится, Платон говорит, что душа вселяется в такого человека, который напоминает ей ее прежнего носителя. В меня могла перейти душа Тициановского Ignoto... В кого-то переселится моя душа после моей смерти? По разным философским и религиозным учениям вселенная не вечна, она рано или поздно погибнет. Как же может быть вечной душа в ограниченном по времени Космосе?».

За ужином Роксолана — уже не в первый раз — почувствовала, что с русским стариком скучновато. Константин Платонович смотрел на нее и думал, в *чьем* теле могла находиться ее душа в ту пору, когда жил Тициановский «Неизвестный».

Он еще раза два заходил в эту залу картинной галлереи и долго смотрел на неизвестного человека в черном. Купил какую-то книгу о Тициане. Книга была длинная и ученая, делила, как водится творчество художника на периоды, Константин Платонович этого вообще не любил; не очень понимал, чем один период отличается от другого, думал, что не очень понимает это и автор, и что можно было бы так же хорошо поделить Тициана на периоды по иному. Он не дочитал книги, не нашел в прочтенной части ничего о «Портрете Неизвестного» и решил, что верно этот портрет принадлежит к последнему периоду. Автор книги говорил, что великий художник совершенствовался до конца своих дней, что никто другой так не умел выражать невыразимое. Хотя последние слова как будто не имели никакого смысла, Лейден долго над ними думал. «Прочту всё в Киеве, разберусь. Здесь надо читать об агрономии»...

На другой день он зашел в музей под вечер. Посетителей уже не пускали, но он дал начай сторожу. При вечернем свете лицо Неизвестного показалось ему страшным. «Ох, какой был Би-Шар! И как будто не совсем душевно здоровый!» — подумал Лейден.

Его прежняя мнительность увеличилась во Флоренции и приняла иную форму. В ресторанах он иногда оглядывался, подозрительно смотрел на людей, сидевших сзади, и почему-то старался запомнить их лица и приметы. Ложась спать в гостинице, запирал дверь на ключ, а иногда, уже после того, как они гасили свет, снова вставал, наощупь подходил к двери и проверял: уж не забыл ли запереть? Роксолана в темноте старалась понять, что он делает и зачем: «Верно, очень много денег». Она догадывалась, что деньги у него в черном чемодане, которого он никогда при ней не открывал. Впрочем, она одобряла его осторожность: Флоренция ей не внушала доверия, она боялась воров и разбойников.

Как-то ночью — странным образом впервые — ему пришло в голову, что, быть может, Роксолана больна. «Да, разумеется!» — с ужасом подумал он, — «на Востоке эти болезни особенно распространены! Господи, как же я раньше не подумал! Если так, что я буду делать? Не возвращаться же тогда в Киев! Только и останется пустить в лоб пулю!»... Он не спал всю ночь. Пойти к врачу было совестно. Утром побежал в библиотеку, достал медицинские книги, стал рассчитывать дни, — выходило, что не заболел.

В ресторане они выпили с Роксоланой три бутылки. Он по русски, чтобы не понял лакей, всё рассказал ей, глядя на нее с тревогой. Она не удивилась, — повидимому, в этом для нее нового ничего не было, — но совершенно его успокоила. В восторге он вдруг расхохотался. Она сначала была довольна, что он повеселел; затем смех его ей не очень понравился. Тем не менее и она смеялась.

— Это что-ж, ничаво. А ты меня спросил бы. А я сказала бы тебе правду: теперь ведь всё равно. А я знаю, что многие боятся. Инглез тоже боялся. Нет, будь спокойный. И я тебя люблю. Ну, вези меня в Россию.

— Вот еще что выдумала!

— А почему нет? Ты боишься, что твоя жена будет на меня злая? — У него дернулось лицо. Она всё же досказала. — А отчего она будет злая? Я тебя люблю, а ты любишь ее,

значит я буду ее любить. А если ну не хочешь, то мы ей не скажем. Я инглеза страсть любила, и его жена не скоро узнала. А зачем жене знать? Если она злая, то еще глаза выцарапает. Ведь ваш город большой? У нас есть Галата, Стамбул, Пера. Вот и у вас верно так. Если жена живет в Пере, я буду жить в Стамбуле. А ты мне купишь там домик. С женой ты будешь утром, а ко мне приходи вечером. А может, и у вас можно будет гадать?

— Перестань говорить чепуху!

Она вздохнула.

— Вот и инглез сердился. Ты, говорил, азиатская, ты не понимаешь мораль. Это он такое слово говорил. А я ну ему говорю: «Если ты понимаешь мораль, зачем ты меня купил?». Так сердился, так сердился! Хороший был инглез, я так его любила.

— Вот и об инглезе перестань болтать!.. В Россию тебя никогда и не пустили бы. Для этого нужен паспорт.

— За гро́ши пустят, — убежденно сказала она. Лейден знал, что, по ее глубокому убеждению, за деньги можно добиться решительно всего.

— Нет, у нас не пустят.

Она вздохнула еще тяжелее.

— К вам меня не пускают, в Париж тебя не пускают. А куда я денусь, если ну, ты меня бросишь? Ты ведь меня увез.

— Я тебя отправлю обратно. Куплю тебе билет.

— Нет, я обратно не хочу. Если уехала, то надо в Париж. Отсюда ведь гораздо ближе. А ты мне дашь половину твоих гро́шей и я поеду в Париж. Только еще не скоро... Подари мне золотой. Ах, я нашла одну лавку! Такая дешевая, я теперь буду там всё покупать.

Она в самом деле больше ничего не покупала в центре города, в больших новых магазинах. Предпочитала лавки Старого Моста и маленьких кривых улиц вокруг Дворца Питти; говорила, что они похожи на Галату. Торговалась бесконечно, по восточному, выходила, возвращалась опять. В лавках ее уже знали, посмеивались над ней, но видимо любили ее.

Как-то утром лакей, вместе с кофе, принес Лейдену два письма. Оба были из дому. Он изменился в лице. Руки у него немного дрожали. С первых строк он успокоился и стал читать, нервно оглядываясь на Роксолану. Она с любопытством на него смотрела, намазывая булочку густыми слоями масла и варенья.

В первом письме Ольга Ивановна в самых нежных выраженьях упрашивала мужа оставаться заграницей сколько ему понадобится.

— «Я знаю, — писала она, — ты верно задержался бы для своих дел, ежели б не думал, что нам с Лиленькой очень скучно. Правда, что мы без тебя скучаем, но это не беда. Самое важное это твои занятья. А уж беспокоиться о нас ты совсем не беспокойся. Холера, слава Богу, кончилась, за прошлый месяц было только два случая, и далеко от нас, на Подоле. Тятенька бывает каждый день, заботится о нас как родной, спасибо ему, хоть Лиля говорит, что он ей надоел, старый. Да ей, может, и я надоела? Другие тоже часто бывают, редко когда к столу нет двух-трех человек, и уж вторую рюмку всегда пьют за тебя. За кого первую, ты понимаешь: уж так полагается, хотя что я без тебя? Итак, ты не волнуйся, а ежели к лету, избави Бог, холера возобновится, то ведь к лету ты уже будешь с нами», — вскользь, без вопросительного знака спрашивала Ольга Ивановна.

Она длинно, не очень толково, писала о делах, о плантациях, об его покупках и делала вид, будто этим интересуется. Сообщала, сколько у них уходит денег: уходило мало, раз в пять меньше, чем тратил он. Описывала их жизнь. Оне были приглашены к Дараганам на danses parlantes и на маскарад. «Лиля играла посольшу царицы Чечевицы, премило играла и имела большой успех. Тятенька изображал Министра публичных мраков. А мне предлагали играть Зарю с розовыми пальцами, я конечно отказалась: уж какая я там Заря! Старуха совсем. И пальцы не розовые, особенно после того как мы готовили с Ульяной воскресный обед на шесть человек. Этот маскарад был поставлен при дворе. Государь играл комендан-

та, Наследник плац-майора, а Государыня камеристку царицы Чечевицы. Лиленька веселилась так, что смотреть было любо. Так жаль, что тебя не было».

Во втором письме Ольга Ивановна сообщала, что в Киев приехал Виер. «Сказал, что у тебя вид был хороший, что ты доволен поездкой. Я так была рада! Передал мне записку от тебя. Я и без твоей записки предложила бы ему остановиться у нас. Хотя в доме две дамы без мужчины, но ничего неприличного тут нет. Нас, слава Богу, все знают, он был вроде как твой воспитанник, да и у других живут гости. Ян совсем не постарел за четыре года, только возмужал и такой же красивый («ты ведь знаешь, что для меня из мужчин только ты и есть», — вставила, преодолев застенчивость, Ольга Ивановна). А гоноровый он еще пуще прежнего. Я звала его и завтракать, и обедать, и ужинать. Куда там, хоть верно у него денег как кот наплакал. А как обедает, так приносит нам обеим цветы! Только неловко другим гостям. Не будет же Тятенька нам давать букеты! Лиленьке Ян очень понравился, она ведь едва его помнила. Он с ней обращается совсем как с взрослой, называет ее «Мадмуазель Лиля» или «Елизавета Константиновна», ей натурально лестно. А вот ты мне скажи, что делать, если он попросит взаймы? Конечно, надо будет дать, но сколько? Триста? Пятьсот? Пока он и не думал просить. Я ведь только так спрашиваю, на всякий случай, может, совсем и не попросит. Да твой ответ и не поспел бы. Ян просил меня не говорить никому, что он был во Ф.». — Константин Платонович понял, что тут конспирация: его жена не хотела написать «во Франции». — «Так, конечно, догадаться невозможно», — улыбаясь, подумал он. Хотя вести все были приятные и успокоительные, ему было мучительно читать эти письма.

— Это от твоей старухи? Прочти, что она пишет, — спросила Роксолана, принимаясь за третью булочку (им всегда приносили четыре и, по молчаливому соглашению, она из них съедала три). Он зашипел на нее так, что она испуганно отшатнулась.

Чтобы не проводить всего дня с Роксоланой, он ездил за город, изучал цветоводство. Она бегала по лавкам, ходила к гадалке. Гадалка попросила у нея золотой, чтобы показать монету одному знаменитому колдуну: тот произнесет важное заклинание, и ей тогда будет большое счастье во всех делах. Роксолана идею занесла в память, но золотого не дала.

Днем она в кондитерских пила шоколад и уписывала пирожные. От них прямо переходила в ресторанах на Antipasti, затем на основательные блюда. Пили они по прежнему много, но Роксолана заявила, что больше дорогих вин не хочет. Теперь она заказывала caraffa grande местного вина, иногда предлагала даже заказать caraffa media, но кончалось обычно тем, что они выпивали два, а то и три графина. После обеда сидели в кофейных. Он еще пытался заинтересовать ее Флоренцией. Объяснил как-то, что вон на том месте, против их ресторана, был сожжен Савонарола. Это ее не заинтересовало: сама видела, как казнят людей. Всё же спросила, кто он был и за что его сожгли. Узнав, что за обличение пороков и разврата, только презрительно усмехнулась.

— Верно сам тайком всё делал. Все вы одинаковые. Как, ты говоришь, его звали?

— Савонаролой. Вот ты хочешь быть знаменитой гадалкой, а ничему не учишься, — сказал Лейден. «Хорошо бы, еслиб она по вечерам читала и не морочила мне голову», — подумал он. — Ленорман всё знала. Вам надо знать, кто такой каждый.

— Чтобы учиться, надо деньги иметь, а у меня остался один золотой. А ты прав! Тогда учи меня.

— Нет, я учить не могу, — поспешил отказаться он. — Но я тебе куплю книги. Увидишь, как это тебе будет полезно. И ты должна читать французскую газету.

Книги вообще приводили ее в уныние; не любила, чтобы и он читал. Однако соображение Лейдена показалось ей основательным. Он купил ей несколько подходивших, по его мнению, французских книг. Говорила она по французски сво-

бодно, но всему научилась по слуху. Теперь стала читать и кое-как понимала, с каждым днем всё лучше.

— Сегодня я сорок минут читала! — говорила она ему с торжеством. — В кондитерской сидела и читала. Если еще что-нибудь нужно прочесть, ты купи. А кто такой князь Ме... князь Меттерних? — спросила она. — Его тут не любят! Говорят, тиран. Тиран это всё равно, что янычар?

— Да, вроде этого.

— И вашего царя тоже не любят. Будем, говорят, с ними воевать. Уже по всей Италии беспорядки.

Ему совершенно всё равно было, о чем говорить с Роксоланой, и он объяснял ей, как умел, политическое положение в Европе, впрочем не очень интересовавшее и его самого.

Лейден приобрел немало книг и для себя, — то самое, что полагалось читать во Флоренции: Боккачио, Виллани, Сципионе Аммирато, какие-то старые хроники, а также разные исторические «новеллы», которые пишутся об Италии, об особенно поэтических ее городах, наезжими иностранными писателями. Действие этих новелл происходило в Венеции, во Флоренции, в Сиене, в Равенне, действующие лица все были титулованные, с очень звучными именами. Были в новеллах и Мост Вздохов, и инквизиционный трибунал, и кардиналы, и наемные убийцы, были постоялые дворы, где знатные синьоры пили Фалернское или Салернское вино, где жадный и глупый трактирщик забавлял их подобострастными шуточками, а они ему бросали кошельки с цехинами. Цехинов у синьоров было, несмотря на их расточительность, сколько угодно, никто из них не болел дурными болезнями, не бывало у них ни желудочных болей, ни камней в мочевом пузыре, ни даже простого бронхита. Большинство из них совершало разные злодеяния. «Неужто когда-то все были Би-Шары?» — думал Лейден. — «А у поэтов принято осуждать именно наше поколение! Да вот тот же Лермонтов». Он опять вспомнил «Думу». — «Меж тем под бременем познанья и сомненья»!... Да это была бы высокая похвала, если бы была правда. Только всё это ложь и вздор: в том и беда, что ни познанья, ни со-

мненья у нашего поколения не было, а уж у его гвардейского общества всего менее. Много он, Лермонтов, написал вздора, хоть и был гений. Когда было ему лет семнадцать, писал божественные стихи, «Ангел», «Парус», а как стал гвардейцем, то сочинил «Маскарад», детский вздор, читать без смеха нельзя. Что надо писать писателям? «То соблазнительная повесть — Сокрытых дел и тайных дум». Это так. А как надо писать? Скверно написаны все эти «новеллы»! Ничего в них страшного нет. То ли дело Священное Писание! «И сказал Самсон: умри, душа моя, с Филистимлянами!». Вот это страшно, и к этому ничего не прибавишь! Быть может, так надо и умирать: один из лучших способов, великая сила-ненависть».

Спал он худо и просыпался всегда в тяжелом настроении духа. Иногда рано утром, когда Роксолана еще спала, Лейден тихонько подходил к шкапчику, где у него хранилась бутылка с очень крепким итальянским ликером, и с жадностью отпивал прямо из бутылки большой глоток. На полчаса становилось легче, потом тоска усиливалась.

Раз как-то, выпив рано утром еще больше обычного, он закашлялся и присел на стул, тревожно глядя на кровать, — как бы не проснулась Роксолана. Вдруг ему показалось, что рядом с ней кто то лежит. Было полутемно, она всегда закрывала ставни — как Ольга Ивановна. Он вгляделся. С кровати поднялся тициановский Неизвестный. Лейден не испугался и даже не встревожился: смотрел на него, точно спрашивая: «ну, и что же?». Через минуту он пришел в себя. Константин Платонович не «протирал глаза», как полагалось, но почувствовал, что у него сильное сердцебиение. «Слишком много проглотил ликера в один прием. Да и начитался всякой дряни!».

В этот день он стал читать «Декамерон»: по репутации книги надеялся, что она развлечет его, наведет веселое, жизнерадостно-циничное настроение, теперь ему нравившееся. Начал со средины, с более коротких рассказов. Читал еще свободнее, чем хроники: латинская конструкция фраз облегчала ему чтение, хотя почему-то его раздражала. Но расска-

зы показались ему скучноватыми. Герои, правда, были легкомысленные, веселые люди, но *род* их легкомыслия и веселья был слишком от него далек. «Преувеличен и Боккачио, как всё классическое», — думал он. Затем стал читать с первых страниц. Высокий стиль «Введения», столь непохожий на всю книгу, описание чумы, напротив поразили его. «Сколько доблестных мужчин, сколько красавиц, сколько юношей, которых Галиен, Гиппократ, Эскулап признали бы совершенно здоровыми, утром завтракали с родными или друзьями, а вечером в другом мире ужинали с пращурами!..».

«Как будто я стал восприимчивее к искусству?» — думал он. — «Или, скорее, просто приближается смерть, а я еще не нашел способа с этим примириться, вот одного из тех пяти или шести возможных. Если человек ни одного для себя не нашел, то ему и жить было не для чего...»

IX

> Свобода воли и необходимость одинаково непостижимы. Две противоположные и исключающие друг друга системы теоретически имеют равные шансы. Но на практике свойственное нам сознание нравственного закона, которое, без моральной свободы человека, было бы ложным императивом, дает решительное превосходство доктрине свободы над доктриной рока.
>
> *Гамильтон.*

Он возвращался домой только к обеду, — остальное время отдавал делам и библиотеке. Роксолана ничего против этого не имела. За обедом оба зевали, а после обеда уж совсем было нечего делать. Она впрочем ничего не имела и против того, чтобы в десятом часу ложиться спать. Была не очень довольна русским стариком. Деньги он, правда, давал, но небольшими суммами (всё-таки отложила она немало). Главное же, ей стало казаться, что старик понемногу схо-

дит с ума. По ночам он часто вскрикивал так сильно и страшно, что она просыпалась в ужасе, а за стеной просыпались жильцы, очевидно прислушивались, затем что-то бормотали. По прежнему изумляло ее и то, что он по утрам и по вечерам мылся каждый раз около часа, ходил по несколько раз в неделю в баню и ее заставлял ходить. Но ей итальянские бани не нравились: где уж до константинопольских: «Тут скорее испачкаешься. А моются часто только которые грязные. Мне не нужно»... Иногда Лейден днем, наяву, долго изумленно на нее смотрел так, точно не знал, кто она. «А не пора ли от него уйти, хотя он добрый?» — спрашивала себя Роксолана. Ей всё больше хотелось уехать в Париж. Тайком от Лейдена она наводила справки.

Как-то сидя в кофейной на набережной, он стал читать только что купленную, верно десятую по счету, новеллу. Главным ее действующим лицом был флорентийский граф Герардо делла Герардеска, имевший великолепный родовой дворец, построенный Арнольфо ди Камбио. Граф был необыкновенно хорош собой, умен, образован, он обольстил и Монну Бианкину, и Монну Эммелину, и еще каких-то монн. Оружием граф владел так, что на дуэлях неизменно закалывал на смерть своих противников или выбивал из их рук шпагу, а сам оставался цел, без единой царапины. Враги подсылали к нему убийц, их он тоже обезоруживал, угрозами и цехинами заставлял их служить себе и убивать его врагов. Из Флоренции граф отправился в Венецию с соблазненной Монной Бианкиной да Сассоферрато. Она была ангел, но страстно любила злого графа. В Венеции они посетили Тициана, — о котором в новелле иностранного автора сообщалось всё то, что можно было прочесть в любом справочнике. Девяностовосьмилетний художник утопал в роскоши и славе. Короли умоляли его писать их портреты. Карл V поднял кисть, выпавшую из рук старца, а недовольным придворным сказал: «Я могу создать сколько мне угодно герцогов, но создать нового Тициана я не могу». Граф Герардо делла Герардеска объявил Монне Бианкине да Сассоферрато, что хочет заказать

Тициану ее портрет. Но на самом деле цель его поездки была другая: он слышал, что у ученика Тициана, у знаменитого художника Тинторетто, есть шестнадцатилетняя дочь. Об ее красоте и талантах много говорили в Италии; знатоки восторженно предсказывали, что Мариетта Тинторетто затмит своего отца.

Константин Платонович зевнул, заказал себе еще графин вина и задумался. «Пора, пора возвращаться в Россию. Везде плохо, кроме, быть может, Константинополя, да и там ведь не всегда бывает солнечная вакханалия». Однако Киев был *свой.* В Киеве также, хотя и гораздо реже, с ним случалось то, что он теперь называл черной меланхолией; но он выходил из своего кабинета, и на него *всё-таки* действовали уютная семейная обстановка, милое лицо жены, веселый смех дочери, даже собиравшиеся к обеду, надоевшие гости, с одними и теми же шутками, приветствиями, прибаутками. Действовал и вид прекрасно накрытого стола в ярко освещенной столовой, особенно же вид бутылок, на которые ласково поглядывали приглашенные. «Лучшая музыка — звон стаканов», — говорил Раблэ. Вино, правда, есть и здесь, и даже получше... В Вене пробуду недолго. Но как же отделаться от Роксоланы по хорошему? Сколько ей дать?».

Он впрочем чувствовал, что и с Роксоланой расстаться будет больно. «Вот уж тогда всё будет кончено: никаких *похождений* больше вообще в жизни не случится, будет семья, будут дела, плантации, обеды, разговоры с Тятенькой. Граф Герардо делла Герардеска взял от жизни больше», — подумал он со вздохом и снова принялся читать.

Граф вскользь спросил Тициана, как поживает его ученик. Великий старец пришел в ярость: он больше не хотел слышать о Тинторетто, в котором видел опаснейшего соперника своей славе. Найти Мариетту в Венеции было не трудно, но как раз началась страшная чума 1576 года. Она была описана в новелле в стиле «Введения» Боккаччио. Все спасались бегством. Граф, Монна Бианкина и Тициан бежали вместе. В Серравалле они попали в такую гущу беглецов, что престарелый

художник не решился продолжать путь. Он вернулся в свой венецианский дворец, заболел чумой и умер. Скорбь по случаю его кончины была так велика, что, в изъятие из общего правила о погребении чумных, власти разрешили торжественные похороны, и всё население города, пренебрегая опасностью заразы, пришло отдать последний долг Тициану.

На этом графин кончился. Константину Платоновичу больше читать не хотелось. Он перелистал конец, узнал, что граф Герардо делла Герардеска по дороге продал свою душу дьяволу. Затем он умер вместе с Монной Бианкиной да Сассоферрато и, как язычник по духу, попал на суд Эака, Миноса и Радаманта. Лейдена удивило, что автор новеллы знал эти имена из его любимого мифа.

Теперь уже по привычке Константин Платонович зашел в галлерею взглянуть на портрет Неизвестного человека. «Вот верно граф Герардо был именно такой», — подумал он. Долго смотрел на портрет пристальным взглядом. Таким же взглядом смотрел на него и Неизвестный. Искоса поглядывал на Лейдена с другого конца комнаты и сторож: он уже много раз замечал, это этот иностранец очень долго стоит перед тициановским портретом, а на всё остальное не смотрит. Сторож прослужил в музее всю жизнь и таких посетителей опасался. Но иностранец ничего дурного не делал. Константину Платоновичу вдруг показалось, что неизвестный человек «прищурился и усмехнулся». — «Да нет, это из «Пиковой Дамы»!» — сказал он себе. Знал эту повесть почти наизусть. «Все мы отравлены литературой... Я слишком много пью»... Он хотел было вернуться в ту же кофейную, подумал, что неловко будет перед лакеем, зашел в другую и заказал вместо белого вина красное, — так как будто было лучше, — пьяницы кажется все пьют одно и то же. И опять ему пришли в голову те же мысли, ему самому очень надоевшие, простые, скучные: «Какой я Би-Шар? Просто развратный киевский старичек. Давно пора вернуться на Шелковичную улицу, там лежать на полатях, как говорит Тятенька, вести с Тятенькой ученые разговоры, слушать его осточертевшие шуточки и ци-

таты, изображать нежную любовь к Оле и Лиле, стараться прожить, по Ба-Шаровски, возможно дольше. Конечно, нет ни малейших оснований считать себя Би-Шаром из за пошлейшего похождения, которое было бы пустяком, еслиб не странная обстановка, еслиб случилось оно не в Константинополе, а на Крещатике. У Петра Ивановича были десятки таких похождений, он ими очень гордится, — как в душе и я. Мне понравилось считать себя Би-Шаром, но собственно Би-Шар это просто псевдоним негодяя. Когда же я стал негодяем? Неужели был всегда? Как же назвать иначе старого человеда, который бросил жену и дочь вдобавок в зараженном городе, живет во Флоренции, где никакой холеры нет, пьянствует на их деньги с любовницей»... Лейден вдруг впервые подумал, что в его состояние, т. е. и в деньги, которые он тратит в Италии, небольшой частью входит приданое, полученное им за Ольгой Ивановной. — «Как же не негодяй! Немногим лучше Петра Игнатьевича, пропади он пропадом... В Киеве скоро станет тепло, эпидемия усилится, что́, если, не дай Господи, они заболеют! Что я себе тогда скажу? И хорош же я, если сейчас подумал о том, «что я себе скажу»!.. Нет, нет, надо бросить Роксолану, да и скучно с ней еще в сто раз больше, чем с Олей. Побываю на трех оставшихся плантациях, — всё-же я кое-чему здесь для дела и научился, — и вернусь на Шелковичную улицу уже навсегда, твердо зная, что весь смысл моей жизни в том, чтобы отсрочить Аскольдову Могилу».

Вечером этого дня Лейден был молчалив. Роксолана заговаривала с ним, он не отвечал. «Совсем помешался, еще задушит!» — подумала она.

Заснул он тотчас; в кровати задыхался и вскрикивал.

Он ночью *знал,* что спит и что видит сон, старался даже всё запомнить. Однако, утром, когда просыпался, всё бывшее во сне еще казалось ему совершенно ясным и разумным. Затем он подумал, что просыпается, что, к счастью, всё это вздор: никакой серы, никакого Герардо, никаких Миносов! И, раскрыв глаза, с невыразимым облегчением увидел, что дей-

ствительно не умер. «Слава Богу! Еще поживу!..». А еще через минуту он уже и помнил всё не вполне твердо. Тем не менее решил занести сон в тетрадку. Для этого почти невольно освободил его от тех нелепостей, которые бывают во всех снах, даже в самых вещих и литературных. Впоследствии он не мог сказать с точностью, что именно ему снилось и что было им присочинено или приукрашено. По записи выходило как будто так:

Суд происходил в подземном царстве, не очень далеко от того места, где с грохотом и дымом текут, пылая, волны Флегетона. Но дабы близостью мучений не пугать людей, быть может ни в чем неповинных, судья теней, добрый Эак, настоял на том, чтобы высокие троны судей были поставлены за холмом, на достаточном расстоянии от страшной реки. Его товарищ, злой Минос, возражал: «Пусть подышат серой, а там будет видно, кто виновен, кто нет». Третий судья Радамант, полубог справедливый и блюститель законов, дал перевес мнению Эака, и троны были поставлены у подножья холма: до судимых не доносились ни запах серы, ни вопли осужденных. Рай был, тоже по воле Эака, далеко, чтобы не возбуждать ложных надежд. Ближе всего было Чистилище, расположенное не на Этне, вопреки указанию многих древних мудрецов, а у мутных, темных, скучных вод Ахерона, не очень далеко от того места, откуда каждый вечер отплывала барка Харона, увозившая осужденных в ад.

Обычно дело каждого смертного обсуждалось совместно тремя судьями и решалось большинством голосов. Но в дни чумы так много было дел, что судьи поделили их между собой. Кто не знал за собой больших грехов, был спокоен и ждал терпеливо своей очереди. Большие же грешники волновались: как бы попасть к Эаку, как бы избежать Миноса!

Минос пользовался общей ненавистью. Все знали, что он вымещает на людях те обиды, которые сам испытал в жизни. В ту пору, когда он был царем на Крите, его жена Пазифая влюбилась в быка: Посейдон, бывший в ссоре с Миносом, подсунул ей самого красивого быка на земле. Она

полюбила его и родила чудовище, каждый год пожиравшее в лабиринте семь девушек и семь юношей. В Греции вполголоса говорили, что Минос был собственно назначен лишь присматривать за осужденными, а обязанность судьи присвоил себе незаконно. Боялись его все необычайно, особенно после того, когда он поднимался на поверхность земли: если ему там попадался хотя бы смирный вол, не было предела его свирепости.

К судейскому столу, за которым сидели судьи с ключами и с жезлами, вел узкий и длинный корридор. Продвигались в нем медленно, теперь многое зависело от счастья: выйдешь из корридора в ту минуту, когда освободился Минос, попадешь на беду к нему; а если свободен Эак, будет тебя судить он. В ту минуту когда перед столом предстала Монна Бианкина да Сассоферато, а за ней граф Герардо делла Герардеска, Эак только что кого-то отправил в рай и смотрел с благожелательной улыбкой на Монну Бианкину. Но, как будто по ошибке, Монна Бианкина скользнула к Миносу, — он как раз что-то подписывал. Бывший критский царь этого не заметил, или не понял, что нарушено правило: не привык к тому, чтобы кто-либо добровольно выбирал его судьей.

И Эак, и Радамант немедленно отправили бы Монну Бианкину в рай, так как она была женщина великой доброты и, кроме любви к злому человеку, не значилось за ней никаких грехов. Минос в рай женщин почти никогда не отправлял, но и ему в конце разбора пришлось сделать для нее исключение. — «В рай!» — угрюмо сказал он.

Эак же, по своей доброте и мудрости, не послал в ад Герардо делла Герардеска. Как ни велики были грехи и преступления этого смертного, он отправил его в Чистилище: по своей доброте и мудрости, не обрек бы на вечные адские муки и самого Сатану.

В Чистилище вел длинный подземный корридор с запущенным, во многих местах провалившимся, каменным полом. Его стены поросли мхом, кое-где были дыры, слева врывался удушливый дым, иногда сверкали адские молнии. Осве-

щался корридор длинным рядом огневых часов. По правую же его сторону тянулось одно за другим огромные отделения Чистилища. Были тут отделения гордецов, скряг, лжецов, завистников, людей, преступных уверенностью, людей, ненавидевших земную жизнь, революционеров, не достигших власти; революционеры же достигшие власти почти все были в Аду, как и множество других людей, имевших большую власть в надземной жизни; в рай никто из них не попадал.

Заключенным в Чистилище не объявлялось, сколько времени они в нем пробудут, и каждый раз, как сгорал до конца прут огневых часов, у них пробуждалась надежда, что пришел час их освобождения. У главного входа метал кости Случай, самый страшный из богов, его боялся сам Зевс. В чистилище не было ни костров, ни пыток. Был лишь туман, и нечего было делать, нечего желать, так как скоро исчезала и надежда. Царила вечная Скука с измерявшими Время огневыми часами.

Рай же состоял не из двадцати восьми отделов, как говорили мудрецы в индийских землях Азии, и не из семидесяти великолепных дворцов, как учили, тоже в Азии, другие мудрецы. Лишь один из величайших мудрецов древности предвидел и описал всё верно. В божественных садах, на берегу четырех рек, росло восемьсот тысяч дивных деревьев. У пышных хрустальных ворот встречали бывших смертных и провожали их к дереву вечной жизни. Там они получали миртовые жезлы и впредь в течение вечности могли наслаждаться заслуженным счастьем. В одной реке тек мед, в другой молоко, в третьей благоуханья, в четвертой нектар. И бывшая смертная Монна Бианкина заняла место в шатре на берегу четвертой реки. Она заливалась слезами. Другие обитатели рая были уверены, что это слезы счастья. Она же к нектару и не прикасалась. Думала только, что здесь избрал бы себе место Герардо, ибо он не любил ни благоуханий, ни молока, ни меда.

В райских садах тоже были часы и огневые, и водяные, и песочные. Но кроме Монны Бианкины на них никто и не смот-

рел. Она же не принимала участия в великих радостях бывших смертных. Всё сидела на берегу четвертой реки или бродила по бесконечным садам. И так прошли годы или, быть может, десятилетия.

И как-то раз подошла она к воротам: не к тем, через которые была введена. У ворот никого не было. Некого было сторожить: какой же безумец уйдет из рая? За воротами открывался мрачный каменный корридор. Она оглянулась и побежала.

В ту же секунду метнулись кости в руках Случая. Сгорел огненный прут. И великий грешник, бывший в надземной жизни графом Герардо делла Герардеска, услышал бегущие шаги и увидел, что растилается туман. К нему бежала женщина, на лице которой была написана светлая, безмерная, неслыханная радость.

Но он не улыбнулся Монне Бианкине. Души их по разному помрачились от Скуки.

X

Rien ne remplace l'attachement, la délicatesse et le dévouement d'une femme[4].

Chateaubriand.

Тоскливое чувство, которое испытывала Ольга Ивановна со дня отъезда мужа, еще усиливалось от того, что грустно была настроена и Лиля. Она почти забросила музыку, читала гораздо меньше и была неразговорчива. Большую часть дня проводила дома, а когда играла на пианофорте, то лишь «Песни без слов» только что скончавшегося Мендельсона. «Неужто вправду влюбилась в Яна! Вот не хватало! И зачем он к нам приехал?» — думала Ольга Ивановна. Виер вел себя так корректно, что упрекнуть его ни в чем было невозможно. Он и сам был не в духе. Теперь обедал у них реже прежняго.

[4] «Ничто не может заменить привязанность, деликатность, преданность женщины».

Начал замечать, что было бы лучше и для него, и для Лили, еслиб они встречались не часто.

Жизнь Ольги Ивановны, ее душевный мир были просты и счастливы. Она всем желала добра. Это общее расположение к людям покидало ее очень редко, — когда кто-либо проявлял дурные чувства к ее мужу и дочери и о них злословил (от добрых знакомых это часто становилось ей известным). Но и таким людям она скоро прощала, и ей опять было хорошо. Ольга Ивановна считала некоторым грехом, что, желая всем добра, она всё же еще гораздо больше желала добра Константину Платоновичу и Лиле. Тут, она знала, ничего поделать с собой нельзя, да собственно и незачем: грех всё-же невелик.

Если Ольга Ивановна чем-либо вообще гордилась, то разве тем, что устроила мужу и дочери хорошую, приятную, уютную жизнь. Это признавали все и всецело приписывали заслугу одной Ольге Ивановне: «При характере херсонского помещика, к ним никто и на порог не показался бы». Благодаря ей, их дом на Шелковичной был одним из самых милых и уютных в Киеве. — «Вы и не знаете, Олечка, как у вас всем хорошо и какие вы с Лилькой счастливицы!» — часто говорил ей Тятенька, и всегда у нее лицо при этом светлело. «Правду он говорит: нам хорошо, очень хорошо. Обо мне что же думать, а Лиленька действительно счастлива. Да и Косте грех жаловаться», — думала она прежде, еще совсем недавно.

Теперь, как она ни избегала разговоров — и даже мыслей — обо всём неприятном, у нее не было счастливого спокойствия или его стало много меньше. Больше всего еще до отъезда мужа заграницу, она тревожилась об его здоровьи. Хотя он и не был с ней вполне откровенен и не говорил ей того, что, случалось, говорил Тятеньке, Ольга Ивановна чувствовала, что с ним творится что-то неладное.

Вторая же серьезная забота была о будущем дочери. Лиля и ее мать без слов понимали друг друга. Ольга Ивановна видела, что Лиле решительно нечего делать. Учителя да-

вали ей уроки музыки и рисованья. Играла она недурно, рисовала и писала акварелью плохо; всё это отнимало часа три в день, не больше. Так же, как это было ясно Лиле, понимала и Ольга Ивановна: занятие лишь одно — ждать «суженого», — особенно тягостное потому, что его надо тщательно скрывать от всех и даже, в меру возможного, от себя самой. Чужие мужчины, бездетные дамы только улыбались, — между тем это была настоящая драма, которая могла кончиться хорошо, но могла кончиться и плохо, — самым плохим концом было бы отсутствие конца. Ольга Ивановна, как почти все женщины, в свое время через это прошла и теперь не так уж радостно вспоминала о «невозвратной девичьей поре»: «Да, было хорошо, но слава Богу, что кончилось. Что со мной было бы, еслиб не Костя!». Иногда у Лили глаза бывали заплаканные. Между тем надо было делать вид, что всё идет отлично, а *суженый*, конечно, откуда-то возьмется, когда придет час. Но какой это час и как он придет, ни мать, ни дочь не знали. Особенно им бывало тяжело, когда выходила замуж девушка еще моложе Лили. Если на балу или на спектакле Лиля имела особенный успех, мать и дочь немного успокаивались: будет жених, не может не быть. Но и балы, и спектакли бывали не так часто. Поговорить обо всем этом с Константином Платоновичем было невозможно: в отличие от многих отцов, он от такого разговора тотчас пришел бы в ярость.

Особенностью девичьего ремесла было то, что в обычное время, т. е. когда никаких молодых людей в виду не было, делать ничего не приходилось: ремесло было эпизодическое. В Киеве подходящих женихов для Лили Ольга Ивановна не видела. *Блестящие* молодые люди, очевидно, жили в столицах, а другие были уж слишком не блестящи. Тятенька драму понимал, хотя по деликатности с Ольгой Ивановной о ней не заговаривал. Он старался приводить в их дом каких-то молодых людей, — лучше бы не приводил.

Приданое у Лили было не очень большое; она была, по общему отзыву дам, «хорошенькая, но не красавица»; все

признавали, что у нее милый характер. Испытанное средство уже было пущено в ход: они вдвоем съездили в Петербург, и ничего не вышло. Ольга Ивановна понимала свою ошибку: необходимо было сначала как-нибудь обзавестись в столице связями; кроме того нужно было пробыть там не три недели, а по крайней мере, три месяца. «Один раз не удалось, выйдет в другой» — утешала себя она. Теперь, по ее мнению, следовало торопиться: еще два-три года и Лиля будет занесена в число старых дев. В прошлом году они вдобавок отправились в Петербург слишком поздно: *сезон* уже кончался. Гораздо лучше было бы поехать ранней весной.

Дело осложнилось заграничным путешествием Константина Платоновича. Как ни мало смыслила Ольга Ивановна в делах своего мужа, он всё-таки поручил эти дела ей, и уехать до его возвращения она не могла. Не очень удобно было бы оставить его и тотчас после возвращения. Хотя она просила мужа остаться заграницей подольше, в душе Ольга Ивановна надеялась, что он вернется в конце зимы. Но из полученного ею из Флоренции письма, как будто следовало (Константин Платонович писал не очень ясно), что его дела в Италии затягиваются.

Новая дружба Лили с Ниной давала выход. Барышни и их матери переписывались. Почти в каждом письме Лейденов звали в столицу погостить. «А отчего бы Лиленьке и не поехать без меня?» — как-то спросила себя Ольга Ивановна. С той поры эта мысль ее не оставляла. «Конечно, гостить три месяца у друзей не очень удобно. Правда, я накупила бы им всяких подарков, и они так милы и гостеприимны». Было еще и другое препятствие: Нина собственно находилась точно в таком же положении, как Лиля; она тоже *занималась* тем, что ждала жениха; тоже была хорошенькая, но не красавица, со средствами, но не богатая. «Послать туда Лилю — точно отбивать хлеб». После долгих колебаний, Ольга Ивановна написала своей подруге дипломатическое письмо. Сообщала, что им обеим очень хотелось бы к ним приехать, но она из за дел мужа уехать не может. «Не подбрасывать же вам Лильку од-

ну? Правда, есть оказия, чтобы ее к вам доставить, да это ведь невозможно, как вы обе ни милы. Она всё-таки была бы вам в тягость так долго», — писала Ольга Ивановна.

Ответ пришел точно такой, какого она ждала: Лилю восторженно просили приехать в гости: «Уж если ты, Оленька, никак не можешь, что-ж делать? И как тебе не стыдно писать, будто Лиленька «будет в тягость»! Ниночка уже сошла с ума от радости, и мы обе умоляем об одном, чтобы Лиленька у нас осталась подольше, до самого июня. А в следующем году, Бог даст, отдадим вам визит в Киев. Мы давно хотим увидеть «мать русских городов».

До февраля о поездке Лили не говорили. Все киевские барышни и их родители оживлялись, когда дело подходило к Контрактам. Но в 1848 году съезд оказался небольшим, отчасти из за приютившейся где-то на зиму холеры.

Разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы Лиля путешествовала одна. «Оказией» был Тятенька. По мнению Ольги Ивановны, он должен был ухватиться за ее план. «А если он скоро захочет вернуться в Киев, то я съезжу за Лилей в июне».

Тятенька действительно пришел в восторг.

— Да я отвезу Лильку, за чем дело стало? Я и сам давно хочу проветриться. И по делам нужно! — сказал он. Ольга Ивановна догадывалась, что дела он тут же выдумал. Однако жертва со стороны Тятеньки была не велика: он каждые два-три года уезжал в столицы и чрезвычайно это любил. Для роли chaperon он годился превосходно по возрасту, по своей совершенной порядочности, по тому, что очень любил Лилю и считался «как бы вторым отцом». Тятенька говорил, что в Петербурге, в отличие от Киева, сезон прекрасный. Итальянская опера чудесная, — правда, Рубини и Виардо больше нет, но Борси и Фреццолини поют одна лучше другой, так что образовались две партии: Фреццолинисты и Борсисты.

О поездке Лили следовало бы, конечно, запросить отца. Это было трудно: ответ пришел бы не скоро и, вероятно, был бы отрицательный. В разлуке со своими Константин Платоно-

вич не пришел бы в ярость, но, догадавшись, в чем дело, написал бы: «Зачем Лиленьке ехать одной и бросать тебя? Вот я вернусь, тогда осенью или будущей весной съездим втроем». Ольга Ивановна и сама немного колебалась: что Лиля будет там делать без нее? Хотя *занятие* ни с какими трудами не было связано, всё-же мать для него была очень полезна. «Ну, просто перезнакомится с молодыми людьми, отведет с Ниной душу».

Приняв решение, Ольга Ивановна прибегла к своей обычной тактике: она делала с дочерью что хотела, но незаметно выходило так, будто Лиля всё решает самостоятельно.

— А что, Лиленька, еслиб ты в самом деле приняла их приглашение? Они такие милые. Тятенька туда собирается, он мог бы тебя отвезти. Опера там нынче превосходная. Говорят, эта Фреццолини всех сводит с ума.

— Нет, я не поеду, — сказала кратко Лиля. Ей показалось, что мать хочет увезти ее от мосье Яна.

— А почему бы нет, Лиленька? Ты ведь очень любишь и Петербург, и Нину. Тятеньке нужно туда по делам. Он, конечно, будет жить в гостинице. Почему бы тебе не съездить?

— Так, просто не хочется. Хочу быть с вами... И не могу я вас оставить одну без папы, — сказала Лиля. Очевидно, этот довод только что пришел ей в голову. Ольга Ивановна была им тронута; всё же ее беспокойство увеличилось. «Конечно, Ян! Так и есть!».

Быть может, начался бы разговор «на чистоту», но вышла неожиданность. В этот день у них обедал Виер. За столом он со своей обычной учтивой улыбкой сказал, что, как ни хорош Киев и как ни приятно ему было пользоваться их гостеприимством, он на днях должен уехать.

Лиля помертвела. Мать старалась на нее не смотреть.

— Куда?

— В Пруссию.

— Вот как! Что-ж так скоро?

— Пора. Дела.

— Значит, в Киеве вы все дела закончили?

— Закончил ли дела? Да, теперь все закончил. В Петербурге верно на неделю задержусь, а затем морем в Штеттин. К чему откладывать?

— Это правда, — сказал Тятенька. — Если дела кончены, то откладывать незачем. Правду говорят: годить только гадить. А в Питер мы могли бы поехать вместе, — добавил он. Ольга Ивановна с неудовольствием на него взглянула, но он этого не заметил. — Лилю зовут в Петербург, и мне тоже туда надо.

— Это было бы очень приятно.

Разговор перешел на Контракты, на холеру: в городе опять произошло несколько смертных случаев. Для Ольги Ивановны это был лишний довод, чтобы отправить Лилю на север.

В тот же день она с самым беззаботным видом снова спросила дочь:

— Что же, Лиленька, как же Петербург-то? Ведь надо им дать ответ.

— Да зачем-же, мама, я поеду? — спросила Лиля, и Ольга Ивановна, с очень смешанными чувствами, почувствовала, что дело сделано. «Ну, что-ж, ведь он туда только на неделю, да и едва ли будет ходить в чужой дом. Разве один раз зайдет с визитом».

— Как зачем? Развлечешься.

— А как же я вас оставлю?

— Как-нибудь, я не маленькая. Ты, конечно, старше, но я обойдусь без твоего надзора.

Лиля засмеялась и поцеловала мать.

Снег рано начал таять. Решено было путешествовать не в санях, а в карете, не на долгих; у Лейденов была только пара лошадей, для кареты требовалась в далекую поездку четверка. Ольга Ивановна приготовила много съестных припасов, но это было ничто по сравнению с тем, что приготовил Тятень-

ка. Все только разводили руками, когда в дом стали привозить его корзины, бутылки, даже кадки с мороженными щами.

— Тятенька, да ведь это на полк солдат!

— Дай Бог, чтобы что-нибудь осталось через три-четыре станции.

Виер съестных припасов приготовить не мог, но купил несколько бутылок старого меда. В разговоре с Тятенькой он твердо поставил условие:

— Будем делить все расходы.

— Сделайте милость, пане Яне. Может, мне и за мою снедь купно с благодарностью заплатите?

— За вашу снедь вы денег не приняли бы, но расходы на лошадей, на ночлег будем делить.

— Ничего решительно против этого не имею... Пане Яне, вас за гордость черти припекут на том свете. Впрочем, вы в это не верите. А в чертей Товянского верите? — спросил Тятенька. Слухи о Товянском, в форме смешных анекдотов, уже дошли и до Киева. — Ну, не буду, не сердитесь. Всё же странно, как у вас сразу в голове и революция, и Товянский.

— В этом ничего странного нет. Только спорить об этом не стоит, особенно в России.

В день отъезда Тятенька рано утром прикатил в своей бричке еще с какими-то припасами. Его дорожный наряд вызвал общее веселье. На нем под медвежьей шубой был яркий тулуп и коты с красной оторочкой. Перед дорогой все присели, затем долго, уже на улице, прощались. Ольга Ивановна и Лиля плакали.

— Ну, с Богом!

— Прощайте, Ольга Ивановна, еще раз от души вас благодарю за всё ваше милое гостеприимство, — сказал Виер, целуя ей руку.

— Не прощайте, а до скорого свиданья, — поправил Тятенька, три раза поцеловавшись с Ольгой Ивановной. — Дети мои, айда! Взбирайтесь, едем. Frisch in's Leben hinein!

Дай нам Боже добрый путь! Олечка, дуся, не плачьте... Не забувайте мене. Пошли вам Господи усе добре!

— До свиданья, маменька, до свиданья... Скоро вернемся, маменька, — говорила в слезах Лиля. Теперь не назвала Ольгу Ивановну и «maman».

XI

Je meurs de soif auprès de la fontaine[5].

Villon.

Эта поездка из Киева в Петербург осталась одним из самых счастливых воспоминаний Лили. Впоследствии ей казалось, что Бог хотел ее побаловать перед большим несчастьем.

Она теперь находилась в обществе мосье Яна целый день, — чего же можно было еще желать! Всё в дороге, даже неудобства, усталость, грязь, мелкие приключения, было для нее источником радости. Карета катила с горы несколько быстрее, чем полагалось. Лиля вскрикивала, хватала Виера за руку, затем весело хохотала над своим испугом. Им кланялись мужики, очевидно принимавшие их за местных бар, — ах, какие смешные и милые!

Тятенька никогда не мог пожаловаться на дурное настроение; теперь же ему была особенно приятна роль *отца* Лили. Она была на его попечении; он всё делал, чтобы ей было хорошо. Лиля знала его с раннего детства, он был такой же принадлежностью их дома, как няня, как Ульяна, как старая собака Шарик. Но только в этом путешествии она увидела, как мил может быть Тятенька.

И даже Виер повеселел после того, как они выехали за заставу.

У него была в Киеве еще одна, последняя, встреча с

---

[5] «Я умираю от жажды вблизи фонтана».

Зосей. Никакого разговора не вышло. Ему казалось, что он разговора и не хотел. Он простился с ней так, точно они должны были снова встретиться через неделю. Окончательно себе сказал, что всё тут было в деньгах. Для такого суждения собственно оснований не было: он видел, что она влюблена в своего жениха. Прежде Виер, случалось, как Лейден, думал, что погоня за деньгами (которую он иногда замечал даже у революционеров) может находить, если не оправдание, то смягчающее обстоятельство: человек хочет создать себе независимость для обеспечения личного достоинства; при полном отсутствии средств оно дается очень нелегко. Теперь он больше этого не находил: «И люди, стремящиеся к богатству, и люди, желающие только материальной независимости, стоют друг друга. Они те же Бальзаковские персонажи. И если Бальзак прав, если Мирабо и Дантон были продажны, то они никак не великие люди. Действительно в пору Великой Революции так или иначе продавались почти все. Помнится, Бонапартовские революционные офицеры писали Директории: «Из всех животных самое отвратительное — король, самое подлое — придворный, а хуже их всех — священник». Слова и сами по себе глупые, вульгарные, ни о каком достоинстве не свидетельствующие. Позднее же эти люди стали герцогами, маршалами, верноподданными сначала Наполеона, затем «законного короля». И так будет всегда, пока существует их проклятый хозяйственный строй. Когда мы его уничтожим, люди станут чище. Бланки прав, во всём прав Как только вернусь в Париж, отдам отчет князю Адаму, а затем навсегда к Бланки и уйду. У меня личного счастья не будет, и я для него не создан».

С Лилей он очень сблизился в Киеве именно потому, что об его женитьбе на ней не могло быть речи. Всё же он невольно, сам того не замечая, старался в разговорах с ней быть «интересным». Иногда с легкой таинственностью говорил ей о политических делах. Теперь ему было бы неприятно, еслиб она его считала торговым комиссионером. То жадное внимание, с каким его слушала Лиля, всё больше на него

действовало. Она же боялась, как бы он не счел ее глупенькой, и изо всех сил старалась ему сочувствовать.

Всю дорогу из Киева в Петербург они были в состоянии необычном. Тятенька скоро это заметил. Он считал Виера очень корректным и вдобавок холодным молодым человеком. Но из предосторожности — всё на его ответственности — предложил Лиле сидеть в карете справа от него:

— Я из нас самый важный, мне и полагается сидеть посредине. А тебе, Лилька, захочется вздремнуть, вот и прислонись головкой к стенке и спи сколько хочешь.

— Ни за что! — сказала Лиля, впрочем без всякого умысла. — Посредине всегда сидят дамы.

— Хороша «дама»! — проворчал Тятенька, но не настаивал. Ни разу не случилось, чтобы Лиля в карете задремала. Не спал даже он сам. Всю дорогу болтал, рассказывал смешные истории, кавказские или еврейские анекдоты. Почему-то старался говорить по украински. Случалось даже, пел малороссийские песни, которых знал немало. И анекдоты, и песни у него были на разные случаи жизни. Когда въезжали в лес, Тятенька, притворяясь испуганным, говорил Лиле, что тут водятся разбойники. Лиля ахала, но знала, что мосье Ян ее спасет. А Тятенька, фальшивя, пел, к удовлетворению ямщика:

Зовут мене розбийником,
Кажуть, розбиваю.
Не убив же я никого,
Бо и сам душу маю.
А що визьму с богатого,
То вбогому даю,
А так гроши подиливши,
Всё-ж, гриха не маю.

— Гей, дядьку, — говорил Тятенька слушавшему рассеянно Виеру. — Симпатичный разбийник, правда? Ну, так выпьем, пане Яне, за его здоровье. Зачем печален, вацпан? Щось не мило часом на свити, або що?

Он доставал бутылку, стаканчики «на пуклях» какой-то,

по его словам, ашпурской работы, и пил сначала «за маму», потом «за папу», потом «так и быть, за тебя, Лилька», и «за тебя, пане Яне, хоть ты, по дьявольской твоей гордыне, этого не стоишь». Теперь он и Виеру говорил «ты», смягчая это словом «пан». «Ну, а есть ли вы оба, дикари и грубияны, за меня тоста не предлагаете, то я сам за себя выпью. Будем здоровы». Ямщиков он щедро наделял едой, но водки им давал только по стаканчику; в большом количестве отпускал ее лишь тогда, когда подъезжали к гостинице на ночевку. Путешествовали они медленно: Тятенька уверял, что от быстрой езды делается каменная болезнь. Лиле же всё казалось слишком быстро, — она с тоской думала, что скоро это райское существование кончится. Лошадей они доставали везде: Тятенька обращался со смотрителями мастерски; их тоже угощал, либо «из благодарности», либо «чтобы подмаслить», — «не подмаслишь не поедешь».

Закуска в карете была, по его словам, не серьезным делом: главная еда была на станциях. Тятенька первым делом спрашивал трактирщика, есть ли баранина. Если была, то сам жарил шашлык, в ту пору еще мало известный за пределами Кавказа. Вертел над огнем мясо на железном пруте, говорил какие-то армянские или грузинские слова и давал пояснения обступавшим его людям. Когда же баранины не оказывалось, то с видом величайшего презрения спрашивал, что́ есть, действительно ли яйца свежие, действительно ли будет курица, а не старый петух. Выслушав с самым недоверчивым выражением клятвенные заверения — всё самого лучшего качества, — заказывал обед. Если ждать приходилось долго и если содержатель трактира был еврей, Тятенька, хоть ничего против евреев не имел, говорил: «Чтоб вам вашего Мессию так долго ждать!». А когда бывал доволен, хвалил: «Яке смачне блюдо! И пейсаховки ще такой не було! Не корчма, а закуток эдемьский! Здоров був, пане Рабинович!». Не очень торговался, расплачиваясь, начай оставлял щедро, но кряхтел — «ох, крепко жамкнул!» — и декламировал: «О, деньги, деньги! Для чего — вы не всегда в моем кармане?».

В городах, где они останавливались на ночлег, он тотчас находил наименее плохую гостиницу. Всегда заказывал две комнаты, даже если были свободны три; Виера устраивал в своем номере на диване (из бережливости Виер соглашался), а Лилину комнату тщательно осматривал, посыпал кровать порошком, спрашивал слугу, кто соседи, проверял засовы, иногда подвигал к двери комод. Затем уходил делать покупки и неизменно брал с собой Яна, под предлогом, что трудно одному всё нести. Свои запасы он начал пополнять еще с Чернигова. По пути рассказывал Виеру непристойные анекдоты: при Лиле нельзя было, а без них Тятеньке было бы трудно прожить неделю. К некоторому его удивлению, молодой поляк слушал без улыбки, а иногда и морщился.

— Да ты ведь, пане Яне, не монах, а фармазон, да еще вьюнош, — говорил, оправдываясь Тятенька. — Владимир Красное Солнышко, на что уж праведный человек, а был в молодости, как говорит современник, «несыт блуда». Что ж тут худого?

Еще неприятнее было то, что в лавках Виер отсчитывал ему половину истраченных денег. Этого Тятенька и вообще не любил, а тут платил *мальчишка*, у которого и денег, повидимому, было совсем мало, хотя он путешествовал на счет иностранной фирмы.

— Да почему же половину! Чи не сором тоби, вацпане? Что-ж, ты и за Лильку хочешь платить! Треть, так и быть, возьму, а больше не возьму!

— Дамы не платят.

Вернувшись в гостиницу, Тятенька выгружал еду, доставал бутылки, — при этом не то декламировал, не то пел: «Да он бочку берет вина под пазуху, — Да другую сороковку под другую, — Да и третью-то бочку да ногой катит...» Затем страшным голосом звал Лилю: «Ах, несчастная девчонка!..».

Лиля в своей комнате мылась с головы до ног, тщательно себя совершенствовала перед зеркалом и переодевалась. Она взяла с собой три дорожных платья, хотя Ольга Ивановна

говорила, что и двух вполне достаточно. Но шубка была в дороге только одна. Мать настояла на том, чтобы вторую, лучшую, спрятать в сундук, для Петербурга. Между тем Лиля чувствовала, что Петербург ничто в сравнении с этим волшебным путешествием. Когда она, наконец, входила в комнату мужчин, там уже стояли на столе самовар, бутылки и невообразимое количество еды.

— Ну-с, задавим буканда. Пообедаем не «cito», но «jucunde», — говорил Тятенька.

И тотчас становилось еще гораздо веселее. За закуской он доказывал что русская водка самая лучшая в мире: «даже ваша, польская, хоть и хороша, да хуже, это, пане Яне, надо признать». За венгерским говорил: «Поляк, венгер то братанки — так до шабли, як до шклянки». Случалось, тайно отдавал хозяину остудить бутылку взятого из Киева шампанского; при ее появлении он наслаждался эффектом и, наливая вина Лиле, сообщал, что, по словам маркизы Помпадур, шампанское — единственное вино, которое хорошенькая женщина может пить, не становясь некрасивой.

— А впрочем, ты, Лилька, и ведать не ведаешь, какая такая маркиза Помпадур.

— Ну, вот еще! — возмущенно отвечала Лиля. — Она была любовницей...

Не смей говорить такие слова! Фавориткой.

— Фавориткой одного французского короля.

— То-то. И вообще не смей у меня покастить.

— Это значит: «говорить дерзости»? Вот нарочно возьму и буду покастить.

— Не смеешь! Я теперь над тобой полный властелин. Как царь Алексей Михайлович, я «земель восточных, западных и северных отчич и дедич».

Ложился спать Тятенька рано и, к досаде Лили, заставлял ложиться Виера.

— А то шановний добродий меня разбудит, у меня очень чуткий сон, — говорил Тятенька, которого не могло бы разбудить сражение под окнами его комнаты. Его опыт говорил,

что лучше не оставлять без надзора вдвоем молодых людей, даже очень хороших.

Общему прекрасному настроению способствовала теплая солнечная погода. Тятенька говорил, что только на Украине бывает такая в конце февраля:

— В Турции, в Италии солнца, понятное дело, еще больше, а неба такого и у них нет. Я напишу астроному Струве, спрошу, как это выходит по ихнему, по ученому? И оцените вы, детки, эти тающие снежные ручейки! Они мертвого расшевелят!

— В Польше точно такие же.

— А ни-ни! А эти леса, рощи, поля! Нет уж, друже мий милый, мы их вам, панам, не отдадим. Себе дороже стоит, — говорил Тятенька. Виер не сердился: то ли не считал эти земли польскими, то ли не считал Тятеньку русским.

— Что и говорить, места красивые, но какая бедность! Взглянули бы вы на европейские деревни.

— Должен тебе ответом: я их видел. Они ненамного богаче наших. Да и то, ведь вы, партажеры, хотите всё у всех отобрать. Говорят, у вас и жены будут общие, а?

Виер пожимал плечами. Считал, что вести с Тятенькой серьезный политический спор не стоит, но иногда, ради Лили, от своего правила отступал. Когда Виер сказал, что он последователь Бланки, Тятенька заинтересовался: кто такой? Этого имени он никогда не слышал; немецкие ведомости о таком не писали. Узнав сущность учения этого революционера, и то, что он недавно сидел или еще сидит в тюрьме, Тятенька раскрыл рот.

— Да он видно мамуля! — сказал Тятенька. Так в старину называли людей, которые совершенно не умели играть в карты и тем не менее вели большую игру.

— Мамуля? Это верно «дурак»? Бланки один из самых умных людей в Европе.

— Умнее князя Адама, пане ласкавый?

— Да, умнее.

— Умнее Товянского?.. Ну, не гляди, вацпан, на меня як

вивк. Я ведь спрашиваю из любознания. Умнее Мардохая из «Тараса Бульбы»?

— Из «Тараса Бульбы»? Терпеть не могу эту нехорошую ерунду, которой вы почему-то восхищаетесь.

— Зать! — сказал Тятенька.

— Нам вообще трудно спорить. Кто-то из читавших Канта сказал, что политика еще может выдержать критику чистого разума, но не может вынести критики нечистого разума. А у вас в подходе к ней «нечистый разум».

— Есть грех, есть, — сказал Тятенька, засмеявшись. — А Гоголя не смей ругать. Он великий писатель, когда не очень умничает. Не надо, не надо умничать. Вот наш Грибоедов тоже прекраснейший писатель, а как себе умничаньем повредил! «Горе от ума»! Нет у него ни ума, ни горя. Его Чацкий так же глуп, как Фамусов, только поскучнее. А всё его «горе» в том, что дура Софья ему предпочла дурака Молчалина и что еще десяток дураков и дур распустили про него сплетню. Экое, подумаешь, великое несчастье!

— Так вы, правда, мосье Ян, *адгерент* Бланки? — спросила Лиля, слышавшая это слово и очень довольная тем, что его вспомнила.

— Да, мадмуазель Лиля. Но рассказывать об этом не надо.

— Я понимаю! Что вы!

— «Мадмуазель Лиля», «мадмуазель Лиля»! Лилька она, и кончено! — проворчал Тятенька. — А естьли человек сидит в тюрьме во Франции, да при нынешнем богоспасаемом короле, то, значит, явное дело, висельник.

— Висельник? Бывают висельники благороднейшие люди. Это зависит от того, кто и за что вешает.

— Ну, хорошо, отдаю решпект, дуже ты разумный. Выпьем за его здоровье, пане Яне. Бланки так Бланки. «Niemesz bo rady dla duszy Kozaczey». Ох твоя гордость, вацпан! Ты и живешь для некрологии!

— Вот уж и в мыслях не имею! Я средний человек.

— Для некрологии живешь, для некрологии. Ну, и бу-

дет тебе некрология. А что в ней? Ерунда, братец, чистая ерунда.

К концу обеда Тятенька утомлялся и уже более вяло рассказывал о своих путешествиях:

— В Вене у меня была комната с собственной душей! Это очень просто: наливают в резервуар два ведра теплой воды, становишься под душу и пускаешь струю какую хочешь. Истинное блаженство, но, говорят, пожилым людям вредно, а то я завел бы и у себя на Подоле. Верно врут. А как в Вене кормят! А какое кофе! Только у вас в Варшаве я пивал такое же.

Пообедав, он неизменно говорил: «Отчего казак гладок? Как поел, так и на бок», разваливался в кресле и засыпал «начерно», то есть перед настоящим сном в кровати. Лиля тогда вела с Виером волнующий разговор вполголоса. Иногда с улыбкой, свидетельствующей о полной осведомленности, вскользь спрашивала его о парижских *лоретках*. Ей мучительно хотелось узнать о Зосе, но она понимала, что спрашивать нельзя, что он всё равно не ответит и рассердится. По иному, но еще больше хотелось ей узнать, есть ли у него в Париже *связь*. Она раза два отдаленными намеками, с парижскими словами, давала ему понять, что уже *знает всё* (разумелись те тайны, которые она обсуждала с подругами). Но помимо того, что говорить об этом было очень стыдно, Лиля опасалась, что Тятенька не во время проснется, рассердится и долго будет орать, что поставит ее в угол.

Виера многое удивляло в дороге. Удивляло то, что, при всей бедности населения, при всей убогости хат, еды везде было много. Эти крепостные люди питались обильнее, чем свободные европейцы. И даже по качеству, подававшиеся в трактирах блюда были недурны, лучше того, что он ел в дешевеньких ресторанах Парижа. Еще больше его удивляла музыкальность простого народа. Во всё время путешествия они точно не выходили из концерта: не было остановки, на которой не играли бы — и недурно — на балалайках, на дудках, на гус-

лях. Еще лучше пели, хоть пение было своеобразное, не похожее на то, что он — гораздо реже — слышал во французских и немецких деревнях. «Странно! Если народ так музыкален, то почему же у них нет замечательных композиторов? Где их Россини и Мейерберы?». Виер всё еще иногда утешал себя тем, что это были не русские, а хохлы,— не враги, а скорее собратья в борьбе.

Тятенька иногда под вечер зазывал крестьянок, угощал их и заставлял петь. Как-то на третий день их путешествия, для него по заказу девки пели одну из особенно нравившихся ему песен:

Ой, диво дивное, диво,
Пошли дивоньки на жниво,
Жнуть дивоньки жито, пшеницю,
А парубоньки куколь, митлыцю.
Чого дивоньки красные?
Бо идять пироги мясные,
Маслом поливають,
Перцом посыпають.
А парубоньки блидные,
Бо идять пироги пистныи,
Золой-щелоком поливають,
И попелом посыпають.

— Ах, какие глупые слова! C'est bête à pleurer! — говорила Лиля, поглядывая на мосье Яна.

— Слова идиотские, а поют они право недурно.

— Прекрасные слова, мудрые слова! — возразил Тятенька. — Ты небось, Лилька, думаешь, что это хорошо, если дивонька блидная? Вздор, мать моя, вздор! У тебя у самой главная прелесть в румянце. И аппетит у тебя слава Богу! Скушала матушка три порции фаршированной щуки и отлично сделала! — дразнил он Лилю. Она краснела и оглядывалась на мосье Яна, который впрочем, к легкому ея разочарованию, тоже ел в дороге с большим аппетитом.

— Хорошая страна Малороссия! — сказал Виер. — Когда-то ее увижу снова? Завтра уже будем у кацапов.

— А ты оставайся, вацпане, в Киеве совсем. Определим

тебя на службу, а? Честные чиновники везде на вес золота... Не слушай, Лилька, — вставил Тятенька и, наклонившись к Виеру, дыша на него вином, рассказал: — Недавно наш Безрукий говорит одному такому-сякому: «Ходят слухи, что вы берете взятки!». А тот преспокойно ему в ответ: «Не всякому слуху следует верить, ваше высокопревосходительство. Говорят, что вы в связи с моей женой, да я не верю?».

Лиля звонко расхохоталась. Она знала даму, о которой шла речь, и при встрече поглядывала на нее с любопытством и с испугом, как на Ганскую.

— Ты как, дерзкая девчонка, смеешь слушать то, что не для тебя мужчины говорят! Эх, в корчме в угол поставить нельзя! Вот возьму и не завещаю тебе моего достояния! И в Петербурге никуда тебя пускать не буду... А надо бы, ребята, сделать, чтобы приехать в Петербург во вторник. Понедельник тяжелый день, — сказал Тятенька, иногда, несмотря на свое вольнодумство, прикидывавшийся зачем-то суеверным.

— Ну, вот еще.

— Не говори, пане Яне, «ну, вот еще»: Бонапарт отложил переворот 18 брюмера на один день потому, что 17-го была пятница.

— Непременно отложим приезд, Тятенька, непременно! Я ужасно боюсь тяжелых дней! — с жаром солгала Лиля.

— Ну, ладно. Вот что, детки, спать пора. Идем, Вельзевул. Лилька, с почтением пребывать имею. Доброй ночи, поцелуй меня, — сказал Тятенька.

Малороссия кончилась. Стали исчезать белые хаты с садиками, становилось холоднее, послышалась чистая русская речь. Лиля сразу стала грустней.

Раз вечером Виер зашел в ее комнату: по ее просьбе, принес ей роман Жорж Занд. Постель уже была постлана, Лиля была в пеньюаре. Оставался он не более двух минут, хотя Тятенька уже спал.

— Я много ее читала. Ах, какая она замечательная писательница! — сказала очень смущенно Лиля.

Она замечательный *человек*, — поправил Виер.

Больше ничего сказано не было. Уходя, он бросил на нее взгляд. Лиля легла и долго не могла заснуть от волнения. Глаза у нее блестели. «Что он хотел сказать этим взглядом? Какая я была? Как я на него смотрела? Он ли мне ответил глазами или я ему?.. Что, еслиб он в самом деле говорил мне Лиля! А я ему Ян?.. Какие у него заботы, какие волнения, если он *эмиссар*! Что, если его поймают и сошлют в Сибирь! Я брошу всё и пойду в цепях за ним!.. И остается теперь два дня, только два дня!..».

(Продолжение следует)

М. Алданов

С НЕКОТОРЫХ ПОР

Летит звезда и оставляет след
И налету сгорает метеор.
Я замечаю с некоторых пор
На всем, на всех какой-то странный свет.

Его нельзя ни словом передать,
Ни красками, ни музыкой — ничем.
Ты забываешь всё, ты глух и нем.
На миг один перестаешь страдать.

Но он так ярок этот краткий миг
И так прекрасен трепетом своим,
Что кажется ненужным и чужим
Всё, чем ты жил и всё, чего достиг.

Владимир Злобин

ДРЕВО ЖИЗНИ*

МАЛАЯ ЛЕТОПИСЬ ПЛЮЩИХИ

Дом на Плющихе не весьма был наряден, но довольно удобен: двухэтажный, с просторным двором, разными сарайчиками, закутами, даже кой-где с зеленой травкой и собственной липой на дворе, половина которой свешивалась над чужим владением. Можно сказать о нем: средней давности особнячок в Москве, ныне обогнанный планетарным ходом истории.

Верх занимали Мстислав Казимирович и Собачка. Там же и мать. Ксану перевели вниз к Прасковье Ивановне, а в комнате рядом жила Евдокия Михайловна, специалистка по дефективным детям — худенькая, невысокая дама, скромно одетая, с остроугольным лицом и задумчивыми глазами.

Мстислав Казимирович пропадал в своем Главметалле, Собачка — в больнице — как всегда к свежести и здоровью тела присоединялся в ней некий лекарственно-больничный привкус. Ксана училась на бухгалтерских курсах, иногда плакала, готовясь к зачетам.

Евдокия Михайловна отдавалась своим дефективным. Здоровье ее было слабовато — начинался диабет.

Собачка за ее здоровьем наблюдала, как и за сердцем матери.

— Душенька, душенька, — говорила ей, — вы со своими идиотами не надрывайтесь. Диабет такая вещь, утомление для него первый враг. Идиоты всё равно такими же болванами останутся. Здоровье важнее возни с выродками и всяких ученых изысканий.

---

* См. кн. 28-ю и 29-ю «Нов. Журнала».

Евдокия Михайловна улыбалась.

— Они вовсе не выродки. Просто очень несчастные дети. Хорошо еще, что не беспризорные...

— Знаю, знаю. Вы там со своим профессором разводите образцовый питомник. Знаю и уважаю, и даже ваше учрежденьице колом выпирает из всего окружающего, ну, да вы интеллигентка, аптечки и библиотечки, отдавать себя народу-богоносцу...

— А вы сами в больнице с утра до вечера и тоже стараетесь.

— И как же мне надоели эти родильницы, представительницы великого коллектива! При первых же схватках начинают пищать: «Ах, никогда больше не буду», а через год та же самая... ненавистница мужчин у нас же как миленькая, и я принимаю нового гражданина для трудового отечества. Как выберется на свет Божий, так и готовый стахановец.

Евдокия Михайловна всё улыбалась.

— Появляются и появляются. Ничего не поделаешь. Закон жизни. Да ведь и вы так говорите, а если с вашей родильницей какое-нибудь осложнение, так вы в лепешку для нее расшибетесь...

— Ну, это во мне профессиональное.

— То-то вот и профессиональное. А меня интеллигенткой дразните.

Евдокия Михайловна и действительно была интеллигентка (как и сама Собачка, только сильнее выраженная). Училась некогда на Бестужевских курсах, слушала всех Кареевых, Гревсов, замуж вышла за студента-технолога — позже крупного инженера — и разошлась с ним. Сейчас жила затворнически. Кроме работы, занималась только церковью, в ближнем приходе о. Виктора, священника из молодых, которого весьма почитала.

— Тётечка, тётечка, — говорила о ней Собачка матери. По-моему, наша Евдокия вроде монашки. Живьем хочет быть взята на небо.

Насчет небес и монашек у матери взгляды были прохлад-

ные. Но к Евдокии Михайловне она относилась с уважением.

— Образованная женщина и достойная. Наверное хорошая воспитательница. Про себя мать думала: «Странно, что образованная, а так отдается религии».

Как и покойный отец, как всё то поколение, считала, что священники, церкви, обедни — для простого народа. Люди «нашего круга» этим не занимаются. И с удивлением узнала, что именно о. Виктор окончил университет, да еще по естественному факультету, и вообще весьма просвещенный.

— Тётечка, знаешь, знаешь, у Евдокии было ведь большое горе. Ах, ужасная история. В самом начале революции, помнишь, когда она еще бескровной называлась, февральская, в первый же день в Петербурге убили ее сына — он молоденьким офицером был выпущен в Измайловский полк. У меня детей никогда не было, но я так понимаю... я бы с ума сошла.

— Да, — сказала мать, — страшное горе, конечно. Оно может вызвать в человеке всякие странности.

Горю Евдокии Михайловны мать весьма сочувствовала. Но у ней являлось и объяснение: по слабости, стараясь найти утешение, и обратилась она к религии. Это больше понятно.

— Тётечка, ты подумай: Сережа почти накануне всего этого кончил Павловское училище, в первом десятке. Ему дали вакансию в лучший гвардейский полк — он и стал измайловцем. Я его еще мальчиком помню — его отец с Мстиславом товарищ по Технологическому. Трудный был ребенок, горячий, нервный, сколько она с ним возилась, но вырос красавцем-юношей — очень прямой при этом и честный — знаешь, с оттенком рыцарства, как раз того, что для теперешних сволочей меньше всего требуется. А дальше идет уже судьба или воля Божья, понимай как знаешь. В день 27 февраля — не тем денек будь помянут, — этому Сереже пришлось быть дежурным по полку. Нарядный, в фуражке офицерской, всё с иголочки, ремни снаряжения, в кобуре револьвер. Дежурный по полку в день революции!

Мать подняла глаза — она чинила белье — сквозь пенснэ серьезно посмотрела на нее.

— Да, какая случайность!

Случайность ли, нет ли, только он по полковому двору расхаживает — а уж беспорядок полнейший, все почти разбежались, и солдаты, да и офицеры, он один в своей новенькой форме, со стэком. Около полудня у ворот толпа. Ворота заперты. А калитка открыта. Он и вышел к калитке. Тётечка, ты понимаешь... — Голос Собачки дрогнул, на мгновение она задохнулась.

— Он загородил дорогу богоносцам. А они тут же и закололи его штыками, изрубили саблями. Это и называется бескровная. А Евдокия находилась в Калуге, работала там в своей школе. Ну, и приехала, разумеется, в Петербург. Можешь себе представить, как всё это происходило...

Мать сняла пенснэ и отложила шитье в сторону.

— Добралась до Петербурга через несколько дней. И нашла тело сына совершенно обнаженное, всё исколотое, полузамерзшее, в каком-то сарайчике. Обобрали на всякий случай для утверждения свободы. Пропили всю его одежду, ремни, револьвер, это уж как полагается. Насилу добилась выдачи тела. А потом похороны, под улюлюканье, свист... Тётечка, она большой крест несет. Но посмотри ты, как...

***

В однообразии дней время текло для матери довольно мирно, и даже часть прежней жизни будто бы сохранилась — эта часть была Ксана, Собачка, Прасковья Ивановна, возможность жить по своим привычкам, вечерами раскладывать пасьянс.

Делала она это, как и в Прошине, тоже в столовой и Ксана, почти взрослая уже девушка, такая же всё тихая и болезненная, нередко присутствовала при этом (если не уходила куда-нибудь на собрание клуба или в театр): в ней смешивалось прежнее, прошинское, в чем выросла, с окружающим новым, но и в новом этом было неожиданное — с Евдокией Михайловной часто ходила она теперь в церковь, чего раньше не

знала. И это ей нравилось. Нравилось и сидеть вечером с «бабушкой», когда та раскладывает пасьянс, робко смотреть на знакомые карты, ложившиеся причудливыми узорами, слышать знакомые с детства вздохи, иногда прислоняться к бабушкиному плечу, как к опоре незыблемой.

— Иди спать, смотри, глаза слипаются. Завтра опять ученье...

Сама же мать, чем дальше шли дни, сильнее внедрялась в мечтание об отъезде. Говорила об этом мало, но действовала. Просто она начала хлопоты. Заполняла анкеты, потом добавления, доставала свидетельства: новые анкеты. Ждала ответов — или это были отсрочки, или требования новых сведений. Но ничто ее не смущало: она отыскивала другие связи. Теперь уже и Собачка и Анна были вовлечены в дело. Куда-то ездили, хлопотали о том, чтобы сильные мира сего поддержали ходатайства. Матери было всё равно куда подавать. Она убедилась теперь в одном: Глеб с Элли и Таней не вернутся. Значит, надо самой трогаться. Значит, надо хлопотать.

В небольшом, суховатом от годов теле будто бы это только и жило, и двигало: вынь устремление, существо, называемое «бабушка», или «мать», затихнет, как многолетние часы с ослабевшей от годов пружиной.

Евдокия Михайловна тоже вошла в круг бабушкиных домогательств — содействовала чем могла: вспоминала прежние знакомства и давала письма. Иногда ездила осведомляться вместо матери. Это сближало их. Евдокия Михайловна заходила теперь к ней нередко и без дела, просто в свободную минуту.

— Славная у вас девушка эта Ксана, — сказала она однажды матери в разговоре. — Нельзя сказать, чтобы быстра и расторопна, но верна. На нее можно положиться. Как это вы ее такую вырастили?

— Нет, что же, просто у нас в доме выросла вместе с моей внучкой Таней. Она хорошая, но слабоватая здоровьем и робка. Для теперешней жизни не совсем подходяще.

Евдокия Михайловна молчала. В доме тоже было совсем

тихо, окна в столовой, где они сидели, отворены, золотой июльский вечер входил со двора — липа благоухала и слегка струилась листиками в предзакатном солнце.

Мать, по обыкновению, шила. Евдокия Михайловна сидела лицом к окнам, в кресле, маленькие ручки на подлокотниках.

Точно бы она отдыхала. Большие карие глаза разглядывали задумчиво не то липу, облитую блеском, не то небо кристально-златистого вечера.

Она вдруг глубоко вздохнула — будто страница перевернулась в ней с этим вздохом.

— Как вам сказать, а, может быть, робость, кротость и некоторое смирение как раз и помогут ей в теперешней жестокой жизни.

Мать покачала головой:

— Сомневаюсь.

Помолчав, добавила:

Вот, собираюсь уезжать, а о ней сердце непокойно. Кто за ней без меня присмотрит?

— Ну, Бог даст и устроится...

— Я знаю, что вы к ней очень добры. Не бросайте ее, когда меня здесь не будет. Только не делайте из неё... монашку. Она еще молода, ей жизнь нужна. В будущем семья, дети.

Мать не добавила «любовь». Всё «такое», любовное и романтическое, считала она пустяками.

Евдокия Михайловна улыбнулась:

— Я никакой монашки из нее делать и не собираюсь. А что она в церковь теперь чаще ходит и к кружку о. Виктора стала ближе, это, я считаю, только ей на пользу.

— Кружки, кружки... опасно по нашим временам. Смотрите, как бы вас на цугундер за эти кружки не потянули.

— Нет, почему-же?.. Мы при храме, у нас сестричество. Мы занимаемся помощью бедным и обездоленным, с о. Виктором читаем Священное Писание, он нам объясняет. Тут политики никакой нет.

Мать смотрела на нее недоверчиво.

— Само то, что вы божественными делами занимаетесь, уже опасно.

— Варвара Степановна, — ответила она тихо, но довольно твердо, — что же в жизни теперь осталось, кроме этого? Если отказаться от высшего, то ведь чем же жить именно вот в этом страшном мире? Опасно, или не опасно...

Мать ничего не ответила. Евдокия Михайловна продолжала:

— Ведь у вас есть свой высший мир, своя любовь. Вы стремитесь быть с сыном, его семьей, служить ему. Я понимаю это. У меня и самой был сын, я ему так же, как вы, всё отдавала.

Она вдруг умолкла. Мать вздохнула.

— Да, знаю. Мне племянница кое-что рассказывала.

Отворилась дверь. Вошла Ксана. На ней было светлое платьице с передничком. От ходьбы она чуть порозовела, обычная лимфатичность смягчилась, — это ее украшало.

Евдокия Михайловна улыбнулась.

— Как раз о тебе говорили...

Ксана подошла, поцеловала ее и бабушку.

— Я заходила к о. Виктору. Он просил передать, известить всех — собрание будет не в четверг, а в пятницу.

— Вот и отлично, — сказала Евдокия Михайловна, — мне как раз и удобнее.

Ксана взяла со стола, на тарелке, яблоко. Как бы извиняясь, обратилась к матери:

— Жарко, яблочко хорошее...

Яблоко было «коричневое», яровое, сладкое. Ксана неторопливо откусила, поглядела на Евдокию Михайловну неяркими, несколько золотушными глазами, улыбнулась.

— Это наши, прошинские яблоки. Мужики знакомые из деревни приезжали, бабушке привезли в подарок.

Евдокия Михайловна поднялась.

— Мне надо еще к докладу готовиться. Ваша племянница подсмеивается надо мной, что я всё с дефективными вожусь, но уж кто к чему приставлен.

— Смотрите, не надорвитесь...

— Трудно теперь отстать, если бы и захотела. Но я не хочу. Это очень интересно.

Когда она вышла, мать подняла на Ксану от шитья глаза, сняла пенснэ.

— Тебе она нравится?

Ксана помолчала. Потом тихо ответила:

— Очень.

— Ну, вот, я и покойна буду, что оставлю тебя с такой как она.

Ксана подошла к ней, взяла руку и поцеловала.

Мне тебя никто заменить не может.

***

Мстислав Казимирович легко воспламенялся, вскипал, потом, как неврастеник, впадал в уныние и меланхолию. Чтобы утешиться, читал тогда Библию.

Инженером считался он отличным, всегда много зарабатывал, но никак в инженерство свое не мог вместиться. По энциклопедическому словарю изучал медицину, лечил сам себя от воображаемых болезней, одновременно и составлял планы немедленного спасения России (входила сюда и надежда на помощь Римского Папы). По Апокалипсису высчитывались сроки. Иногда, закатывая под лоб голубые глаза, он лихорадочно изводил Собачку своими мечтаниями и доказательствами того, что «этому» срок — 2 года и 5½ месяцев.

По натуре отзывчивый, он раздавал много, но порядочно и собрал, несмотря на то, что раза два прогорал еще в прежней жизни на рискованных предприятиях. В революцию у него скопилось некое золото — он считал, что хранить его надо непременно — и Собачке надлежало выслушивать и стараться понять, для чего монеты эти назначаются: то ли на случай войны, то ли для бегства, или помощи в свержении режима. Планы менялись в связи с нервами и Собачка привычно впу-

скала рассуждения его в одно ухо, а в другое выпускала: никак в ней они не задерживались.

На какую бы цель ни назначались, полуимпериалы эти, императорских времен, покоились в земле, в жестяной коробке, как раз в двух шагах от липы во дворе. Там лежал большой булыжник, если его отвалить...

Это место было священно для него. Иногда по ночам, волнуясь и даже шепча молитву, он с потайным фонариком, когда все спали, выходил проверять сокровища — хоть на Скупого рыцаря не походил вовсе.

— Бабушка, — сказала раз утром Ксана, зайдя к ней, — я нынче ночью как перепугалась...

— Чего же пугаться? Дом полон жильцов, всё тихо. Разве сон какой-нибудь плохой видела?

— Не сон. Я читала на ночь, потом легла, долго не могла заснуть... до рассвета уж недалеко, но темно всё-таки. Вдруг вижу — по двору огонек движется. Я испугалась. Думаю, а вдруг воры?

— Ерунда! Какие тут могут быть воры?

Воры-то отлично могли быть, но мать всегда считала, что ничего страшного и необычного произойти не может: пережив и войну, и революцию, никак не могла выйти она из внутреннего равновесия, совершенно несокрушимого.

Ксана тихо почесала себе пробор пальчиком на голове.

— Это и не воры были, бабушка. Я встала с постели, потихоньку, чтобы маму не будить. Подошла к окну поближе — вижу Мстислав Казимирович с фонариком, и прямо к камню под липой. Там что-то сидел, отваливал, как будто вынимал или клал, я уж не рассмотрела. У меня очень сердце билось, ноги прямо холодные, прямо отнимаются... И что он там делал, как ты думаешь?

Мать чувствовала себя в это утро вообще усталой. Тоже плохо спала ночь, болело где-то внутри, ниже левого плеча. Была сейчас сумрачна.

— Это всё тебе примерещилось. И, пожалуйста, не вздумай еще кому-нибудь рассказывать.

Ксана робко подняла на нее глаза, будто в чем провинилась. Глаза эти были слегка воспалены, как бы и натружены чтением.

— Нет, правда-правда не примерещилось! Три раза правда.

— Вот будешь на ночь каши много есть, и не такие еще вещи увидишь.

Ксана замолчала. Она наверно знала, что это вовсе не сон, и видела она именно Мстислава Казимировича, но раз бабушка находила, что не видела, у нее нехватало сил настаивать. Поняла она только, что рассказывать о виденном нельзя, в этом есть что-то тайное. И Мстислав Казимирович мог быть покоен: ничего Ксана не разболтала бы.

Мать же перевела разговор на другое. О зарытых монетах знала, но распространяться об этом, даже с Ксаной, считала излишним. Так и осталась официальная версия: Ксана наелась с вечера каши и видела во сне всякий вздор.

Для самой же матери день этот оказался невеселым. Было жарко. В жару ей вообще становилось хуже, замирало и трепетало сердце. Так вышло и нынче — приходилось много лежать.

Перед вечером к ней зашла Евдокия Михайловна.

— Душно, — сказала она. — Вы не находите? Гроза будет, небо заволокло, дышать нечем.

Мать слабо ответила со своего диванчика:

— Ничего, пройдет!

Евдокия Михайловна была особенно утомлена, видимо и расстроена. Сидела у диванчика в кресле с таким видом, что вот бы так и сидеть, не двигаться, не вставать вовсе.

— Ездила ваша племянница к тому коммунисту, который из Одессы приехал? Я еще письмо к нему дала.

— Ездила.

— Что же он?

— Обещал наднях сделать.

Евдокия Михайловна вздохнула.

— Я ему в прежние времена много помогала. Значит, не

забыл. От него много зависит. Теперь, Бог даст, скоро можно будет вам трогаться. Сколько раз вам отказывали?

— Пятнадцать. В шестнадцатый подаем.

Мать говорила тихо, но в самом слабом голосе ее был такой спокойно-непоколебимый оттенок, что всё равно: если откажут в шестнадцатый, подаст в семнадцатый.

— Нет, теперь вы получите. Если он согласился поручиться... да ведь он и Глеба Николаевича знал здесь.

В комнате понемногу темнело. Собиралась туча — сумрачная и неотразимая, иногда в ней поблескивали дальние молнии. На ее фиолетовом фоне дым из маленькой фабричной трубы казался почти белым.

Несколько времени молчали.

— У нас в кружке горе, — сказала вдруг Евдокия Михайловна. — У Поповой давно уже был арестован сын. И вдруг перестали принимать передачи. Вчера окончательно выяснилось: расстрелян. Там же, в подвале, как они это делают. А возраст его — девятнадцать лет.

Мать сняла платочек, которым обычно прикрывала глаза от света и повернулась лицом к ней:

— Да не может быть! Это который у нас тут бывал и помогал делать задачи Ксане? Павлик?

— Да, Павлик Попов.

— За что же?

— Ну, пристроили к какому-нибудь заговору... мало ли за что. Не его одного. Никогда не узнаешь.

Опять замолчали. Только вдалеке урчал гром, да ветер пролетал по Плющихе, вихрем взметая пыль.

— Когда мой сын погиб, — продолжала Евдокия Михайловна, — на меня нашло странное, как бы стеклянное спокойствие... точно я от всего мира отделена. *Они* там, а *я* здесь. Некоторые считали даже, что я холодна, или там бесчувственна. Для меня Сережа был всем в этой жизни, и его взяли. Но Господь не оставил меня тогда. Он не дал мне впасть в отчаяние. Я себе говорила: «Да будет воля Твоя!». Взял, — значит, к лучшему. Значит, для чего-то надо было. Могло быть и

хуже. У Поповой и вышло хуже — Бог знает, что они там в тюрьме претерпели.

Мать опять повернулась на спину и накрыла лицо платочком. Из-под угла его медленно выползла слеза.

— О, Боже мой! Боже мой!

Евдокия Михайловна сидела тихо, прочно, как бы вновь была за стеклянной стеной.

— Я иногда мечтаю... фантазии, конечно. Дожить бы до того дня, когда во славу всех убиенных и умученных будет построен храм... Спаса на Крови, и вот там молиться о них, и там их любить. И там другие помолятся о нас, страждущих матерях, которым никогда уж не забыть детей своих... никогда, как бы мы ни казались сдержанными.

Она вдруг отвернула лицо к спинке кресла. Лоб прижала к бархату его, потертому и запыленному, точно не хотела чтобы кто видел ее лицо. Но никто не смотрел, а Господь всё равно видел. И в разразившихся ударах грома, в блеске молний и сплошном белом ливне отделены были опять обе эти женщины — лежавшая и сидевшая — от остального мира, клокотавшего в стихийных страстях.

Дождь был бурнейший, но продолжался недолго. Ветер понес грозу дальше, в трепете молний и серо-зеленой туче, теперь уходившей. Евдокия Михайловна встала и отворила окно.

Понемногу дождь стал стихать. А потом перестал вовсе. Гром гремел, уходя. Бездна разверзалась — тишины, глубины, благоухания. В окно втекал посветлевший и легкий, сияющий знаком царствия воздух.

— Легче стало дышать, — произнесла тихо мать.

Вошла Ксана. Она тоже подошла к окну, высунулась даже из него. Плющиха была безмолвна. Ни человека, ни лошади. Не очнулась еще жизнь от грозы.

— Бабушка, — сказала Ксана, — смотри — радуга...

Радуга вознеслась, правда, райскою дугой, упиралась нижним концом чуть ли не в их дом. Вся пела неземными переливами цветов.

— У нас так в Прошине пахло, помнишь, бабушка, после дождя? Еще жасмин у балкона цвел.

Евдокия Михайловна поднялась, подошла к Ксане, слегка ее обняла.

— Ксана, завтра мы служим панихиду у о. Виктора. Павлика Попова расстреляли.

***

Солнце ярко светило, небо чистое, крепкое, кое-где пухлые облачка, прохладный ветер — начало русского августа, когда в деревне начинают убирать овес, когда ястреба одиноко плывут в синеве, их особенно много в августе. Этот день был свеж, бодр везде, и на старой Плющихе, выходящей на Девичье поле, где у Погодина жил некогда Гоголь, где не так давно трудился в клиниках муж Анны.

В двухэтажном особняке с липой во дворе и зарытым сокровищем всё текло жизнью обычной: Ксана училась, Евдокия воспитывала, Собачка лечила. Мстислав Казимирович ездил в свой Главметалл, пробовал новые средства против печени, сочинял новые планы спасения человечества. Но именно в этот сияющий день, заметавший великолепием своим безвестную могилу Павлика, в особняке на Плющихе произошло некоторое событие.

Мать и Собачка с утра выехали на дребезжавшем извозчике в те места центра Москвы, откуда управлялась вся громадная страна, где решались разные судьбы — жизни ли, смерти, удачи, гибели. Мать, как обычно, прямо и непоколебимо восседала на извозчичьей пролетке, августовский ветер потрепывал на ее шляпе то страусовое перо, которое всегда было, всегда будет. Собачка была также румяна, могуча, раз навсегда полна ненависти к хозяевам и дворцам их, так же должна сдерживаться, чтобы не повредить ни себе, ни матери.

Ехали они шестнадцатый раз всё за тем же. И как всякий день отличается от предыдущего, так и этот тем был особенный и замечательный, что в одиннадцать часов двадцать

минут мать получила те бумаги, что нужны ей были для выезда — восьмидесятилетнею рукой, писавшей с твердым знаком и через *ять*, но не дрогнувшей, расписалась в их получении.

С той минуты дом на Плющихе перестал для нее существовать. Извозчик вез с Лубянки некую иную даму со страусовым пером, уже уплывавшую в дальние пространства Запада. Мать находилась еще здесь, у Собачки, но ее как бы и не было. Париж вовлекал ее в свой давний, неизменный оборот.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В ПАРИЖЕ

Подъемник плавно возносил Глеба, слегка гудя. Глебу нравилось это нематериальное восхождение. Нравился, впрочем, весь тихий июльский день в опустевшем Париже. Так легко, много сил, всё куда-то идти, думать, делать... (делать — значило для него писать).

Отворила французская горничная. Редактор был свой человек, русский, жил в Пасси, в хорошей квартире.

— Мосье просил подождать, он сейчас вернется.

Черненькая девушка провела его в кабинет и ушла.

«Подождать, так и подождать, ничего не имею».

Мягкий ковер, книги, тишина, отличное кресло. Глеб сел в него, глубоко погрузившись. В открытую на балкон дверь свет. Бездна неба, дальняя сиреневая тучка, сетка мелкого дождя, а правей сноп солнца вырвался, играет по земле. Налево Эйфелева башня. Внизу Сена, к ней сходят сады, а дальше — по коричневато-серой пелене домов бродят тени тучек, или солнце выхватит теплым своим объятием церковь, сад, крышу.

Сиамский кот, любимец хозяина, неслышно выплыл откуда-то, сел на книжную полку, уставился на Глеба зеленовато-радужным, стеклянным взором — драгоценный мех его тоже отливал светлыми, голубовато-рыжеющими тонами в искрах. Он сидел неподвижно, магически завораживая взглядом. Что-то электрическое исходило от этого великолепного кота с бессмысленными глазами.

Глеб встал, подошел к двери, вышел на балкон. Кот перевел на него стеклянный взор. Глеб вздохнул. Он не был даже недоволен тем, что приходилось ждать. Облокотившись на перила, в некоем колдовском навождении смотрел вниз.

Пасси! Много лет назад, юношей был он здесь с Элли впервые — там позади жил русский поэт, тоже в шестом этаже, но тогда подъемников почти не было, как и автомобилей. Налево особняк Метерлинка. Жизнь казалась необозримой. В ней прочное, всегда существующее и неизменное — Россия, Москва, Прошино, куда после скитаний заграничных и возвращаются. Это само собой понятно.

Зазвонил телефон. Глеб обернулся. Черненькая француженка держала уже трубку, там что-то слабо рокотало.

— Oui, monsieur.

Она передала приемник Глебу. Знакомый голос, несколько взволнованный, горячо извинялся: совсем не ожидая, задержали по делу, но на столько, что прямо боится, вряд ли ранее часа сможет и выбраться.

Глеб улыбался. Ему было всё равно. Не хотелось вообще никого видеть, ему лучше было в этом пустынном кабинете, с азиатским котом, с безмолвным небом и светом, с таинственным былым, вызванным как бы магически.

Некий внутренний ток нес совершенно в другую сторону и сами эти слова приятеля казались совсем ненужными.

— Ради Бога, не беспокойтесь. В другой раз увидимся. Это всё пустяки.

И, повесив трубку, испытал чувство, что даже жаль, что надо уходить.

Но жизнь продолжалась. Взяв шляпу, должен он был спускаться вниз, держать путь в Отей.

Неторопливо проходил Глеб по склону улицы Ренуар, а потом знакомыми местами мимо новой церкви, мимо богаделен в парке — остатке лесов, где некогда охотились французские короли. Автомобилей было мало. По тротуарам сыро, но вообще тепло, на небе сиреневая тучка, иногда солнце, лицо неба смиренно, мало даже подходяще для Парижа.

По улице Буало он подходил уже к своему дому. В домике напротив старые каштаны начинали чуть буреть, коричневые листья кое-где виднелись сквозь решётку на земле — их опалило зноем. И сейчас всё это было в странном молчании, тоже как бы в тихом обворожении. На углу Глеб поднял голову и взглянул на свой дом, наверх, к четвертому этажу. Из окна выглядывала Таня, ее продолговатое личико показалось ему грустным. Она робко ему махнула, улыбнулась. Он вдруг почувствовал в ногах холод, медленно стал подыматься по винтообразной лестнице. Когда дошел до своей площадки, дверь в квартиру оказалась приотворенной. Таня стояла в прихожей. Лицо ее было как будто такое же, но и совсем другое, чем всегда.

— Из Москвы телеграмма...

В окне виднелись каштаны, теперь верхи их на высоте взора, могуче-зеленые, с коричневыми подпалинами — и они странно плывут в небе. Таня хотела сказать что-то, но лицо ее вдруг исказилось точно судорога прошла по нему. Она прикрыла его рукой.

Глеб взял телеграмму, вошел в свою комнату и бессмысленно сел на диван. В телеграмме было сказано, что мать внезапно скончалась.

***

Через несколько времени получили письмо.

«Глеб, — писала Соня: — ты ведь знаешь, как тебя и тётечку я люблю, и как трудно мне писать это письмо. Но, конечно, пишу — надо. Чувствую твое горе, но ты должен знать, что тётечка и жила у меня и скончалась окруженная любовью и уважением. Да вообще, она такой была человек, которого и нельзя не уважать — так всегда с ней и получалось.

Ты наверное знаешь из ее писем, что всё последнее время она только и жила отъездом. Трудное дело, но она проявляла упорство удивительное. Глебочка, ты подумай, ей исполнилось восемьдесят лет, но по живости, с какой она всем этим

занималась, ей можно было дать чуть не вдвое меньше. Ведь она хлопотала полтора года! За это время менялись правила выезда, ей приходилось доставать кучу бумажек, удостоверений, подавать анкеты, клеить марки... — Разумеется ей помогали. Не можешь себе представить, как все сочувствовали! Она сама говорила, что тронута участием иногда даже полузнакомых людей, хлопотавших за нее, дававших рекомендации, добивавшихся свиданий. В моей квартире живет одна дама, святой жизни женщина, ученая и церковная, вот и она помогала. В последнюю минуту вспомнила какого-то прежнего своего знакомого-коммуниста, дала письмо к нему, и на шестнадцатый раз тётечке разрешили.

Мы с ней вместе и ездили, конечно, она очень волновалась. Но ты ее знаешь: волнения своего не выдавала. Только вздыхала иногда. Приехали домой с разрешением в кармане и осталось только уже билет брать, она была бодра, но к вечеру почувствовала усталость — это и раньше случалось с ней — много лежала. Дни эти выдались жаркие, грозы, конечно, для старого сердца неважно. Но на другое утро ей стало уже лучше, днем была довольно бодра, разбирала даже свои вещицы, письма твои перебирала и читала. Так продолжалось дня три — то лучше, то немножко хуже, ты понимаешь, конечно, меня тревожило, как это она поедет такая слабая — хотя до Берлина у нее нашелся попутчик, один инженер, Мстислава знакомый из Главметалла — его посылали на приемку заказов в Германию.

И вот, утром во вторник, часов в семь, слышу, она у себя в комнате что-то застонала. Я к ней. Вижу, дело не важно. Держится рукой за грудь, шепчет: «Больно». Я сейчас же воды согрела, знаю, что при синкопах помогает, приложила резиновый пузырь, будто лучше стало... Подняла Ксану, жилица уже встала, Прасковью Ивановну за доктором. А тётечке опять хуже. Слабеть стала, холодеть, и вдруг говорит: «Нет, мне уже не уехать. Плохо мне, Соня. Должно быть, конец». Я, понятно, говорю: «Что ты, тётечка, сейчас доктор придет, впрыскивание сделает и всё будет хорошо»... Она

мне сказала тогда: «Я хочу причаститься. Пошли за священником». Евдокия Михайловна сейчас же побежала. А она всё слабеет. Молчит, лежит, я держу руку и чувствую — плохо, пульса почти нет.

И представь, является Евдокия к своему же священнику, такой о. Виктор, молодой, очень хороший, а он служит в церкви раннюю литургию. И, как полагается у них, во второй части ее священник уже не может прервать, уйти... — пока литургия не кончится. Она возвращается и говорит: «Подождать надо». Через полчаса придет со Святыми Дарами. А тётечка очень уж ослабела, сказала: «Не дотяну, Соня. Глеба обними, Елену, Таню». И правда, не дотянула. Глеб, Глеб, она тихо отошла, клянусь тебе нашей детской дружбой она как бы уснула и не мучилась. Батюшка, о. Виктор, когда пришел со св. Дарами, она уже упокоилась. Он поклонился ей в ноги, а нам сказал, что по верованию Церкви, когда отходящий просит причастия и отпущения, а этого нельзя сделать из-за внешних препятствий, то мистически причащает св. Великомученица Варвара. И обрати внимание: ведь сама она как раз носила имя Варвары. Отпевал ее в своей церкви тот же о. Виктор, мы похоронили ее на Дорогомиловском кладбище, ты знаешь где это, недалеко от нас, за мостом через Москва-реку».

Через несколько дней Таня получила письмо от Ксаны.

«Я тебе не сразу написала, дорогая моя Танечка, о нашем горе, потому что трудно было. И сейчас трудно, всё плачу, а всё-таки написать хочется, потому что ты у меня одна подруга и осталась, новых нет, да и тебя, наверное, никогда не увижу.

Бабушка скончалась внезапно, и теперь у нас стало так тихо и грустно, не можешь себе представить. Я ее очень любила и привыкла к ней с детства, я от нее только хорошее видела. Слава Богу, у меня есть еще и своя мама, но она тоже стала слабее, и всё жалуется на печень. Танечка, я боюсь остаться совсем одной. Я вообще боюсь. Мне всё кажется, что моя жизнь будет ужасно несчастная. Ну, не хочу тебя расстраивать. Вот еще только сообщу о бабушке: о ее кончине

очень скоро узнали в Прошине, и представь, третьего дня явился к нам сын комиссара, Сенька, он с нами еще в палочку-постукалочку играл, а теперь уже взрослый парень, кажется, комсомолец, и привез от крестьян Прошина бабушке на могилку сноп овса с нашей земли — теперь как раз овес убирают. Подумай, какое внимание! Мы его очень благодарили, Софья Владимировна угостила его чаем, он много рассказывал о деревне. Всё теперь изменилось, всё другое.

У нас тут живет одна дама, очень скромная и богомольная, хотя и очень образованная. Она сказала мне, что бабушка, незадолго до кончины, когда думала, что уезжает к вам в Париж, говорила с ней обо мне, вроде как бы завещала меня ей. И вот мы вчера с ней снесли этот сноп на могилку бабушки, на Дорогомиловское кладбище. Там хорошо. Много деревьев, зелени, и как будто за городом. Есть еще тут один священник, о. Виктор. Он на могилке отслужил панихиду, а мы поставили сноп стоймя в ногах у бабушки».

Таня читала это письмо и сама, и вслух отцу, матери. Обнимала и целовала Глеба. Ложась вечером в постель, вдруг вспоминала, как бабушка говорила ей в Прошине «там посмотрим» (значит — нельзя), или на ночь, уложив, приносила карамельку: ну, и вот бабушки этой нет, никогда она ее не увидит. Вновь сжимало горло. И вдали виднелось — так же вот уйдут однажды и отец и мать...

Засыпала с мокрыми глазами. Но ей было всего семнадцать лет. В следующем году кончает лицей, а теперь собирается на юг, к морю, там будет лагерь, молодежь, экскурсии, купанье... Столько дел, столько жизни! Жизнь-то еще начинается, всё впереди, в кипении юной крови, былое и было, и вот оплакивается, но жить не прошлым, а будущим. Утром, вскочив, бежать мимо соседнего домика с каштанами и старичками под ними, по солнечному проулку на улицу Микель Анж, к подруге: та тоже едет на юг, надо советоваться об отъезде, нарядах, хохотать беспричинным девическим смехом, говорящем о молодости и скопившихся силах.

**
*

Таня в начале сентября и уехала. А в Париже началась теплая и прозрачная осень. После летней пустынности город начинал оживать. Медленно, всё же безостановочно приливала к нему жизнь, больше виднелось детей, чаще на улицах молодые, загорелые лица, обвеянные морем, ветром. А парижское солнце сдержано, бледновато, изящно, как всё тут. И как всё — далеко.

Церковь, панихиды, сочувствия, письма, всё то раздирающее, что всегда бывает, было, как и само горе, которое неизбежно. Хочет человек или не хочет, а из горькой чаши вкусит. Через всё пройдет — и пойдет дальше. И увидит, как неудержимо всё течет вокруг, и как сам течет он, изменяясь, не совсем таким входя в следующий месяц, как входил в прошлый.

Безветренный сентябрь стоял в Париже, с голубоватой дымкой над Булонским лесом, первыми бурыми листьями под ногами, дальними свистками поездов. Глеб много бродил один. Подымаясь боковой аллейкой в парке, мимо ипподрома, за живой изгородью из кустарников, выходил несколько выше к двухсотлетнему кедру, простиравшему вширь темные, зонтикообразные лапы. Суровое и вековое, суховатое и чужеземное было в этом древе из Ливана, наперекор годам всё утверждавшим бытие свое. Но за ними начиналась небольшая полянка и газон, там стояла скамья, там уединение и свежая зелень и уступы оранжерейных садов вниз, и дальний вид за Париж на туманно-синеющие холмы. Здесь можно было подолгу сидеть, смотреть и дышать, и если слеза набежит, отереть ее неторопясь.

Этот вид успокаивал, погружал в прозрачную ясность.

Да, слилась его жизнь с Парижем и отлилась от России. Помнил он первое время — Германия, итальянское побережье... — но только тут, в этом Париже, едва въехал в него ранним декабрьским утром из Италии, ощутил прочно: вот теперь начинается.

Начинается то, о чем вовсе не думали, уезжая из Москвы.

Началась просто другая жизнь, эмигрантская. Это изгнание. Никаких Прошиных нет, нет Москвы, нет былого, всё это осталось там, и живет лишь в душе.

И мать прочно жила в ней, прочнее, конечно, всех. Жила в письмах, желаниях. Она должна была быть здесь, он так много думал об этом и так мечтал, и так сочинял планы: фантазии — с возможностью принять ее, устроить в довольстве и благополучии. Пусть знал, что всё это вымыслы, но они становились и частью жизни. Теперь это кончилось. Всё ясно и очень просто закончилось.

Вокруг ярко зеленел газон, впереди голубые елки питомника, дальше холмы, сзади простирал ветви, как раздвинутые руки, кедр. Проходя назад мимо него, Глеб как бы ощущал объятие. «Был, есмь и буду». Вечность воздымалась в этой ясности, в ней ушедшее было и недосягаемо и близко.

ГЕННАДИЙ АНДРЕИЧ

На похоронах матери Анна присутствовала. Высокая, несколько постаревшая и как бы надломленная, но всё с теми же луиниевскими глазами, некоторой суровостью и резкостью движений, она на кладбище господствовала. В своей накидке, старомодной шляпке нервно ежилась, смахивая иногда слезу.

Бросив горсть земли в неглубокую могилу, обняла Ксану, довольно повелительно.

— Не плачь, всё пройдет. Тебе учиться, жить надо, а не разливаться...

И поцеловала в лоб властно. Ксана испугалась. Хоть и знала «тетю Аню», но вообще несколько боялась ее, а теперь вдруг почувствовала себя виновной. Но рядом была Собачка, Евдокия Михайловна, Мстислав Казимирович, все тоже взволнованные и печальные — и вообще это теперь хоть и новый для Ксаны, но отчасти уж свой верный и прочный мир. И смущение ее было минутным. Анна же обратилась к Собачке.

— Не увидела Варвара Степановна своего Глеба. Ну, что же — значит, так надо было.

Глаза ее блистали. В них было нечто и восторженное и решительное.

— Священник у вас хороший, — сказала она Евдокии Михайловне. — Вашего прихода? Я о нем слышала.

О. Виктор заправлял под скуфейку недлинные волосы, укладывая в портфель кадило.

Евдокия Михайловна вздохнула.

— Да, хороший. Устает он очень.

На кладбище было пустынно. Августовский ветер, теплый, сухой, налетал шурша травками пожелтевшими. Но покой березок, лип был нерушим. Курлыканье горлинки в огромной иве лишь усиливало его.

— Душечка, Анна Геннадиевна, — говорила у выхода Собачка, слегка запыхавшаяся и раскрасневшаяся: — заходите к нам, помянем бабушку чайком, мне недавно меду достали...

— Спасибо, не могу мой друг, у меня Женя родит, муж утром в лечебницу отвез, может быть, уже внук или внучка появились, я спешу, да и сердце непокойно, знаете, всегда при этом... Так вот и выходит: умираем, рождаемся, без конца, всё без конца. Сейчас тороплюсь, в другой раз с удовольствием. А пока — прощайте.

Анна действительно спешила. Обгоняя медленно возвращавшихся с кладбища за Москва-рекой, вскочила на трамвай, и по Арбату покатила к своей Жене, на другой конец Москвы — надо было попасть во-время к новому внуку, новому пестованию и заботам, трудам, волнениям: ко всему, что и составляло ее жизнь. «Пока держусь, — говорил вид ее, — так вот и буду носиться с Дорогомилова на Зацепу, а оттуда на Земляной вал, так вот и буду встречать, провожать, кормить, нянчить, стеречь... А свалюсь — дело другое».

И она увидала в этот день на Зацепе нового насельника, обнимала Женю, а уж к вечеру, полуголодная, но возбужденная, летела на Земляной вал с новостями.

Там еще ничего не знали, всё шло по-обычному. Агнесса Ивановна, в светлом капоте, мелких, легких кулряшках на

голове, сидела в столовой, смотрела, как Маркан раскладывает гаданье. Когда Анна сказала о матери, эмалево-небесные глаза ее стали вдруг влажны. Она тряхнула слегка головой — завитки волос вздрогнули.

— Глебочка будет теперь в Париже плакать...

Маркан оторвалась от гаданья, сумрачно посмотрела на Агнессу Ивановну.

— И хорошо сделала, что упокоилась. Подумаешь, какая радость околачиваться тут...

— А у Женички, ты говоришь, чудный сынок? — перебила Агнесса Ивановна, обращаясь к Анне. — Очень мил? Херувимчик? Ты подумай, Маркан, — настоящий херувимчик!

Лицо ее приняло привычное, восторженно-сентиментальное выражение, но у нее было столько внуков, внучек, а теперь вот новый и правнук, что вся нежность, умиление ее натуры изливалось как бы на всех сразу. На каждом же в отдельности — когда они рождались, болели, иногда умирали, — она сосредоточиваться не могла.

Маркан закурила папироску и встала. Лицо ее выражало явное неодобрение. И к чему это разводить новую жизнь? Со старой не разделаешься.

Вошел Геннадий Андреич. Он был несколько задумчив, хмур. Всё-таки сказал:

— Анна, рад тебя видеть...

— Я сегодня, папа, и с похорон, и с рождения., — говорила Анна, всё еще блестя глазами, несмотря на морщинки, утомление. — Такой выдался денек.

Геннадий Андреич сел.

— Не удивительно-с... Так всегда и бывает.

Узнав о кончине матери, перекрестился, ровным тоном сказал:

— Царство небесное. А каков ее возраст?

— Восемьдесят.

— На два года меня старше. Ничего, всё к тому клонится. Ничего, всё хорошо-с...

— Папочка, а твоего правнука мы с Женей думаем назвать Геннадием, в твою честь.

— И напрасно-с. Имя тяжеловесное. Одно дело — пятнадцатый век и архиепископ Геннадий, другое — двадцатый и современная жизнь. Нет, назовите попроще, например, Алексеем. Прекрасное имя. Можно именины на Алексея Митрополита, как ты знаешь, заступника и поборника Москвы, или же на Алексея Божьего человека, это, пожалуй, еще лучше, облик смирения и кротости.

Анна усмехнулась:

— Я сама очень люблю имя Алексей, и если уж называть, то, конечно, Алексей-человек Божий. Ах, папа, кротость, смирение... и наше время!

Геннадий Андреич оживился.

— Всё прямо противоположное-с. И вот поэтому-то и хорошо так называть. Столь же противоположно, как Нагорная проповедь противоположна злу, но само имя это и несет в себе всегдашнюю и величайшую истину-с, которой не одолеть никаким силам адовым...

— Папа, да ты прямо превосходен!

Анна обняла его и поцеловала. Он слегка будто смутился.

— Ничего не превосходен-с! А всё это правда.

Анна вдруг припала к нему. Ее мокрые глаза блестели.

Позже, уходя к себе в кабинетик, Геннадий Андреич более спокойно, улыбнувшись, сказал:

— Этот раб Божий, ныне появившийся на свет, который же по счету мой потомок? Кажется, пятнадцатый?

И чтобы не ошибиться, стали они втроем перебирать и пересчитывать детей, внуков, правнуков. Чуть было не пропустив Таню в Париже, насчитали действительно пятнадцать. Маркан смотрела с неодобрением. Порождать, по ее мнению, вовсе не следовало. Но ее никто и не спрашивал.

Давно, еще до войны, случилось однажды Геннадию Андреичу приобрести для музея скифский сосуд с удивительными изображениями зверей — сам Чижов был в восторге, а уж он в этом деле понимал. Геннадий Андреич только и жил тогда чашей этой. Он ее любил. Если бы был ребенком, клал бы себе на ночь под подушку.

Эта любовь длилась довольно долго. Но время шло, восхищение простыло, даже стало сменяться другим. Однажды, проснувшись утром, он с каким-то странным чувством вспомнил мещанку, принесшую ему в Музей чашу, вспомнил этого кабана с клыками...

Раньше обычного покатил на Красную площадь. Чаша была, как чаша, кабан, как кабан, но вдруг ощутил он, взглянув, что в сердце точно бы скрипнуло. Стал рассматривать вновь, так и этак, взял лупу. Будто и ничего, но вот трещинка в сердце осталась. Стали чаще являться мрачные мысли. И он обратился в Петербург, к известному старику-археологу, с которым не раз спорил. Знал, что это соперник и скорей недруг. Но знаток превосходный.

Старика удивило это обращение. Приехав в Москву на съезд, он с великим вниманием рассмотрел чашу, с Геннадием Андреичем был необычайно любезен, почтителен и приветлив, а затем сказал так:

— Чудная чаша. Я подобной работы в жизни не видел. Скажу даже, что слишком чудная. Боюсь только, дорогой Геннадий Андреич, что она много моложе нас с вами. Изготовлена по лучшим образцам, но техника слишком совершенна. Скифам далеко до этих голубчиков, а они на этот раз переиграли. Рад буду, ежели ошибусь.

Но не ошибся — да Геннадий Андреич смутно сам чувствовал то же самое: чаша слишком совершенна!

Мещанку вскоре арестовали. Целая шайка в Одессе художественно изготовляла древности, сбывала куда придется. Оставалось утешаться знаменитым Рейнаком, в Одессе же

купившим тиару Сайтаферна — того же производства. Чаша погибла! Геннадий Андреич, не сморгнув, вернул Музею пять тысяч рублей.

Конечно, о беде своей помалкивал. Даже дома долго не знали. Угрызался и страдал один — в семье был мрачнее обычного.

Теперь всё это являлось историей, частью того эона жизни — в своем роде первобытного — когда случалась полемика, собирались съезды, съезжались ядовитые старики, устраивались обеды, приемы, велась переписка с иностранными учеными. Вместо этого, оказался Баланда.

Но вот именно дни, когда хоронили на Дорогомилове мать, как и позже сентябрь, который проводил Глеб в одиноком бродяжничестве по Парижу — это-то и оказалось для Геннадия Андреича временем куда трудней истории со скифской чашей.

В Музее, в отделе свезенного в революцию, открылись хищения — пропали какие-то ящики, в которых не совсем ясно, что и находилось. Они просто уплыли в неизвестном направлении. Началось следствие. Ясно, что ни Геннадий Андреич, ни старый князь не увозили же на грузовиках этих ящиков. Но они высшее начальство и они ответственны.

Князь был еще старше Геннадия Андреича, и другого характера — сразу пал духом и решил, что всё кончено.

— Мы с вами, государь мой, разумеется непричем. Кто это может усмотреть за каждым ящиком в подвале? Но мы начальство и прежний мир, нам не спустят. Подождите, пришьют нам, что мы этими вещицами расторговались.

— Посмотрим-с, — ответил Геннадий Андреич. — Увидим в ходе дела. Во всяком же случае уступать не намерен я ни малейше. Ни крошечки-с, — сумрачно добавил он. — А там, что Бог пошлет. Дней же наших, ваше сиятельство, осталось вообще немного.

Говорил он одно, думал же совершенно другое, гораздо более мрачно. Но о чем думал, никому не говорил. Во всяком случае сопротивляться решил до конца.

Баланда был в ярости. Товарищ Камышников, которого он считал героем труда! Чуть ли не к ордену готовил — и вдруг прозевал воров!

В первый же раз, когда коршуном налетел он на него с упреками, Геннадий Андреич, побелев, сколько мог, с жестоким спокойствием заявил:

— Не я нанимал ваших молодцов-с, не мне за них и отвечать. Я ученый сотрудник, старший археолог Музея, но что ночью взломали замки и на грузовике вывезли, это меня не касается. На это есть полиция.

— Во-первых, полиции теперь нет, а есть угрозыск и вы, товарищ, со всем этим старым арсеналом на суде вообще будьте осторожнее.

— Я на суде скажу то, что есть, что знаю. Ни больше и ни меньше-с. Пусть воров и судят. Я же не имею к тому отношения.

— Да мне чорт ли в том, что вы ученый археолог, важно, что пропало государственное имущество и вы будете отвечать.

Но Геннадий Андреич смотрел на него таким безразлично-ледяным взором, так был сух, краток и как будто из другого мира, что попылав, Баланда приутих.

— Я ведь вас и не обвиняю в том, что вы им помогали... Да, но они всё-таки у нас с вами из-под носа сперли...

Этим Баланда отчасти и выдавал себя. Раз он комиссар Музея, то куда ж сам-то глядел?

Следствие началось. Были подозрения, кое-кого из низших служащих арестовали, Геннадия Андреича допрашивали. Он тоже ждал ареста. Но его не тронули, хотя к суду, как и князя, привлекли.

В точности Агнесса Ивановна ничего не знала, как и тогда в истории с чашей. Но чувствовала, — что-то происходит, «Генечке тяжело», «у него неприятности в Музее». Расспрашивать же не решалась, страх перед Геннадием Андреичем сидел в ней с юных лет. И сквозь синеву глаз ее чаще влажнела слеза, видела, что худеет, желтеет.

Анна сказала ей, наконец,:

— В Музее украли ящики. Кажется, суд будет.

Агнесса Ивановна сразу поняла, заплакала:

— Генечку судить? За что?

— Ах, мама, я не знаю. Ну, конечно, не его, а тех, кто взял. А он будет давать показания.

— А если заодно и Геню?

— Мамочка, успокойся, он тут не причём.

Анна сама не знала и сама волновалась. Очень мать любила, но склонна была по-отцовски переносить горе. Слез и сентиментальностей не выносила.

Маркан мрачно тасовала карты.

— Теперь уж засудят. Там не станут разбирать. Всё на Геннадия Андреича и свалят.

Анна вспыхнула:

— Перестань, Маркан, вечно каркаешь. Никто ничего не знает. Только маму расстраиваешь. Бог даст, всё обойдется. Свидетели все за папу, я же знаю. (Она ничего не знала, но сказала так для матери).

— Обойдется... Всё к худу. Как я говорю, так и сбывается. Был царь, говорили — нехорошо. Теперь Ленина дождались. Была полиция, теперь милиция. Что ж, это лучше?

— Папа ни в чем не виноват, — твердила Анна в нервности. — Его обвинить никто не может.

Говорила она смело, как бы сама себя опьяняя, а в глубине мало верила: мало ли что невиновен... ведь он начальство. Кому, собственно, и отвечать, как не начальству?

И к обычным ее делам и заботам прибавилось новое: тревога за отца.

Сама она жила сейчас в маленькой комнатушке под небесами, заставленной мебелью — остатками прежней обстановки. На стене висел тот же репинский Толстой и бёклиновский «Остров мертвых» и остроугольное личико Элли, еще молоденькой барышней, в летящих мелкими кудряшками, нежных волосах. Жилище Анны походило и на келию и на какой-то склад, на крошечный музей уходящего (по временам она про-

давала кое-что или выменивала на продовольствие). А кругом, в коридоре, как и на Земляном валу у родителей, гудело и рокотало новое племя, среди которого чувствовала она свое одиночество.

Но некогда было особенно его переживать: ежедневно неслась она с пятого этажа вниз по разным трудам — ныне к дочери Жене и новому камышниковскому отпрыску. Новорожденный приобрел от отца фамилию не родовитую: Сковородкин или, как называла его Собачка, «де Сковородкин».

Женин муж был пролетарий, но хорошо устроенный. Его явившийся в мир сын — полупролетарий, носящий священное имя Алексей — мигал смутными глазками, сосал мать усердно и никак не понимал бабушку Анну, с горячностью объяснявшую матери его, что прадедушку обвинить никак нельзя и она уверена, что его оправдают. Женя, молодая женщина, с отголоском камышниковской крови, но погрубее и проще, слушала более спокойно, продолжая кормить насельника.

— Ты ужасно горячишься, мать, и нервничаешь, всё равно ничему не поможешь, только себя изведешь. Если дедушка не виноват, его не тронут. А если найдут виновным, тогда дело другое. Ведь подумай, он всё же ответственен за государственное имущество.

Тут Анна старалась отвлечься, чтобы не вспылить — у нее с дочерью вообще были неровные отношения: не на всё в окружающем смотрели они одинаково, и в этом была тайная боль Анны.

— Вы, прежнее поколение, были слишком нервны, чувствительны. Вырастали в теплицах. Занимались поэзией, музыкой, а жизнь меньше знали. — Женя улыбалась, кормя младенца.

— Мама, ты вообще больше femme-poête, как говорил Юра, сбежавший из Союза. — И ты, и тетя Лена. А я — товарищ Сковородкина.

— Ах, глупости, глупости! Чем это хуже Камышниковых?

— Тем, что нет дома на Земляном валу.

Постояв за примусом, сходив за пшенкой, Анна направлялась дальше, то ли к Катеньке, занимавшейся гребным спортом, то ли к племяннику Петру, где, кроме авиации, были тоже дети, и всюду несла с собой тяжелую тоску, думу о судьбе отца и ощущение своего одиночества. «Мои дети, и люблю их, а что-то есть и другое. Они растут в этом, уже другом воздухе. Сына назовут Алексеем, но чувствуют это совсем не так, как мы с папой».

И получалось, что свободнее, легче ей было в доме Собачки, с самой Собачкой, Ксаной, Евдокией Михайловной. Там случившееся с Геннадием Андреичем принималось совсем по-другому. Ее нервности никто не удивлялся.

**
*

В день суда Анна пошла к ранней литургии в церковь о. Виктора. Было еще почти темно. На клиросе Евдокия Михайловна читала часы. В алтаре о. Виктор совершал проскомидию (шепча над вынутыми частицами, таинственно сводя на эту землю высший мир, и отсюда, вынимая за безвестных отошедших, возводя лестницу в горнее).

Голос Евдокии Михайловны струился ровно, бесстрашной и непрерывной речкой, легкой, чистой. О. Виктор негромко подавал возгласы. А когда отдернул, наконец, завесу Царских врат, торжественно прозвучало:

— Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа...

Литургия началась. Хора не было. В церкви почти никого, Евдокия Михайловна одна пела и читала, Анна одна молилась, но у ней было ощущение, что так и надо, она именно там, где надо быть в этот день. Она почти не ощущала веса. Всё вокруг было легко. Как литургия шла одновременно и сейчас, и в веках прошлых и будущих, так она сама, Анна, находилась и здесь в церкви, и на Земляном валу, где сейчас встает отец, чтобы идти на суд и поношение, и уже на самом суде, где враждебные люди допытываются и разбирают, и решают его участь.

Это сопровождало ее не только на литургии, не только когда причастилась она и холодеющими устами прикоснулась потом к св. Чаше, но и позже, во весь день, прошедший для нее, как в сновидении.

Она была у Жени, помогала ей, потом с детьми Петра ходила по Никитскому бульвару, говорила, унимала, веселила — и всё время отсутствовала. Где именно была, не могла бы сказать. Но ощущение остроты, напряженности почти сверхъестественной не оставляло. Она чувствовала всё время, что куда-то должна идти и все эти мелкие жизненные дела — дети, примусы, очереди в лавках и кормежки — всё нужное, необходимое, но это только так, главное впереди. И около пяти часов, всё в состоянии того же полета, с каким начала день в церкви, устремилась на Земляной вал. Трамвай вёз ее не так мало, но ей казалось, что всё очень быстро, плавно и легко. Всё делалось само собой и так, как надо.

С детства знакомая калитка во дворе, рядом ступени лестницы парадного входа, но туда теперь не ходят, надо в калитку.

В подвальном этаже был полумрак, из прежней детской раздавались голоса жильцов, в кухне горела плита — Анна, не переводя духу, поднялась наверх. В столовой никого. Дверь в кабинет приотворена. Анна обернулась. В дверях своей комнаты стояла Агнесса Ивановна. Голова ее слегка вздрагивала.

— Аничка, вернулся. Сейчас у себя, лежит... устал очень. Оправдали...

Анна бросилась к двери в кабинет. Геннадий Андреич действительно лежал на постели, укрывшись пальто. Был очень бледен.

Анна припала к нему, обняла и поцеловала.

— Знала, что не посмеют... знала, знала. Уверена была. — Она задыхалась.

В дверях, не без робости, появилась Агнесса Ивановна.

— Геня, мы не помешаем? Ты устал, Геня?

Геннадий Андреич улыбнулся.

— Нет, ничего. Устал, но рад, что вы обе со мной. Хорошо, что я дома. И что вы...

— Папа, но как... всё-таки, как было?

Геннадий Андреич приподнялся, поправил шапочку на голове, передвинул подушки — Анна подбросила ему еще с дивана.

— А так вот и было-с. Правду говоря, я считал, что нам с князем конец. Виноваты мы не были, но надо же с кем-нибудь расправиться, а уж чего легче с нами.

Агнесса Ивановна, в своем старом капоте, заполняя всё кресло, слегка вздрагивая, не отрывала от него взора.

— Геня, они чувствовали... судьи... начальники, что вы с князем честные.

Геннадий Андреич опять улыбнулся.

— Вряд ли поэтому, душенька. Правда, свидетели все были за нас и мы сами довольно ясно всё рассказали. Но я считаю, что спасло другое-с: у них там свои разделения, своя грызня. У Баланды, видимо, оказались враги. Они на него и накинулись, он главный ответчик получился. Он хотел отстраниться и свалить на нас, но они как раз на нем и сосредоточились: всё в каких-то уклонах обвиняли. А мы оказались в стороне. Воров-то всё-таки нашли и засадили. Баланду же сместили вовсе.

— За мелкобуржуазную психологию!

Геннадий Андреич засмеялся.

***

Весть о его оправдании распространилась быстро, Приехала дочь Лина, располневшая, радостная, в слезах целовала отца. Принимал он и других, и скромно благодарил, но был очень слаб. Появились даже головокружения. В Музей он ходить не мог и всё лежал. Слабость не уменьшалась.

Кроме ближайших родных, проходили перед ним остатки прошлого, кое-кто из сослуживцев, знакомых. Появился любитель Данте — Карлуша, как и прежде дававший уроки музыки,

теперь совсем тощий и грустный. Старенькая Замбелли улыбнулась приветливой итальянской улыбкой.

— Спасибо, спасибо, — сказал Геннадий Андреич негромко. — В Копелии никогда вас не забуду-с. Помирать буду-с, вспомню...

Появлялось и новое — внук Петр в авиационной форме, его дочь, девочка лет восьми. Пришла даже та Дарья Степановна, сына которой он защищал от сапожника.

Пускали к нему, однако, не надолго: ослабело сердце, предписан был полный покой.

Он, впрочем, по-другому и сам жить бы теперь не мог. Головокружения понемногу прошли, но не прошло то странное состояние, в которое впал он после суда. Это была и смертельная усталость, и спокойствие, и какая-то отрешенность. Был ли он болен? Не мог бы сказать ни да, ни нет, но стал другой, и ему иногда казалось, что он видит себя со стороны: вот лежит в кабинете, в черной шелковой шапочке, прикрывающей лысину, Геннадий Андреич Камышников, нумизмат и отец русской офрагистики, старший хранитель Исторического Музея, всю жизнь проработавший в своей науке, чуть было не осужденный, но всё же оправданный. Ни на что, в сущности, он не может сейчас пожаловаться, по теперешним временам участь его еще очень благополучна.

Но это не тот Геннадий Андреич, который с самого дня рождения своего жил в этом доме, тут и женился, тут родились, выросли дети — отсюда пошли внуки и правнуки. Тут живя, он работал в Музее, писал статьи, спорил, радовался, огорчался. Это всё верно. Это было. Он и теперь есть, существует. Вот он лежит на своей постели, читает кое-что по истории. На столике в изголовье маленькое Евангелие, довольно потертое. Страницы кое-где закапаны воском. Это Евангелие еще покойной матери. Раньше он мало им занимался.

Всё это идет и движется, всё по заряду прошлого. Нового для него нет. Нет и желания нового.

Он не знал, да и не очень интересовался тем, что именно у него за болезнь. Но появилось спокойное, безграничное,

чувство, что больше сил нет. Были, да ушли. Дни шли за днями, он не вставал.

— Ну, как? — спросил раз Карлуша, зашедший навестить. — Как чувствуешь себя, Геннадий?

Он негромко ответил:

— Никак.

— Ну-у, ты уж и скажешь...

Но Геннадий Андреич именно ничего больше и не сказал, и закрыл глаза.

Несколько минут посидев, Карлуша поднялся. Выходя, взглянув на книги в шкафу, вдруг вспомнил: у Геннадия есть редкий, старый немецкий перевод «Божественной Комедии» с комментариями. «Пропадет всё это, пропадет. Никто ничего не понимает. Растащут. И на цыгарки труждающиеся раздерут. Агнессе сказать» — но махнул рукой. — Агнесса такой же ребенок, как была шестьдесят лет назад, в родительском доме. И вспомнив сестру девочкой, на даче, еще в Сокольниках, на шестой просеке, Карлуша улыбнулся с грустью.

Агнесса Ивановна как раньше боялась мужа, так и теперь. Но ходила за ним верно. И всё опасалась: вдруг не так что-нибудь сделает? Иногда он бывал к ней теперь милостив, иногда, особенно когда начинались боли, не пускал к себе вовсе. «После, потом»... и движением руки останавливал на пороге.

Боли являлись и проходили, он не спал иногда по ночам, но как раз тут-то и запирал дверь на ключ. А потом боли стали реже, прошли почти вовсе. Зато слабость росла. Есть не хотелось — он почти ничего и не ел, худел неудержимо.

Однажды — был мартовский московский закат — отблеск фантасмагории неба лежал на старом зеленоватом диванчике, на книгах, на шифоньерке, где хранились за стеклом слепки монет. Геннадий Андреич чувствовал себя особенно тихо и мирно. Он недвижимо лежал на своей кровати, на спине. Смотрел, как медленно переползает розовеющее закатное пятно по стене к двери — над ней на полочке стояла маска Петра.

Вошла Агнесса Ивановна. В руке у ней был подносик —

на нем стакан в старинной серебряной оправе с ручкой. В чае плавал ломтик лимона.

Она поставила поднос на столик рядом, села на постель. Губы ее вздрагивали.

— Геня, — сказала она вдруг, не своим обычным как будто голосом, — Геня, что же ты всё молчишь? Что с тобой, Геня?

Мелкие кудерьки ее трепетали. Эмаль глаз влажнела в закатном свете. На этот раз что-то прорвалось в этой полной и нежной женщине, затопило даже многолетнюю робость.

— Геня, мы же прожили вместе жизнь... ведь я с тобой с семнадцати лет. И вот... и вот, когда тебе сейчас плохо, ты от меня уходишь. Ты прячешься... ты молчишь, Геня, когда страдаешь, ты не хочешь, чтобы я была с тобой. Ты мне ничего о себе не говоришь... Геня, за что?

Она вдруг припала тучным своим телом к его коленам — таким исхудалым и острым сквозь одеяло — и заплакала.

Геннадий Андреич молчал. Так продолжалось некоторое время. Потом он положил ей руку на голову, в эту путаницу легких, пухово-теплых волос, и стал гладить. Продолжая всё плакать, она взяла руку эту и поцеловала.

— Не целуй, — сказал он тихо. — Я этого не заслужил. Я тяжелый, трудный человек. Камышниковская кровь.

Она опять сильней стала всхлипывать.

— Агнесса, я перед тобой виноват. Наверно, за всю жизнь несу вину. Ты дитя, ты ребенок, хотя и старая сейчас. Ты всю жизнь отдала мне, а я... что я дал? А теперь уже поздно. Агнесса, мне теперь мало жить...

— Нет, нет, Геня...

Но он продолжал покойно, с той нерушимой уверенностью, от которой холодело ее сердце.

— Я жил только для себя, только собой, своими книгами, занятиями. Я всех вас недостаточно любил — тебя первую, но и детей. Вот я теперь это чувствую, и не только сейчас,

но и всё последнее время, а теперь особенно. Только теперь поздно. Мне и осталось только просить милости у Господа, и у тебя прощения.

Она поднялась и села. Всё ее полное лицо в обрамлении легких, сейчас спутанных волос, было залито слезами.

— Тебе не за что просить у меня прощения, Геня. Не уходи только! Не умирай! Нет, никак не умирай, — бормотала она, как в полусне. — Ты болен, но это ничего не значит. Ведь ты когда молоденький был, у тебя же туберкулез появился и вот ничего, выжил.

Она вдруг опять оживилась, точно волна света всколыхнула ее.

— Геня, помнишь Оспедалетти? В Италии, на Ривьере? Там еще пальмы такие удивительные... и мы так хорошо там жили... целую зиму... Ты меня любил тогда, и ты выздоравливал. Я была счастлива, что ты выздоровел. А ехала туда, ужасно боялась... Какое море! Геня, я этих вечеров прозрачных под пальмами, на закатном солнышке никогда... никогда...

Она опять не могла уже дальше говорить.

— Да, — сказал Геннадий Андреич, — Оспедалетти помню. Даже пальмы помню. А это было давно. В 1878 году. И я действительно ведь выжил.

Эту ночь спал Геннадий Андреич особенно мирно. Ангел охранял его. Перед зарею, проснувшись, он опять вспомнил Оспедалетти, такое же сияющее в красоте Лигурии, как сияла тогда юною прелестью семнадцатилетняя Агнесса, дитя Москвы и Италии, ныне эта полная, робкая женщина, так и оставшаяся простодушным ребенком. «Я, конечно, виноват перед ней неизбывно, но она простила, и Господь, быть может, тоже простит мне».

***

Маска Петра, некогда воздвигавшаяся на книжном шкафу в зеленой гостиной и пугавшая Элли выпученными, страшными глазами, со времен уплотнения переехала в кабинет. Тут она

помещалась над входной дверью, не над таким великолепным шкафом с редкими изданиями (книги в дорогих переплетах задернуты были шелковой занавеской) — а просто на полочке. Но главенствовала всё же над небольшой комнатой: всякий, находящийся в ней, как бы приглашался почтить Императора, давнюю любовь и преклонение Геннадия Андреича.

Теперь, во время болезни, он постоянно видел эту маску: кровать так стояла, что лицом он всегда был обращен к двери. Было правильно, что из гостиной ее взяли: там теперь целое семейство кондуктора, для чего им она? Но к некоторому своему удивлению, стал Геннадий Андреич замечать, что и ему будто не нужна, хотя по тому, как она начинала смутно белеть в конце ночи, можно было узнать, что рассвет близок. И вообще... это же неплохая вещь. Вот взял же он ее в ученую келию!

Вечер в начале мая выдался тихий. Весна была ранняя, сирень уже цвела, целый букет ее стоял недалеко в глиняном кувшине — эту сирень торжественно поднес «дяденьке» Сенька, сын Дарьи Степановны. Со двора, из полузакрытого окна слышно было, как резво, мягко и небесно-проницательно щебечут стрижи, ласточки. Солнце выбрало на закате путь в шелке и залило маску розовеющим золотом. Мертвые щеки и выпученные глаза страшно засветились, точно бы они и приблизились. Совершенно для себя неожиданно Геннадий Андреич испытыл неприятное чувство и отвел взор.

В дверь постучались. Вошла Анна. Он оживился.

— Вот и хорошо. Рад видеть, рад.

Анна поцеловала ему руку.

— Ну, как, папа?

— А ничего, ничего-с, всё хорошо. Ты мне руку не целуй. Я не архиерей. А ты вот что целуй — всегда целуй и всегда люби.

И поправив на голове шапочку-ермолку, с тем знакомым ей, серьезным, очень живым видом, как рассматривал медали, взял с ночного столика книжку, довольно потертую, с красной вышитой заклалкой.

— Это Евангелие-с... И вот тут заложено, 6-я глава от Луки. Нагорная проповедь. Тут всё. Вот и читай. И люби. И детям внуши, передай им, чтобы читали и почитали... Это всё-с. Больше ничего нет, в этой книжечке всё-с. Жизнь будет идти, миры рушиться, новые создаваться, и мы ничего не будем понимать, но будем жить и любить, и страдать, и умирать, и друг друга мучить и потом угрызаться. А это вот будет себе существовать и вечно будет светить. Это ты помни, Анна.

— Папа, папа...

Она гладила ему руку, огромными, сияющими глазами глядела на него. Вот это он, тот отец, которого в детстве она боялась, который был некогда так далек, даже жуток строгостью своею и суровостью — вот он лежит перед ней и худенькой, предсмертной рукой потрясает в воздухе Вечной книгой.

Несколько успокоившись, он сказал ей тихо, спокойно и просто:

— Давно хотел поговорить с тобой, душа моя. Именно с тобой. Мама слабее, она будет плакать. И вообще всё напутает. А ты более крепкой закваски. Моей породы. Я в тебе очень себя чувствую, только ты тоньше-с, мы были грубее. Так вот в чем дело...

И в комнате, где майский свет понемногу гас и маска Петра отходила в тень, Геннадий Андреич дал Анне последние распоряжения насчет своей смерти. Некоторые книги ей, Пушкина, например. Специальное и научное — в Музей. Маму беречь, как дитя, любить, холить. Его непременно отпеть дома по-церковному. «Там они, наверно, в Музее гражданские похороны устроят, с красными флагами, я этому помешать не могу-с, пусть устраивают, но хочу, чтобы дома меня по-человечески, по-христиански отпели, и когда надо будет, пока я жив, чтобы священник пришел, я исповедую ему свою грешную жизнь и он причастит меня».

Анна смотрела бледная, внимательно слушала. Всё оставалось в ней будто записанное.

— Да, вот, душа моя. Чуть было не забыл. Прошу **тебя**

нынче же снять эту маску Петра и поставить подальше. В столовую, или куда-нибудь в шкаф. Как хочешь, — прибавил он равнодушно. — Куда хочешь. Но чтобы я ее не видел.

— Папа, она же всю жизнь с тобой была. Ты всегда так Петра почитал...

— Совершенно правильно, мой друг. И была, и почитал-с, А теперь вот — пусть уберут.

***

Геннадий Андреич просил позвать помощника своего, Игнатия Николаевича, довольно долго наедине с ним беседовал о Музее.

Успел исповедаться и причаститься. Был покоен, ровен, далек. Иногда только улыбался Агнессе Ивановне.

Анна всё запомнила из его распоряжений. Маску Петра на другой же день вынесли. Агнесса Ивановна удивлялась и охала, но Анна строго сказала: «Такова воля папы». Она затихла.

В гробу Геннадий Андреич лежал с неземной важностью, держал в окостенелой руке образок.

Отпевали на дому, а потом в Музее торжественно совершились гражданские похороны. Как и предполагал он, гроб накрыли там красной материей. Но этого Геннадий Андреич уже не видел. Не видел и множества провожавших его, полубесчувственную Агнессу Ивановну, бледную Анну, под руку ее поддерживавшую с видом строгим, почти суровым, заплаканную Лину и других, других...

Летописец мог бы помянуть целую нисходящую лестницу потомков, провожавших его прах до кладбища: дочери, внуки и внучки, правнуки и правнучки, с непокрытыми головами шли за гробом нумизмата и отца русской сфрагистики — в числе пятнадцати, находившихся в то время в городе Москве.

ПУТЕШЕСТВИЕ ГЛЕБА

...Элли очень нравилось, как «Ариадна» проходила Кильским каналом. Зелень датских лугов, датские рощи — такие же могучие, как и небольшие стада на пастбищах, — подступали к самому берегу. Почти задевали ветками белую «Ариадну».

— Смотри, Глеб, коровы, как у нас... и пастушонок...

А Балтийское море, развернувшееся за каналом, просто уже омывало берега России. Расстилалось оно в этот июльский день, в утренние его часы с таким зеркальным спокойствием, в такой светлой дымке, слегка только голубеющей, что его можно было счесть мирным озером... «Ариадне» нетрудно было направлять легкий бег к северу. И постукивая машиной, слегка лишь подрагивая, оставляя за кормой лазурно-закипающий в белых звездочках след, корабль безостановочно бежал к острову Борнгольму. Этот Борнгольм появился на вечерней заре, медленно проплыл со своими утесами, зеленью, красными крышами домиков. «Ах, какая прелесть! — говорила Элли, возбужденно. — Я хотела бы поселиться тут!». Глеб знал ее восторженность и нервность — только улыбался.

А когда Борнгольм ушел, спустились вниз обедать. Глеб чокался с финским капитаном рюмкой датской водки. Русские юноши, ехавшие в Гельсингфорс, весело хохотали. Финская горничная безмолвно подавала, убирала — странная морская жизнь шла как полагается.

Позже других потом Глеб сидел на палубе, в прохладной ночи — это было всегдашнее его занятие: одному глядеть в окно вагона, одному сидеть под туманными звездами, смотреть, как клочья дыма летят из трубы, и красные, зеленые огни указывают нос корабля, идущего уже мимо берегов Швеции — к тому рубежу России, куда приводила судьба. Лето в Финляндии! Два месяца назад показалось бы это фантазией, а теперь просто во вторник должна подойти «Ариадна» к набережным Гельсингфорса.

Ночь на вторник он плохо спал. Слегка покачивало. Под-

вешенные в сетке мелкие вещицы Элли описывали мягкие, но небольшие дуги. В иллюминаторе уже светлело. Глеб смотрел на качания сетки, приезд этот и всё путешествие возбуждали его. Гельсингфорс — дальше по железной дороге к границе России, дача Симы, которой он никогда не видал в жизни. Как-то всё будет?

Ясно, что уж не заснуть. Чтобы не будить Элли, младенчески спавшую (ей всё нравилось — и «Ариадна», и пассажиры, и каюта, и предстоящая встреча с дальней родственницей) — Глеб потихоньку оделся, вышел на палубу. Погода менялась. Облачно, хмуро-зеленоватая волна. И какой-то другой воздух.

Он прошел на нос, хотя там сильнее качало. Всё стоял, вглядывался, потом сел, возбуждение не унималось. Иногда брызги обдавали его, вскипая легким туманом, это даже и нравилось — на губах соленая влага. А там впереди, впереди...

— Ах, ты здесь, ну, слава Богу. Проснулась — тебя нет. Я испугалась, Думаю, а вдруг он вышел и как-нибудь там упал в море? Ну, нет, ты здесь. Всё хорошо. Значит, скоро приедем? Это что там виднеется, точно земля, леса какие-то?

Элли хорошо видела вдаль, лучше Глеба. Но и он, всматриваясь, разглядел под мрачными облаками узкую полоску земли, действительно синевшую щетинкой — лес.

— Это Финляндия, — сказал он. — Берега Финляндии. А там, справа, Россия.

Финляндия! Элли охотно приняла, но насчет России стала сначала спорить — ей всегда всё казалось фантастически: указала совсем в другую сторону.

Глеб засмеялся. Она быстро сдалась.

— Ну, мне всё равно. Там так там. Главное, что Россия. Ты подумай: мы будем от России в десяти верстах!

Потом она вдруг задумалась и сказала:

— Как удивительно! Ведь если бы папа не умер и я бы в газете не напечатала благодарности сочувствующим, то Сима

и не узнала бы, где мы, не пригласила бы нас и мы вот не стояли бы здесь на палубе.

Глеб взял ее руку.

— Я думал уже об этом.

Она ответно пожала руку. Глеб вздохнул.

Нос «Ариадны» сильнее клюнул, луч солнца прорвался с неба, блеснул в мутной зелени волн, испещренных кипящими белыми звездочками. Жарче налетели брызги. Элли отерла лицо платочком. Кроме соленых брызг, на платочке остались, быть может, и следы слез.

А берега близились. И настала минута, когда оба увидели, легко и отчетливо, одно и то же: на узкой береговой полоске пятно иного цвета, чем леса вокруг. Кое-где возвышались колокольни, а особенно высоко воздымался в одном месте над приземистою башней шпиль, несоразмерно длинный.

— Смотри, смотри, Петербург! — закричала Элли. — Адмиралтейская игла, или там, шпиль Петропавловской крепости.

— Хоть и не Петербург, а видно, что младший брат.

И через час, в виду крепости Свеаборга, с финской точностью, в назначенный час пришвартовалась «Ариадна» у набережной Гельсингфорса.

Молчаливый носильщик взял вещи Глеба и Элли, услыхав русскую речь, улыбнулся и назвал Элли «барыня». Чемоданы же понес через площадь к вокзалу.

— Глеб, это Петербург, я тебе говорю... Смотри, что за здания. Это же вроде нашего Сената. Только памятника Петру нет. И вон там собор... конечно, Исакий больше, а все-таки...

Но если и Петербург, то совсем молчаливый, еще более, чем их носильщик. Глеб и Элли смеялись и радовались. Им нравился этот новый для них народ, частью с отголоском Империи, но вообще очень современный, необычно тихий, необычно — после Парижа — чистый.

Все ходили тут, никуда не спеша, не толкаясь и не болтая. На огромном вокзале, в духе современного модерн, Глеб и Элли сидели в зале, поджидая поезд. Как елисейские тени,

проходили через залу обитатели этой страны, на загадочном своем языке загадочно произносили иногда — очень редко, негромко — нечто никому непонятное. И всё тонуло в великом молчании.

Старушка с длинной палкой и каким-то приспособлением на конце ее бесшумно проходила по зале, почти пустынной, подбирала машинкой бумажки, окурки: их вообще почти нет, но надо, чтобы и вовсе не было.

Бесшумно подали поезд, неторопливо пошли финские тени занимать места. Непривычные русские, всегда склонные переспросить: «Так это поезд на Выборг?» — и получить в ответ тихое: «Ви-ипури» — тоже безмолвно, как в немом синема, заняли без затруднения места.

Во-время свистнув, паровоз повез финский поезд в сторону России, по берегу моря, дикими лесами, хвоей и березовыми рощами, в вольном благоухании летней страны. На остановках Элли высовывалась в окно и не по-фински громко, восторженно говорила:

— Глеб, ты понюхай! Это лес, это наш лес! Глеб, даже земляничкой пахнет, Россия...

***

Сима устроила Глеба и Элли в русском пансионе у моря. Был это большой дом с мезонином — просторный, с нехитрой обстановкой, но с тем духом прежней России, от которого отвыкли они в Париже.

В мезонине две светлые и просторные комнаты, одна окнами в лес, другая в цветник и на лужайку, за нею дорога и сквозь финские сосны узкий кусок моря. Поскрипывающая лестница, вниз, там огромные сени, обширные комнаты, населенные русскими на отдыхе из Гельсингфорса или Выборга. Большая столовая, стеклянная терраса, прямо в цветник выходящая. Это, может быть, всё, что угодно, только уж не Париж.

Утра Глеба были так светлы, как эти ясные дни июльской

Финляндии. Кофе им подавали сюда. За столом у дивана они быстро пили его, потом Элли уходила наверх, по лесистому взгорью, мимо станции железнодорожной на дачу к Симе. Глеб же садился за свой письменный стол, погружался в спокойные, многолетние уже занятия. Необычная тишина и глубокое, как бы подземное соответствие всему действовали освежающе. Он чувствовал себя в ритме, тоне всей той русской природной жизни, которая произвела и его и Элли, Таню (ныне уехавшую с молодежью под Тулон), в некоем лоне, где его связь с землей, лесами, птицами, зверями и людьми являлась первообразной. И питала, и одушевляла.

Элли же эти утренние часы проводила на даче Симы, чаще всего среди роз ее сада, близь небольшого водоема со светло-зеленоватой водой.

— Да, вот представь себе, Элличка, как довелось встретиться, — говорила Сима, высокая, легкая в движениях, приветливо улыбаясь довольно широким лицом с карими глазами: — если бы ведь не кончина Геннадия Андреича, я бы так ничего о тебе и не узнала... И твоего Глеба никогда не увидела бы. Вот как всё удивительно выходит.

Сима была права. Жизни их некогда шли очень близко — ребенком жила одно время Сима с овдовевшей матерью на Земляном валу, весь камышниковский мир с детством ее тесно связан, а потом пути разошлись. В Петербурге Сима вышла замуж и вошла в богатый полунемецкий промышленный круг, муж приобрел эту дачу в Финляндии, куда в революцию и переселился. Здесь же и умер. Сима осталась одна, но по общительному своему нраву, обращенному к людям добротой, никогда в одиночестве не пребывала: всегда гнездились вокруг и друзья, полудрузья и опекаемые, и бездомные. Сима любила помогать. Делала это легко и спокойно, без подчеркивания, но с тем здравым и практическим смыслом, который всегда был в ней: камышниковская кровь — ее бабушка была теткой Геннадия Андреича. И теперь Сима мирно процветала на своей даче, в десяти верстах от границы бывшей Российской Империи, деля время между хозяйством

(всё на даче сияло и блестело), заботами о людях и розах, прогулками: у нее был такой взгляд, что она должна всегда двигаться, как можно больше ходить: полезно для здоровья и самой нравится. Потому и встречали ее постоянно летом в шерстяной белой накидке и белой шляпе, зимой в лисьей шубке, быстрой походкой проходящую то по взморью, то вдоль рельс железной дороги, то в сосновых лесах по шоссе к Выборгу. Можно было считать ее неким легким духом местности.

После утренних дел Глеб любил в одиночестве выходить перед завтраком на прогулку. Обычно шел по шоссе к России. Сквозь редкие сосны виднелся направо пляж, бледное море, вдали, сквозь зеркальный туман, неясные пятна — Кронштадт. На приморском песке кой-где русские, некоторые смотрят в бинокль: за полуденным маревом над бесцветной водой Родина. Почти нет таких, у кого не осталось бы там близких. У Симы тоже в России сестра — Наталия. И таких нет, кто спокойно и равнодушно рассматривал бы с прибрежья тот край. (Слез же изгнаннических, капавших иногда на песок, не считал никто).

Слева начинались леса, уходившие вглубь страны, подымавшиеся по взгорью. Тут попадались старые дачи, иногда обитаемые, а то и заброшенные, в заброшенности своей молчаливо говорившие о былом. Как просторно жили! Деревянный дом в два этажа с десятком комнат, застекленные балконы и террасы, иногда в разноцветных стеклышках — половина окон выбита, в комнатах пустота и паутина.

Глеб любил забредать в этот финско-российский лес, просто слоняться в нем, вдыхать неповторимый горько-пряный его аромат, с легким грибным духом, иногда вдруг с запахом покоса на лужайке. Он считал птиц друзьями, его друг была и белочка, мохнатая и смешная, шурша, невесомо возносившаяся по красноватому стволу сосны — оттуда, в безопасности помахивавшая хвостом, казавшимся могущественней, чем она сама. (Теперь он не застрелил бы ее, как некогда ребенком, в Будаках!).

Особый друг у него считался дятел на грибной поляне близ полуразрушенной огромной дачи. Это место было странно и отчасти таинственно. Глеб любил заходить сюда, садиться на поваленную березку, слушать дятла. Дятел не боялся его. С удивительным упорством выстукивал по стволу, медленно подымаясь всё выше, потряхивая пестро-красной грудкой, погружая Глеба в легендарный туман детства, когда такие же русские дятлы с такими же грудками выстукивали напевы свои в лесах разных Устов и Сопелок, Чертоломов. Иногда Глеб смеялся и говорил ему: «Ну, как у тебя голова не заболит?» — старался представить, что произошло бы, если бы вот его, Глеба, заставили целый день так стучать носом в дерево. «Видно, братец ты мой, лоб-то у тебя медный». Когда громко произносил это, дятел оглядывался, на минуту замолкал или на всякий случай перелетал — неверным, ныряющим полетом — на соседнюю сосну, продолжал там свою деятельность. В конце концов, она и культурна: очищал дерево от жучков, насекомых. Возвращали в детский мир и грибы — перед этой дачей было их особенно много, Глеб захватывал даже для них кошёлку. Выбирая из земли тугие, в сырости и прохладе возросшие средь прошлогодних листьев боровики, любовался атласно-золотистой подкладкой их, крепкой, налитой ножкой, матово-коричневым шеломом... — и всё пахло непонятными земными недрами.

А сама дача представляла мир иной. Глеб и к ней подходил, а однажды влез даже, сквозь разбитое окно внутрь и, как в огромном склепе, прошелся по пустым, гулким комнатам. Поднялся во второй этаж — паутина висела в углу целым парусом. Некогда покачивалось тут на веревке тело странного персонажа предреволюции Гапона, заманенного сюда и тут же революционерами повешенного.

...К завтраку Глеб возвращается. Те же цветы в цветнике, стеклянная терраса, огромная столовая, русский говор. Из раскрытого окна пахнет покосом.

***

По вечерам ходили наверх к Симе, в тихо сиявшую чистотой дачу, погружались в особый ее уют и приветливость.

Или дома Глеб перечитывал — в который уже раз! — «Анну Каренину». Некогда при такой же лампе-молнии, с такими же наивными выпуклыми украшениями на резервуаре готовил он в Калуге уроки гимназистом, и освещение казалось слепительным. Теперь читал, поднося книгу к самому свету, и улыбался про себя, но и эта лампа, и пансион, и Сима постоянно вспоминавшая мелочи Земляного вала, и сама «Анна Каренина» неотрывно уводили в былое.

Бабочки налетали на лампу из отворенного окна, настурции на подоконнике пестрели в свете ее и на черном фоне ночи прожекторы над Кронштадтом проводили сияющие лучи. Левин выходил на покос и состязался с косарями, всё там же, в Тульской губернии, в шестидесяти верстах от Прошина, где молоденьким студентом Глеб сам косил и навивал с девками возы. А сейчас в окно тянуло тем же самым сеном. Лужайку перед цветником только что скосили. На другой день будут трясти сено, и Элли тоже возьмет грабли, даже Глеб, посмеиваясь будет помогать финну, барышням и какому-то работнику.

А вот тележка запряжена, он за кучера, сзади Элли и молодая дама из пансиона. Едут за несколько верст — на русскую границу.

Запах ременных вожжей, песчаные колеи, сосенки, мрачный еловый лес, похлопывание вожжей по вспотевшей спине меринка — овод устроился на ней, нужно согнать... — что это, собрались с отцом на Касторас за тетеревами?

Лошадь привязывают в укромном месте, накрывают попоной от оводов, пешком, точно на тайное дело, пробираются к полянке. Там уже несколько русских. Некоторые с биноклями.

Внизу склона речка, извивами, в ольхах, как все речки русские: это граница. Таинственная черта, отделяющая от те-

бя твое же. Неизвестно, кто там. Говорят, речку стерегут. Говорят, из кустов могут выскочить и увести... — мало ли что еще говорят, но бесспорно, что и там где-то оберегают ее, и здесь на сторожевых пунктах сидят низкорослые финские вояки.

Но пока что никто никого не умыкает, никакой стрельбы нет и от речки вверх идет ровным подъемом луг, дальше виден посев, а левее не то дом двухэтажный, не то барак.

— Возьмите бинокль...

Глеб подносит его к глазам. Теперь ясно всё видно. Вот вышла баба, простая русская баба, каких море видел он на своем веку. Хворостиной подгоняет корову. На бараке что-то вроде вышки, над ней флаг.

— Это наблюдательный пункт ихний, — говорит сосед. — Нас отсюда, наверно, тоже рассматривают. А баба, не думайте, это не здешняя. Всю пограничную полосу выселили — тут жили карелы. Их загнали подальше, вглубь, а сюда навезли русских из других мест.

Облака плывут медленно по бледному небу. Но тепло. Припекает скупым финским солнцем. Из России тянет покосом.

***

Сима и Элли подходят к просеке, спускающейся к пансиону.

— Нет, понимаешь, я ведь помню столько мелочей из жизни вашего дома на Земляном валу. И дядю Карлушу с его Дантэ и Маркана... А то вот, например, тетя Агнесса была в концерте и рассказывала потом. Играл Антон Рубинштейн. И ведь он такой был могучий пианист, кроме того, что гениальный, еще очень сильный... Под его ударом лопнула струна, но ничего, тут же пересел за другой рояль, его силу знали, иногда ставили рядом запасный. Я отлично помню.

Обе засмеялись. Подходили к спуску, широко раскрылось из-за леса бледно-сиреневое море. Сима остановилась. Ветер играл прядями ее волос, белая накидка слегка отлетела. Немо-

лодое, загорелое лицо сияло всегда живыми карими глазами.

— Элличка, мой друг, всё это прошлое, и всё — Россия. Вон там Кронштадт, за ним Ораниенбаум, мы жили тоже там, а левей Петербург. И там где-то моя сестра Наталия... Ты понимаешь, понимаешь, вот близится день св. Адриана и Наталии, я посылаю ей посылку и всё хочется, чтобы скорей дошла, прямо бы к именинам.

Элли тоже была взволнована. Да, Петербург, а за ним дальше ведь и Москва, где жива еще мать, сестры, где прошла молодость, где она встретила Глеба и соединились жизни их. Вот живут они здесь, вдыхают Россию, как бы и прощаются с ней и самым дорогим, что было в ней. Недолго уж прощаться. Время идет, осень близится. Скоро Таня вернется в Париж, пора...

— Ты понимаешь, — быстро говорила Сима, когда они спускались по тропинке вниз: — день Адриана и Наталии — день и русской страды — Бородинский бой. Сколько полегло наших... А само житие св. Наталии? Ты его помнишь?

Сима воспламенилась.

— Для меня это с сестрой связано. А как в житии-то написано? Наталия давно была христианка, а муж нет. Он какой-то выходил вроде судьи или начальника, как раз христиан преследовал. И как нередко случалось тогда, сам же при этом и обратился. Ну, его и взяли. А Наталия его ободряла...

Когда они сошли вниз, Сима не могла уже идти дальше, остановилась, в волнении продолжала о том, как мужа Наталии допросили и отпустили, как он возвратился домой, но Наталия, думая, что он отрекся от Христа, приказала ему идти вновь в темницу.

— Ты пойми, ведь она его обожала. Он был самый дорогой для нее человек, но какая сила... именно если обожаемый, то и должен быть героем... а не отступником. Да он и не отступался, это было недоразумение, она ошиблась. Всё равно, он опять попал в тюрьму, и на этот раз уже как следует...

И перебивая себя, почти задыхаясь от возбуждения, Сима рассказывала о том, что происходило чуть не две тысячи лет

назад с такой горячностью, будто вчера пережила всё это, будто сама видела — главное мучение Наталии в том-то и состояло, что на ее глазах потом истязали любимого человека, а она его ободряла и поддерживала, чтоб не отрекался, значит, чтобы больше его еще мучили.

— А он, наверно, я уверена, только и говорил, или кричал: «Свет, свет! Христос, Тебя люблю, к Тебе иду!». Элличка, я уверена, что мучеников поддерживает именно любовь... Такой вот восторг. Иначе нельзя выдержать, но это Богом и посылается. А Наталии было труднее, потому что она и сама мучилась за любимого человека. Ее-то, в конце концов, тоже замучили.

Сима вдруг приостановилась и смолкла. Как будто усталость и тишина прошли по ней.

— Да, свет, — сказала тихо. — Всё дело в свете.

Она вынула платочек и обтерла лицо.

— Элличка, ты родная мне по крови и вообще единственная близкая, оставшаяся здесь. Могила брата тут на кладбище, около озера, там в лесу. Мы пойдем туда с тобой, и скоро это сделаем, а то вы уедете. А в живых одна сестра Наталия, но та в России... я о ней вспомнила и разволновалась.

— Понимаю, — тихо сказала Элли. — У меня в России мать и сестры, и я никогда их не увижу.

Обе замолчали, не сговариваясь, двинулись. Дальше шли молча. У калитки пансиона Сима улыбнулась и кивнула Элли. Легким, быстрым шагом, вновь как бы окрыляемая, в развевающейся белой мантильи, оттенявшей загар лица, зашагала по шоссе к Выборгу.

Элли же в задумчивости проходила темной аллеей елок к себе в пансион. Сени были пустынны. Жильцов сейчас никого дома. У них в мезонине так же сияли на узком балкончике моногоцветным огнем настурции. Солнце послеполуденное светило мягко. В комнате Элли, на столике под иконой лежали реликвии: коробочка с московской землей и флорентинской, образок Николая Чудотворца и Евангелие. С недавнего времени, после смерти Геннадия Андреича, на первой

пред текстом пустой странице, рукою Элли, как всегда торопливо и неосновательно было написано: «Мой папа на смертном одре велел читать главу 6-ю Луки Евангелиста».

Она обернулась и в комнате Глеба, на столе с пестрой скатертью увидела вдруг письма — их подали в ее отсутствии. На одном конверте сразу узнала почерк Тани и схватила его.

Таня вернулась уже в Париж с юга, и пока жила дома одна. Поездкою очень довольна, ждет их возвращения.

«Дорогие мои, — писала она: — есть и печальные вести. Проездом в Америку, куда его посылают по каким-то инженерским делам, был здесь муж Сони, Мстислав Казимирович, заходил к нам. Такой нервный, всего боится и всё лечится, хотя вид у него цветущий. Рассказывал о последних днях бабушки, с большим почтением к ней. Он очень горячо и длинно рассказывает, но всё-таки это ужасно: представь, у них там арестовали близко знакомого им священника, их жилицу, еще других, и нашу Ксану. Всех будто-бы за участие в каком-то тайном религиозном кружке. Священника сослали, жилицу тоже, а Ксану продержали сколько-то, а потом выпустили, но она теперь лишенка, учиться больше не может, и служить не может. Ты подумай, какой ужас! Моя подруга Ксана...».

Дверь отворилась. Вошел Глеб. Элли сидела бледная.

— Элли, что с тобой? Что ты на меня так странно смотришь?

Увидев письмо Тани, Глеб сам побледнел:

— Таня?

— Нет, слава Богу... Благополучна. Ждет нас. Но вот... ты увидишь.

И она протянула ему письмо.

***

Глеб лежал на песке, подперев голову руками. Было тихо, солнечное утро. Ныне он работал в своем мезонине. Всё кончалось. Завтра уезжают, Элли укладывается, всё пе-

ребуравлено. Опять Гельсингфорс, опять долгий путь на «Ариадне».

Финский бледный залив был зеркален. Вода чуть плескалась. Как пустынно! Леса вокруг, а вдали, над светло-сиреневой гладью, узкая полоса как бы стеклянного мрения — чуть колышется, переливается, над ней смутные силуеты, будто дома. В одном месте более темное куполообразное пятно. Глеб берет бинокль, всматривается. Кронштадт, Андреевский Собор. Порт, вдали направо должен быть маяк, бороздящий золотым снопом тишину финской ночи. Отсюда отплывал фрегат «Паллада», тут проповедывал Иоанн Кронштадтский, тут же убивали офицеров, еще позже убивали матросов — в их же восстании. А всё вместе называется Россия.

Сзади подходила Элли. Он узнал ее быстрые шаги и обернулся. Высокая и стройная, в большой летней шляпе, она легко шла по песку взморья. Глеб слегка улыбнулся. «Всё такая же... в Москве, Париже, Италии».

— Ну, вот, я так и знала, что ты тут.

Лицо ее было озабочено.

— Не могу найти ключа от чемодана. Всё уложено, завтра ехать, а ключа нет.

Глеб сел, отряхнул песок с брюк и запустил руку в карман.

— Ключ у меня в портмоне, вот он...

— Ах, слава Богу! Значит завтра с утра... Хозяин дает для вещей тележку, русские все пойдут провожать.

Она замолчала и тоже села на песок. Лицо ее стало серьезнее и покойней.

— Я рада домой ехать и видеть Таню, но мне здесь было хорошо. Жаль уезжать.

— Да, — сказал Глеб, — и мне жаль. И мне было хорошо. Очень было тут мирно и светло, и даже когда грустно, тоже хорошо.

— И Сима жалеет, что мы уезжаем. Она вчера уж так много ходила... уж очень много. Это у нее признак волнения.

Глеб встал.

— Да, так-то вот нам и странствовать с тобой по свету. Так-то и жить милостью Божьей. Много видели, много пережили, а вот еще, слава Богу, не лишенцы... Ах, Ксана, Ксана!

Элли опустила голову.

— Не говори. Из головы не выходит. А те, сосланные? Все эти Соловки, Мурмански?

Оба замолчали и поникли. Точно бы дыханье преисподней вдруг прошло по ним. Элли очнулась первая.

— Смотри, Сима идет к нам.

По самому краю прибрежья, совсем у воды, в белой накидке, с зонтиком, в белых туфлях быстро шла в направлении к ним Сима. Увидев их, вынула белый платочек и высоко подняв над головой, помахала. Элли ответно салютовала.

— Два дружественных корабля приветствуют друг друга в море, — сказал Глеб, улыбаясь.

И они пошли навстречу Симе.

Борис Зайцев

***

Вот дроги похоронные
Лошадка тянет сонная

Предместьями убогими.
И никого за дрогами.

Вдали — закат пылающий.
Возница засыпающий.

Он пьян, он на бок свесился.
...Любил. Убил. Повесился.

Владимир Злобин

16

Сонет

Шестнадцать уст и в памяти храню я
К устам прикосновенье уст моих.
В них было откровенье поцелуя.
Шестнадцать уст! Я помню только их.

Любовию иль нежностью волнуем,
Во власти добрых духов или злых,
Когда б я не касался уст иных,
Святое пламя пил я с поцелуем.

И если даже вдруг, полуслучайно,
Уста сближались на единый раз,
В едином миге расцветала тайна.

И мне не жаль, что этот миг погас.
О, в поцелуе всё необычайно.
Шестнадцать уст — я помню только вас!

1918

**
*

Ты не любишь овец покорных,
Не пропадающих,
Ты любишь других, упорных
И вопрошающих.
Услышишь ли, за оградой
Блеют тревожные,
Идешь к ним, покинув стадо.
Где бездорожные?
И каждая овца такая,
Знает, что искони
Она тебе самая родная,
Самая близкая.

Шесть стихотворений З. Н. Гиппиус печатаются впервые. Они присланы нам из ее архива В. А. Злобиным. **Ред.**

**
*

Неожиданность — душа другого,
Удивляющая вновь и вновь.
Неожиданность — всякое слово,
Всякая ненависть и любовь.

Неожиданностей ожидая,
Приготовься им быть слугой.
Неожиданность же самая большая —
Это, что женщина — твой другой.

ДВЕ

Она войдет, земная и прелестная,
Но моего ее огонь не встретит.
Ему одна моя любовь небесная,
Моя прозрачная любовь ответит.

Я обовью ее святой влюбленностью,
Ее, душистую, как цвет черешни.
Заворожу неуловимой сонностью,
Отдам, земную, радости нездешней.

А пламень тела, жадный и таинственный,
Тебе, другой, тебе незримой в страсти.
И ты придешь ко мне в свой час единственный,
Покроешь темными крылами счастья.

О, первые твои прикосновения!
Двойной ожог невидимого тела.
И путь двойной — томления и дления
До молнии, до здешнего предела.

ТОГДА И ТЕПЕРЬ

Просили мы тогда, чтоб помолчали
Поэты о войне,
Чтоб пережить хоть первые печали
Могли мы в тишине.

Куда тебе! Набросились зверями:
Война, войне, войны.
И шум, и крик, и хлопанье дверями.
Не стало тишины.

А после вдруг — таков у них обычай —
Военный жар исчез.
Изнемогли они от всяких кличей,
От собственных словес.

И юное безвременно состарев,
Бегут, текут назад,
Чтобы запеть в тумане прежних марев
На прежний лад.

1914

ПАМЯТЬ

Недолгий след оставлю я
В капризной памяти людской.
Но память — призрак бытия —
Ненужный, лживый и пустой.

На что мне он? Живу в себе,
А если нет, не все-ль равно,
Что кто-то помнит о тебе
Иль всеми ты забыт давно.

Пройдут единой чередой
И долгий век и краткий день,
Нет жизни в памяти чужой.
И память, как забвенье — тень.

Но на земле пока моя
Еще живет и дышет плоть,
Лишь об одном забочусь я,
Чтоб не забыл меня Господь.

З. Гиппиус

***

Твоей ли жертве избежать петли,
Твоих ударов и твоих гонений.
Но слово в строчке виновато ли,
Что на него упало ударенье.

Не виноват я, но судьба людей
Всегда считалась только с ритмом вечным.
И тем она законней и светлей,
Чем кажется на вид бесчеловечней.

***

Мне сначала это только снилось:
На дороге, ночью, вижу где-то
Как звезда за рощу покатилась,
Степь ночную озаряя светом.

А потом исполнилось всё точно:
Та же самая звезда упала,
На яву, за ту же рощу, ночью.
Даже жутко и тревожно стало.

И не даром: это было, было
Тайным знаком. Потому в глухие
Годы жизни сердце не забыло
Ни звезды, ни бегства из России.

Анатолий Величковский

БЕЗ БЕАТРИЧЕ

Я здесь один. Угасли звуки
И человеческая речь.
Покой. О, больше, чем разлуки,
Боюсь я мимолетных встреч.

Нет, лучше сон, оцепененье,
Пустынный дом и ветра вой,
Чем безобразное паденье
Во тьму и в грязь — вниз головой.

А время — что! Мелькнет и канет.
И не сомкнешь в печали глаз,
Как в новом блеске солнце встанет
И подойдет свиданья час.

МЕСТЬ

Дует ветер, задувая
На окне моем свечу.
Вот и кукла восковая.
Отомщу я палачу.

Он гулял в рубахе красной,
Браги пенистой не пил.
И к одной вдове — напрасно!
Всё ходил, ходил, ходил.

Палачей не уважала
Злополучная вдова.
Сторонилась — и пропала
Той вдовицы голова.

Вот за бедную вдовицу
Я его и не люблю.
При луне, вязальной спицей,
Сердце кукле проколю.

Пусть за кровь ответит кровью,
Пусть не спит, не ест, не пьет,
Ненасытною любовью,
Окаянный, изойдет.

Ну, а мне — овечья шкура,
Каравай, кувшин вина
И глядящая, как дура,
В дверь открытую — луна.

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

В последний раз на этот мир взглянуть,
Где мы с тобою встретились когда-то.
Холодный луч холодного заката
В последний раз мне падает на грудь.

Любил ли я тебя иль не любил —
Не знаю. Но меня ты не любила.
Прощай. И да хранит тебя та сила,
Та вера, что в себе я угасил.

Владимир Злобин

**
*

Вминаются ноги в мокрую глину,
Сиреневый куст от дождя поник,
И, словно ведро воды опрокинув,
Срываются капли на дождевик.
«Смотрите, как дождик по листьям строчит,
Я ноги давно уже вымочил вдрызг,
Паршивое лето нынче... А впрочем,
Мне нравится шорох стеклянных брызг.

Вы, верно, намокли? Холодно, вечер.
Мне куртки довольно, возьмите мой!»
Бросаю мой плащ на узкие плечи,
На волосы схваченные тесьмой.
Со смехом слетают капли с сирени,
Под желтым откосом бьется река,
И шаркает мокрый плащ по коленям,
И волосы ветер треплет слегка.
Сирень ударяет веткой по глазу,
Над речкою радужный мост повис.
Я слышал когда-то из старых сказок,
Что боги по радугам сходят вниз.

БЕЛКА

Солнце хлещет светлым потоком
Обдавая письменный стол.
Не стерпел и глянул из окон
На березовый белый ствол.
Между веток темная шкурка,
Глядь — и нету, глядь — и прыжок,
Перекинулась тельцем юрким,
Не ошиблась ни на вершок.
Ветки темные обметает,
Головой вертит, какова!
А внизу на припеках тает,
И слегка подмокли дрова.
В белом свете ошибка, верно —
Что за невидаль на дворе:
За окном продаются вербы,
Вербы свежие в январе.

Олег Ильинский

***

Взглянул случайно на звезду,
Что медленно встает с востока...
Подобная огню и льду,
Подобная моей жестокой

Судьбе, она горит в ночах
Божественной подвластна силе,
И будут розы на могиле
Моей сиять в ее лучах,

В красе, и в счастьи, и в молчаньи...
И отзвук этих бедных слов,
Благоуханью тех цветов
Даст еле слышное звучанье.

Влад. Смоленский

ЧЕЛОВЕКОДЕНЬ — единица исчисления работы, выполняемой одним человеком за рабочий день...

Толковый словарь русского языка.

Усталой поступью к закату
Плетется Человекодень
И за условленную плату
Одолевает злую лень.

Лишь иногда, как дар нежданный,
В туманах тусклых и слепых
Блеснет зарницею желанной
Отрадный Человекомиг.

И вновь уносит быстротечность
Огонь, что душу озарит,
И даже Человековечность
Освобожденья не сулит...

Александр Браиловский

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ В РОССИИ*

Из поэтов, бывших на виду в предреволюционные годы, — самый забытый, пожалуй, Вячеслав Иванов. Многие помнят еще о его роли в столпотворении нашего «модернизма», помнят и об авторе «Религии страдающего бога» и «Переписки из двух углов». Но стихи Вячеслава Иванова, его лирический пафос, да и весь он, поэт-мифотворец, символист, прозревавший в поэзии путь к высшему познанию — кому еще он дорог? И это несмотря на то, что поэт, покинув Россию четверть века тому назад, продолжал писать в изгнании до самой смерти (умер в Риме, 83 лет, 16 июля 1949 года).

По-русски, за это время, он почти не печатался. Впрочем, литературной «верхушкой» были замечены его итальянские стихи, появившиеся в «Современных Записках». На пять из них Гречанинов сочинил романсы, которые затем оркестровал в симфонический цикл под общим заглавием «Римские сонеты». За рубежом вышел также (в 1939 году) последний стихотворный сборник Вячеслава Иванова — «Человек» (в парижской серии «Русские Поэты»)[1].

Это собрание очень головных, очень отвлеченно-выспренних строф мало кого увлекло; тяжесть стиха, надуманность образной выразительности вызвали даже недоумение: «Разве цель поэзии — какой-то трансцендентный герметизм?» В самом деле, чуть ли не каждая строчка «Человека» требует комментария; несколько страниц авторских «примечаний» ничего не разрешают.

---

* Статья С. К. Маковского «Вячеслав Иванов в эмиграции» будет напечатана в одной из ближайших книг «Нового Журнала». *Ред.*

[1] «Человек» не может помочь характеристике зарубежного творчества В. И., он весь написан еще в Москве. Часть первая, вторая и третья были закончены до революции; часть четвертая и эпилог — в годы 17-ый и 18-ый. «Человек» должен был печататься в России в 1918 г., даже набор был готов. Революционное бедствие помешало выходу в свет этого сборника. Когда в 1939 году редакция «Современных Записок» предложила В. И. издать его, автор сделал легкие изменения в отдельных строчках и прибавил «Примечания».

«Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Этим полушутливым восклицанием Пушкин отдает предпочтение не слабости ума, конечно, а прямодушию, непосредственности поэтических признаний. Её-то и недостает поэме, или «мелопее» Вячеслава Иванова (как он сам назвал «Человека»), с первых же строф ввергающей нас в «беспощадные глубины» и в словесные ухищрения, с которыми справиться нелегко.

«Затем, что ангела и зверя
И лики всех стихий навек
В себе замкнул, кто, лицемеря,
Назвал личину: Человек».

Таких строф немало на ста страницах . . .

Разбирать этой книжки я не буду; к тому же, всякий может ее прочесть: она не распродана (другие книги Вячеслава Иванова находишь с большим трудом). Скажу только, что красóты есть и в ней, несомненно, хотя бы в апокалиптическом «Венке Сонетов» третьей части. О «Человеке» упоминаю сейчас для того, главным образом, чтобы указать на одну из причин «затмения» Вячеслава Иванова в эмиграции: последний сборник вскрыл его недостатки: риторичность, ученый педантизм и отвлеченное упорство в ущерб чувству. Всё это обнаруживалось и в прежних стихах, но не так обнаженно, — было в них много другого, выросшего не из Иванова-мыслителя, эллиниста и литературоведа (в самом широком значении этого понятия), а из поэтической сущности Иванова-прозорливца, Иванова-мистика, искушенного в тайном знании, называвшего себя полусерьезно магом . . . «Кормчие Звезды», «Cor Ardens», «Прозрачность», «Нежная Тайна» — во всех этих сборниках, изданных с 1903 по 1912 год, ощущается подлинная стихотворная плоть, а не засушенное ее подобие.

Главная цель моя — напомнить об э т о м Иванове, в связи с тем, что я почувствовал недавно в Риме, ознакомившись с неизданными его стихами и со статьями литературно-критического и философского содержания, написанными в последние годы не только по-русски, но и по-итальянски и по-немецки. Прочел я также ряд, посвященных его трудам, статей иностранных авторов[2]. Иванов-мыслитель тоже давно оценен в Италии и

[2] Стихи В. И. на итальянский язык переводил Папини, он же писал о нем неоднократно, высоко оценивая его поэзию. В словаре «Трекани» — статья о Вячеславе Иванове Ло-Гатто, который посвятил поэту и главы в своей «Истории русской литературы» и в «Истории рус-

Германии, хоть ни одна из его капитальных книг пока не появилась на иностранном языке: ни литературно-критические сборники, ни «Религия страдающего бога», ни «Дионис и Прадионисийство»[3].

Диапазон умственных интересов Вячеслава Иванова был широк; посвятить его трудам следовало бы целый ряд статей... Сосредоточусь на стихах, тем более, что именно с Ивановым-поэтом наиболее связывают меня личные воспоминания; мне кажется, что и эти воспоминания, относящиеся к далекому петербургскому прошлому, представляют интерес для истории русской литературы.

Вячеслава Иванова я знал с 1903 года, когда из Италии он приехал в Петербург и выпустил «Кормчие Звезды». Первая его жена (с 1894 года) Лидия Димитриевна Зиновьева-Аннибал[4] была еще жива и принимала вместе с ним весь «передовой» Петербург, в верхнем этаже дома на Таврической улице, в так называемой «башне». Почти вся наша молодая тогда поэзия, если не «вышла» из Ивановской «башни», то прошла через нее — все поэты нового толка, «модернисты», или, как говорила большая публика, декаденты, начиная с Бальмонта: Гиппиус, Сологуб, Кузмин, Блок, Городецкий, Волошин, Гумилев, Ахматова, не считая наезжавших из Москвы — Брюсова, Андрея Белого, Цветаевой... Я перечислил наиболее громкие имена; можно бы назвать еще очень многих dii minores.

ского театра». Из иностранных авторов, кроме того, писали о В. И. (упоминаю главное): в Италии — еще Александр Пеллегрини, Ансельмо Томмазини, Анджела Цукони. В итальянском издании книги Бернарда Шульце «Русские мыслители перед Христом» имеется глава о В. И. Книга вышла и по-немецки. Во Франции — Габриель Марсель: «Достоевский в интерпретации Вячеслава Иванова». В Германии — Эрнст Роберт Курциус, Герберт Штейнер, Фридрих Мукерман и др. В Англии — Сприг.

[3] «Эллинская религия страдающего бога» должна была появиться в конце 1917 г. На складе Сабашникова всё издание сгорело во время обстрела, накануне выхода в свет книжки. Сохранилось всего два корректурных экземпляра. Один из них находится в Риме у семьи В. И., другой остался у кого-то в Москве. «Дионис и Прадионисийство» было издано в Баку в 1923 г. в виде диссертации на степень доктора при Бакинском Университете. Книга эта переведена на немецкий язык и должна выйти у Бенно-Швабе в Швейцарии.

[4] Ганнибал была фамилия ее бабушки, дальней родственницы Пушкина.

Собрания на «башне» окончились осенью 1909 года, когда Вячеслав Иванов перенес их, придав им характер более профессионально-поэтический, в редакцию «Аполлона», для чего было учреждено особое «Общество ревнителей художественного слова». Прошение в градоначальство подписано мною, в качестве издателя-редактора «Аполлона», и старшими членами редакции — Вячеславом Ивановым и Иннокентием Анненским.

«Душой» этих собраний, которые аполлоновцы называли «Поэтической академией», Вячеслав Иванов оставался неизменно, несмотря на блистательные выступления Анненского (в течение двух первых месяцев, — он скончался в ноябре 1909 г.) и на привлечение, в качестве руководителей Общества, Блока и Кузмина (из нас и составилось правление).

В. Иванов был необыкновенно широк в оценке чужого творчества. Любил поэзию с полным беспристрастием — не свою роль в ней, роль «ментора» (как мы говорили), вождя, наставника, идеолога, а — талантливость каждого подающего надежды неофита. Умел восторгаться самым скромным проблеском дарования, принимал всерьез всякое начинание. Он был пламенно отзывчив. И в то же время вовсе не покладист. Коль заспорит — только держись, звонкий его тенор (немного в нос) покрывал все голоса, и речист он был неистощимо. Мы все его любили за это темпераментное бескорыстие, за расточительную щедрость и на советы обращавшимся к нему младшим братьям-поэтам, и на разъяснения своих глубочайших мыслей об искусстве. Удивительно уживались в нем как бы противоположные черты: эгоцентризм, заполненность собой, своим поэтическим бредом и страстями ума, и самоотверженное внимание к каждому приходящему в храм Аполлона. На всех собраниях он председательствовал, руководил прениями, говорил вступительное и заключительное слово. Когда дело касалось поэзии, он чувствовал себя непременным предводителем хора... И наружность его вполне соответствовала взятой им на себя роли. Золотистым ореолом окружали высокий, рано залысевший лоб пушистые, длинные до плеч волосы. В очень правильных чертах лица было что-то рассеянно-пронзительное. В манерах изысканная предупредительность граничила с кокетством. Он привык говорить сквозь улыбку, с настойчивой вкрадчивостью. Высок, худ, немного сутул... Ходил мелкими шагами. Любил показывать свои красивые руки с длинными пальцами.

Таким образом, дело объединения петербургских поэтов, начатое Вячеславом Ивановым на «башне», продолжалось в

«Аполлоне». Но сама «Поэтическая академия» вскоре заглохла, отчасти — из-за восставшей на символизм молодежи, с Гумилевым и Городецким во главе. Вместе они основали «Цех поэтов», который и явился дальнейшим питомником русского поэтического модернизма.

Раскол начался уж с первого года «Аполлона», хоть не пошел дальше чисто-литературного спора и не нарушил товарищеской солидарности «аполлоновцев». Уже в 1910 г., на страницах журнала, в противовес туманностям символизма, Кузмин напечатал призыв к ясности, к литературному «кларизму». Затем Гумилевым был провозглашен «акмеизм» (заострение точного, предметного слова). Блок со свойственной ему страстностью, вслед за Вячеславом Ивановым, счел нужным выступить со статьей в том же «Аполлоне». Эта статья оказалась как бы исповедью Блока в защиту мистики символизма. Тем не менее общая работа продолжалась; никто из «Цеха» не думал «отрицать» Блока. Но уже тогда началось поэтическое первенство Иннокентия Анненского . . . Как оправдалось чутье группы сотрудников «Аполлона», называвшей себя «молодой редакцией»! Именно Иннокентию Анненскому, никому неизвестному до тех пор автору «Тихих Песен» (изданных в 1904 году под псевдонимом Ник. Т-о, «Никто») суждено было затмить гениальным лиризмом «Кипарисового Ларца» и посмертных стихотворений (вышедших много позже) всех лириков начала века. Это станет когда-нибудь общепризнанной правдой, несмотря на то, что и по сю пору Анненский так мало популярен среди русской читающей публики. Ценят его поэты, но русская критика очень скупо отозвалась на его поистине вдохновенные, непревзойденные, по искренности и какой-то пронзительной «чуткости», строфы.

К поэзии Вячеслава Иванова отношение «аполлоновцев» было сдержанное. Стихи его не слишком увлекали. Они требовали, почти всегда, знаний, которыми большинство не обладало. Всего не понимал в них даже Анненский, — не без лукавства приписывал он свое непонимание неосведомленности в области чуждой ему эзотерики.

Но в этом была и правда. Вячеслав Иванов, как многие поэты-символисты того времени, был эзотериком, и глубже был, последовательнее, наверное, чем Брюсов, Андрей Белый или Максимилиан Волошин. Эзотерика . . . Не надо смешивать этого понятия с понятием оккультизма, т. е. всех разновидностей теософии и антропософии. Оккультизм — от иогов Индии и Тибета. У нас его провозвестницей была Елена Петровна Бла-

ватская. Традиция эзотерики — от незапамятных времен, от мистерий, уходящих корнями в посвятительные таинства Египта и, может быть, еще более древних цивилизаций.

Поэзия символистов искала выхода в мистике посвятительного знания. Она тяготела к своего рода жречеству, не литературному только, а действенному. Поэты зачисляли себя в ряды — кто масонов, кто штейнеровцев, кто мартинистов. Вячеслав Иванов несомненно принадлежал к тайному обществу, когда сблизила нас общая работа в «Аполлоне». Он вернулся из Италии, насыщенный образами античных мифов и всем миросозерцанием, связывающим их с пифагорейцами, орфистами, посвященными в элевзинские таинства. От этой родоначальной эзотерики — прямой путь к католическому средневековью, к Возрождению, к романтизму посленаполеоновской Европы. Всё герметическое прошлое средиземно-морских культур находит в нем отклик, — Вячеслав Иванов поклоняется Озирису и Вакху, знает наизусть тэмплиера Данта и розенкрейцера Гёте. Он ненасытен. Стихи его приобретают характер мифического универсализма. Он переводит с древне-греческого, с латыни, и итальянского, немецкого, французского. Пишет гекзаметром и другими размерами античной поэзии, пользуется и всеми формами позднейшей: пишет гимны, дифирамбы, оды, пэаны, канцоны, газэллы, элегии, триолеты, рондо, сонеты и венки сонетов ... И в эти разливы рифмованных и нерифмованных строк он вносит целиком свое синкретическое мировоззрение, всеохватывающий трепет своего чувства красоты, уводящего в миры иные: de realibus ad realiora.

Оставим пока проблему: насколько по силам поэзии этот «выход» в мистику, — и не только в мистическую идеологию, но и в некое «действо», в словесное волхвование. Названные мною поэты-символисты, все, больше или меньше, верили в эту миссию искусства, красоты. Можно сказать — страстно мечтали, чтобы мистическая эстетика перешла в религиозное свершение (о том же мечтал и Скрябин для симфонической музыки). Это очень типичное для начала века «люциферианство» наших символистов и было, по-моему, главной причиной раскола между ними и «Цехом поэтов». Впрочем, Вячеслав Иванов был далек от этой символической мистики à outrance. Неизменно и горячо отрицал он эту «подмену» религии искусством, как в пору «Кормчих Звезд», так и в последующих своих теоретических статьях, до самой яркой из них — «Граница искусства» (в «Бороздах и Межах»). Он даже и «теургию» искусства признавал с большими оговорками.

Я не буду касаться вопроса о том, удалось ли Вячеславу Иванову достичь полноты магического словесного выражения, иначе говоря — насколько он оказался не только мыслителем, но и гениальным поэтом. Скажу лишь, что неправы те, кто отрицает его как поэта! Стихи его надо уметь, прежде всего, слушать. Ритмический узор их и буквенная ткань обладают независимо от содержания, звуковой силой внушения. Но — слов нет — на стихи у каждого свой слух.

Во всяком случае, даже отложив стихи Вячеслава Иванова в сторону, надо признать, что на фоне предреволюционной России Вячеслав Иванов — одна из самых ярких фигур. Недаром Н. А. Бердяев называл его «наиболее культурным человеком, какого он когда-либо встречал». Бердяев, в своих публичных докладах, именно так вспомнил Вячеслава Иванова, с которым был дружен еще со времен «башни» на Таврической. Но тут понятие культуры вносит неясность. Мне кажется, что его следует заменить понятием гуманизма. Вячеслав Иванов — редчайший представитель средиземноморского гуманизма, в том смысле, какой придается этому понятию, начиная с века Эразма Роттердамского, и в смысле расширенном — как знаток не только античных авторов, но и всех европейских культурных ценностей. Он владел в совершенстве латынью и греческим — так что сам сочинял на этих языках экспромты своим друзьям (некоторые из них, посвященные Зелинскому, Ростовцеву, Рачинскому, напечатаны в «Нежной Тайне»). Образцово знал он и немецкий (был учеником Момсена), итальянский, французский (несколько хуже — английский); философов, поэтов, прозаиков всего западного мира он читал в подлиннике и перечитывал постоянно; глубоко понимал также и живопись, и музыку ... Никогда не забуду вечеров, которые я проводил у него в обществе А. Н. Скрябина (в предсмертные годы композитора). Каким знатоком гармонии выказывал себя Вячеслав Иванов-эзотерист в этих беседах со Скрябиным-оккультистом, мечтавшим о музыкальном храме на необитаемом острове Индийского океана! Недаром в одном из стихотворений «Кормчих Звезд» поэт восклицает:

«О, Музыка! в тоске земной разлуки,
Живей сестер влечешь ты к дивным снам:
И тайный Рок связал немые звуки» ...

От этих строк можно было бы повести всю поэтику Вячеслава Иванова ...

Из поэтов, после Эсхила, которого он всего перевел, он

ставил на недосягаемую высоту, конечно, Гёте. По ширине интеллектуального охвата он и близок ему. Но и тут, может быть, самое примечательное в нем это то, что ни эллинизм, ни гётеанство не затмевают его р у с с к о с т и, не мешают ему то и дело придавать своим стихам сугубо-национальный колорит (подчас почти фольклорный).

Уже в «Кормчих Звездах» нет-нет прозвучат, наперекор всем нимфам и менадам, былинные лады:

«Ты святися, наша мати-Земля Святорусская!
На твоем ли просторе великом,
На твоем ли раздолье широком,
Что промеж Студеного моря и Теплого,
За теми лесами высокими...».

Но не только стиль иных стихотворений, весь словарь поэта пестрит «народными» оборотами и славянизмами, подчас приближающими его язык не то к допетровской письменности, не то к «высокому стилю» Державина и даже Сумарокова. Какой необыкновенный парадокс — русский язык Вячеслава Иванова! По части сложных прилагательных он один, кажется, последовал за Гнедичем, переводчиком Гомера, и превзошел его. Зарница у него «солнцедоспешная», ручей «искротечный», рай «сребровершний» и «огнезрачный», луч «днесветлый», облако «путеводимое», эфир «светорунный». Здесь и там встречаешь — «вихревейный», «пышностенный», «огнехмельный», «иглостолпный». Ему нравится — не мечет, а «мещет»; не театр, а «феатр», «град» вместо город, «праг» вместо порог; не грядущий, а «грядый», не провожали, а «провождали», не крыл, а «крил» и т. д. Сопряжение этих книжных «руссицизмов» с мифологическим содержанием кажется Вячеславу Иванову вполне естественным, он убежден (как и заявляет в предисловии к «Нежной Тайне»), что «античное предание насущно-нужно России и Славянству, ибо стихийно им родственно».

Надо ли после того удивляться, что знаменитая вакхическая строфа поэта:

«Бурно ринулась Мэнада,
Словно лань,
Словно лань, —

переходит в строфу с народно-русской интонацией:

С сердцем, бьющимся, как сокол
Во плену,
Во плену,

С сердцем, яростным, как солнце
Поутру,
Поутру...».

Конечно, не славянизмы и не «народничество» характеризуют поэзию Вячеслава Иванова, но кое-что от этого пристрастья к фольклору или к надуманной исконности языка звучит почти в каждой написанной им строфе.

Впрочем, этой темы — о языке Вячеслава Иванова, в связи со всем его духовным миром и религиозным исповеданием, — я коснусь позже. Вернемся ненадолго ко времени «Аполлона». Курьезно то, что оба старших моих помощника в создании журнала, и Вячеслав Иванович и Иннокентий Федорович, по самому строю души были ревностными приверженцами не Аполлона, а его антипода Диониса (в современном понимании, с «Рождения трагедии из духа музыки» Нитше). Вячеслав Иванов писал:

«Земных обетов и законов
Дерзните преступить порог, —
И в муке нег, и в пире стонов,
Воскреснет исступленный бог!...».

Идее аполлонизма в искусстве гораздо ближе был другой мыслитель, в то время уже терявший свою популярность, — Аким Львович Волынский. Он считался членом редакции «Аполлона» до выхода первой книжки, когда этот неукротимый идеолог аполлонизма (в то время) выступил против всех сотрудников журнала с принципиальным «разоблаченьем». После этого инцидента мне пришлось расстаться с Волынским: он сам поставил условие: или он, или все прочие... Его уход не имел последствий. «Аполлонизм», близкий художникам «Мира Искусства», примкнувшим к журналу, остался незыблемой его идеей и ее целиком восприняла «молодая редакция» с Гумилевым, Кузминым и Осипом Мандельштамом. Таким образом молодежь сразу оказалась как бы в оппозиции к одному из «столпов» журнала — Вячеславу Иванову. В длинном стихотворении, посвященном Кузмину (сборник «Нежная Тайна») вспоминается такая строфа:

«Союзник мой на Геликоне,
Чужой меж светских передряг,
Мой брат в дельфийском Аполлоне,
А в том — на Мойке — чуть не враг!».

(Редакция «Аполлона» помещалась тогда на Мойке).

«Дионисийство Вячеслава Иванова, не созвучное больше эстетике «молодых», хорошо выражено в стихотворении «Кормчих Звезд» из отдела «Гесперид».

Голоса

Муз моих вещунья и подруга,
Вдохновенных спутница Менад!
Отчего неведомого Юга
Снится нам священный сад?

И о чем над кущей огнетканной,
Густолистной, ропщет Дионис,
И, колебля мрак благоуханный,
Шепчут лавр и кипарис?

И куда лазурной Нереиды
Нас зовет певучая печаль?
Где она, волшебной Гесперид
Золотящаяся даль?

Тихо спят кумиров наших храмы,
Древних грез в пурпуровых морях;
Мы вотще сжигаем фимиамы
На забытых алтарях.

Отчего же в дымных нимбах тени
Зыблются, подобные богам,
Будят лир зефирострунных пени —
И зовут к родным брегам?

И зовут к родному новоселью
Неотступных ликов голоса,
И полны таинственной свирелью
Молчаливые леса?

Вдаль влекомы волей сокровенной,
Пришлецы неведомой земли
Мы тоскуем по дали́ забвенной,
По несбывшейся дали́.

Душу память смутная тревожит,
В смутном сне надеется она;
И забыть богов своих не может, —
И воззвать их не сильна!

Какое исчерпывающее признание! Поэт не может забыть античных богов, хоть не силен «воззвать» (воскресить) их. Попыткой их воскрешения, в сущности, и была мифотворческая поэзия Вячеслава Иванова. Религиозной жаждой томился и он, как многие христианствующие интеллигенты того времени (журнал «Новый Путь» с Мережковским и Тернавцевым, «Вопросы Жизни» с Чулковым), но христианином Вячеслав Иванов еще не был.

Запомнился мне разговор на религиозную тему, происходивший в 1909 году, втроем с Вячеславом Ивановым и Иннокентием Анненским (неверующим, никакой мистики не признающим). Помню обстановку нашей встречи — у Смурова на Невском, куда мы зашли после того, как подали прошение градоначальнику об учреждении «Общества ревнителей». На мой вопрос — «Вячеслав Иванович, скажите прямо: в ы в е р и т е в божественность Христа?» — подумав, он ответил: — «Конечно, но в пределах солнечной системы» ... Да, он в Христа верил, но не менее чистосердечно «воззывал» и богов Олимпа, и духов земли, продолжающих открываться избранным в «аполлоническом сне» и в «дионисийском исступлении», послушных магии творящего слова. Повторяю, символы были для него не только литературным приемом, но и заклинательным орудием. Этой лирической магией повеяло уже в «Кормчих Звездах», еще больше ее в «Cor Ardens». Тут союзницей Вячеслава Иванова являлась его первая жена, Зиновьева-Аннибал, женщина с очень яркой индивидуальностью, не лишенная литературного таланта, обладавшая неутолимой фантазией. Из писательниц одна из первых она обратила на себя внимание Петербурга своими декадентскими причудами, — дома на литературных сборищах выходила к гостям в сандалиях и греческом пеплосе (да еще алого цвета). В литературной богеме много толков было о ее повести «Тридцать три урода».

Вячеслав Иванов жену боготворил, ее одну прославлял своим стихотворным эросом. «Cor Ardens» — «Любовь и смерть» — посвящены ей, как и знаменитая «Менада»,

«— Той,
чью судьбу и чей лик
я узнал
в этом образе Менады
«с сильно бьющимся сердцем».

Это к ней обращено и стихотворение «На башне»:

«Пришлец, на башне притон я обрел
С моею царицей-Сивиллой

Над городом-мороком — Хмурый Орел
С Орлицей ширококрылой».

Ей же посвящена и «Любовь» (из «Кормчих Звезд») сонет, из которого вырос венок сонетов (в «Cor Ardens»):

«Мы — два грозой сожженные ствола,
Два пламени полуночного бора,
Мы — два в ночи летящих метеора,
Одной судьбы двужалая стрела!

Мы два коня, чьи держит удила
Одна рука, — одна язвит их шпора,
Два ока мы единственного взора,
Мечты одной два трепетных крыла.

Мы двух теней скорбящая чета
Над мрамором божественного гроба,
Где древняя почиет Красота

Единых тайн двугласные уста,
Себе самим мы — Сфинкс единый оба.
Мы — две руки единого креста».

Мне кажется, что в этих обращениях к жене, самая знаменательная строка: «Единых тайн двугласные уста». Думается мне тоже, что на эту строку откликается стихотворение из «Cor Ardens» — «Ропот» (хоть эти строфы и не относятся к ней непосредственно). Приведу и его, так как придаю большое значение первому браку Вячеслава Иванова, повлиявшему на весь его духовный рост. Останься Лидия Димитриевна в живых, возможно, что она сыграла бы в литературной судьбе мужа такую же решающую роль, как З. Н. Гиппиус в судьбе Мережковского.

Итак:

«Твоя душа глухонемая
В дремучие поникла сны,
Где бродят, заросли ломая,
Желаний темных табуны.

Принес я светоч неистомный
В мой звездный дом — тебя манить,
В глуши пустынной, в пуще дремной
Смолистый сев похоронить.

Свечу, кричу на бездорожьи;
А вкруг немеет, зов глуша,
Не по-людски и не по-божьи
Уединенная душа».

Разумеется, маг, в тайны посвященный, мыслит не по-людски и не по-божьи; он занимает среднее какое-то положение между человеческим ничтожеством и божественной силой, он из тех, кого Евангелие называет «волхвователями и обаятелями». Позже, в «Человеке» вспоминает поэт эту пору своего «безумия», дерзновенной своей ворожбы:

«Не первою-ль из всех моих личин
Был Люцифер? Не я-ль в нем не поверил,
Что жив Отец, — сказав: «аз есмь един»?

Денница ли свой дольний лик уверил,
Что Бога нет, и есть лишь Человек? . . .».

Вот в каком смысле надо понимать восклицание Вячеслава Иванова и в другом стихотворении («Cor Ardens») «Зодчий»:

«Я башню *безумную зижду*
Высоко над мороком жизни . . .».

Однако, глубокая христианская сознательность дает себя чувствовать уже со второго сборника — «Прозрачность». Демоническое дерзание мучит его совесть, — разве не звучит раскаяньем обращение к «демону»:

«Мой демон! Ныне-ль я отринут?
Мой страж, я пал, тобой покинут!
Мой страж, меня ты не стерег, —
И враг пришел и превозмог . . .».

Стихи кончаются так:

«Так торжествует, сбросив цепи,
Беглец, достигший вольной степи!
Но ждет его звенящих ног
Застенка злейшего порог».

Дальнейший творческий рост Вячеслава Иванова от волшебствующей одержимости привел его в последнюю пору жизни к христианству без всяких «космических» оговорок. К христианству ортодоксальному, кафолическому, которое если и продолжают овевать античные мифы, то в качестве поэтических метафор только. Наконец, и метафоры исчезают, и даже

стихи Вячеслав Иванов перестает писать, занятый раздумьями совсем другого порядка.

Еще в 1925 году написано стихотворение «Палинодия». Начинается с вопросов:

«И твой исметский мед ужель меня пресытил?
Из рощи миртовой кто твой кумир похитил?
Иль в вещем ужасе я сам его разбил?
Ужели я тебя, Эллада, разлюбил?»

И кончается это стихотворение патетическим признанием:

«— я слышал с неба зов:
«Покинь, служитель, храм украшенный бесов».
И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды
Молчанья дикий мед и жесткие акриды».

С той поры муза Вячеслава Иванова менее щедра, как будто; утратив веру в «исчезнувших богинь», он тем самым обрек себя на молчание . . .

Из после-революционных стихов, изданных еще в России, особенно запомнилось одно в приподнятом, торжественном, чисто-ивановском вкусе. Приведу и его — оно очень характерно для поэта-символиста и эзотерика, и ни в одном, пожалуй, не выражена полнее чеканная сила его стиха и характерное для него смешение личного мотива с древней памятью о веках:

Мемноны

В сердце, помнить и любить усталом,
Мать Изида, как я сберегу
Встречи все с тобой под покрывалом,
Все в цветах росинки на лугу?
Все ко мне склонявшиеся лики
Нежных душ, улыбчивых теней,
В розовом и белом павилики
На стеблях моих зыбучих дней?

Или всё, что пело сердцу: «помни», —
Отымает чуждый небосклон
У тебя, родной каменоломни
Изваянный выходец, Мемнон?
И когда заря твой глыбный холод
Растворит в певучие мольбы,
Ты не вспомнишь, как, подъемля молот,
Гимном Солнце славили рабы?

Иль должно́, что пало в недры духа,
Вдовствовать в хранительной тиши,
Как те звоны, что всплывают глухо
Из летейских омутов души?
Чтоб тоской по музыке забвенной
Возле рек иного бытия,
По любимой, в чьих-то чарах пленной,
Вечно болен был — и волен я.

Мемнон, как известно, был легендарным сыном Пифона и Авроры. Посланный отцом своим на защиту осажденной греками Трои, он погиб от руки Ахилла. Аврора оплакивала его неутешно, отчего и назвали греки росу «слезами Авроры». В Египетских Фивах был сооружен исполин (может быть, в честь одного из фараонов); легенда назвала его Мемноном за свойство издавать гармонические звуки, когда блеснут на нем первые лучи рассвета.

Отзвуком этого «Мемнона» является современная ему строфа во второй части «Человека»:

«Висит ли грусть прозрачная
Над вереском развалин,
Как розовый туман,
Идет ли новобрачная
Из мглы опочивален
На плещущий фонтан, —

В избытке и в бесплодии,
Как жалоба Мемнона,
Влюбленного в Зарю,
Мне слышатся мелодии
Тоскующего стона, —
И всё поет: «Горю»!..

Вячеслав Иванов воспользовался этим образом, чтобы сказать о себе и о своих касаниях к ближним и дальним («в розовом и белом павилики на стеблях моих зыбучих дней») — признание самое потаенное о возвращении духа в забытую нездешнюю отчизну. Поэт уподобляет себя Мемнону, издающему «певучие мольбы», от лучей другого неба, чем то, под каким он вышел из родимой каменоломни. Поэт одинок в этом мире, он потерял свою любимую, свою Психею, «возле рек иного бытия», и теперь обречен на тоску по ней, слушая в «летейских омутах души» глухие звоны. «Певучими мольбами» к ней стала его поэзия.

Рассказать стихотворение своими словами — задача всегда нелегкая, чтобы не сказать невозможная; ведь самое главное в поэзии — не логическая последовательность, а то, что очаровывает в стихотворении ритмом и звучанием слов. Стихи символистов вообще не поддаются прозаическому толкованию. А Вячеслав Иванов особенно труден. И тем не менее, нельзя не ценить его лишь оттого, что он труден! Он был и остался поэтом Божьей милостью, волнующим — пусть не столько пафосом чувства, сердца, сколько пафосом мысли, — и всё же отразил он полнее, чем кто-нибудь другой, порыв своего века к художественному оправданию бытия, устремленность к чуду преображения — словом, образом, символом, иначе говоря: устремленность к платоновской истине-красоте, которая является поэту в образе матери-изиды «под покрывалом».

В поэзии Вячеслава Иванова с первого же сборника чувствовался этот порыв, и тут составными элементами словотворчества являются в одинаковой степени и чисто-эстетическая образность, и углубленность философской мысли. Когда эти два элемента достигают достаточно полного слияния, получаются прекрасные стихи. Свою платоновскую поэзию поэт формулировал четырьмя строками гекзаметра:

Энтелехия

Влагу не дай мне пролить через край переполненный, Муза!
Помнит обильная Мысль Формы размеренной грань.
С Мерой дружна Красота, но мысль преследует Вечность;
Ты же вместить мне велишь вечность в предел Красоты!

В заключение я приведу еще три стихотворения, очень разных и по стилистическому приему и по духу, но все три, на мой взгляд, утверждают это слияние ограничивающей Красоты-Меры и уходящей в созерцание Вечности-Мысли. Все три о России.

Улов

Обнищало листье златое.
Просквозило в сенях осенних
Ясной синью тихое небо.
Стала тонкоствольная роща
Иссеченной церковью из камня;
Дым повис меж белыми столпами;
Над дверьми сквозных узорочий

Завесы — что рыбарей Господних
Неводы, раздранные ловом, —
Что твои священные лохмотья
У преддверий белого храма,
Золотая, нищая песня!

Второе стихотворение (написано в 1906 году) — «Язвы гвоздиные».

«Сатана свои крылья раскрыл, Сатана,
Над тобой, о родная страна!
И смеется, носясь над тобой, Сатана,
Что была ты Христовой звана.
Сколько в лесе листов, сколько в поле крестов...
Сосчитай пригвожденных Христов!
И Христос твой — сором. Вот идут на погром
И несут его стяг с топором...
И ликует, лобзая тебя, Сатана:
Вот лежишь ты красна и черна;
Что гвоздиные свежие раны — красны,
Что гвоздиные язвы — черны».

И вот третье — самое сильное по сути и чеканно-звучное:

«Как осенью ненастной тлеет
Святая озимь, тайно дух
Над черною могилой реет,
И только душ тончайший слух
Несотворенный трепет ловит
Средь косных глыб, — так Русь моя
Немотной смерти прекословит
Глухим зачатьем бытия».

Сергей Маковский

НОВЫЕ ВАРИАНТЫ ШИГАЛЕВЩИНЫ

О романах Замятина, Хаксли и Орвелла

«Великая, божественная, точная, мудрая прямая — мудрейшая из линий».

Е. Замятин, «Мы».

"...the straight line, the geometrical symbol of triumphant human purpose".

A. Huxley, "Brave New World".

«Единственное средство избавить человека от преступлений — это избавить его от свободы... Благодетель, Машина, Куб, Газовый Колокол, Хранители — всё это... охраняет нашу несвободу, то-есть наше счастье».

Е. Замятин, «Мы».

"...the secret of happiness and virtue (is) liking what you've got to do".

A. Huxley, "Brave New World".

«...Наконец-то они побороли свободу, и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми».

Ф. Достоевский, «Братья Карамазовы».

I

Роман покойного Е. И. Замятина «Мы» наконец впервые, благодаря издательству имени Чехова в Нью Йорке, издан полностью на русском языке[1] — много лет спустя после того, как он появился в переводах на французский, английский и чешский языки.

---

[1] *Е. Замятин.* «Мы». Изд-во имени Чехова. Нью-Йорк, 1952. Стр. 200. (С вступительной статьей В. Александровой).

Судьба этой книги необычна. Написал ее Замятин еще в 1921 году. В 1924 году роман вышел по-французски в издательстве Nouvelle Revue Française. Тогда же он появился по-английски в Америке (в издательстве Dutton), а затем на чешском языке. Между тем, советскому читателю роман оставался неизвестен.

В 1924 году выяснилась, по словам самого Замятина, невозможность напечатания романа в России и тогда же Замятин решил не печатать его по-русски за пределами России. Но в 1927 году, после появления чешского перевода, роман в сокращенном виде был напечатан в пражском эсеровском журнале «Воля России». Два года спустя, когда Замятина начали травить в Советском Союзе, как «внутреннего эмигранта», это обстоятельство ему припомнили. Всероссийский Союз Писателей, в котором Замятин занимал видное положение, вынес ему осуждение, в ответ на что в сентябре 1929 года, Замятин заявил о своем выходе из Союза. Года через два после этого — очевидно, при содействии Горького — Замятин получил разрешение вместе с женой выехать из России (случай в анналах советской литературы единственный). Из «внутреннего» эмигранта он превратился в настоящего, поселившись в Париже, где и скончался пятнадцать лет тому назад, так и не дожив до появления «Мы» на русском языке.

II

В «Мы» есть элементы авантюрного романа, научной фантазии в духе Уэллса и сатирической утопии. Но современный читатель воспримет его, прежде всего, как замечательное пророчество о новейших тоталитарных государствах. Замятин рисует государство будущего, в котором до предела доведена математическая рационализация, а этика подменена четырьмя правилами арифметики («таблица умножения никогда не ошибается», говорит один из его персонажей). Прямая линия, «мудрейшая из линий», является символом этого безымянного «Единого Государства», населенного десятью миллионами обезличенных и обездушенных «нумеров» и управляемого анонимным Благодетелем на началах полного и нерассуждающего подчинения («Инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку»). Благодетель этот ежегодно переизбирается в т. н. «День Единогласия» с торже-

ственным церемониалом. Никому из нумеров и в голову не может придти, что можно не голосовать за него. Свою несвободу они почитают счастьем, ибо Государства — благодетельным. Но это их счастье, их несвободу всё же охраняют специальные Хранители (прообраз Гепеу и Гестапо), которые для наилучшего выполнения своих функций пользуются новейшими техническими усовершенствованиями, вроде устанавливаемых на улицах мембран, записывающих уличные разговоры. Меры воздействия и наказания тоже организованы по последнему слову научной техники — Машина Благодетеля представляет собой усовершенствованную гильотину, Газовый Колокол применяется как орудие утонченной пытки.

Над Единым Государством висит «стерильное, безукоризненное небо», а сами нумера живут в стеклянных домах — «всегда на виду — нам нечего скрывать друг от друга» (припомним Великого Инквизитора у Достоевского: «И не будет у них никаких тайн от нас»). Предательство и донос — на друзей, на самого себя — почитаются в Едином Государстве подвигом, и долг каждого нумера — доносить в Бюро Хранителей о всяком уклонении от установленных и не подлежащих нарушению правил. Этот долг нарушает герой романа, от имени которого и ведется рассказ. Герой этот носит № D-503. Он — выдающийся инженер-математик, строитель междупланетного снаряда «Интеграл». Вокруг него развертывается занимательная фабула романа. В центре ее — попытка небольшой группы нумеров произвести революцию в Едином Государстве. Во главе тайной революционной организации стоит женщина (I-330), с которой связан герой романа, строитель «Интеграла». Он влюбляется в нее в нарушение математической этики Единого Государства, строго регулирующего половые отношения между нумерами. Она выводит его за пределы Единого Государства, за Зеленую Стену, отделяющую Единое Государство от внешнего мира, и показывает ему этот мир, где еще уцелели существа, живущие как первобытные люди, в тесной близости с природой. Разбить эту стену — задача революционеров. «О, великая, божественно-ограничивающая мудрость стен, преград!» — записывает у себя в дневнике D-503, в котором воспитанные Единым Государством навыки мышления, подобные условным рефлексам, на протяжении всего романа борются с чем-то новым, вторгающимся в него помимо его воли. Это новое — проснувшаяся в нем «душа», личное сознание — нечто недопустимое в Едином Государстве, где «я» всецело растворено в «мы». Он «заболевает душой», начинает видеть сны, утрачивает видение

прямого, математически ясного мира, в котором безмятежно жил до сих пор и несвобода которого отождествлялась для него со счастьем. Новый взгляд на мир воплощается для него в квадратном корне из минус единицы, символе иррационального, еще с детства преследовавшем его. Он сбит с толку, запутывается в сети противоречий, но всё же, покорный власти женщины, внушающей ему иррациональную страсть, всё больше и больше втягивается в замыслы революционеров, соглашаясь помочь им в одной из их главных задач — захвате «Интеграла».

Замятинские революционеры подымают бунт не во имя каких-нибудь определенных целей или идеалов, даже в сущности не во имя свободы, а во имя революции как таковой, во имя неизвестного, иррационального, во имя права на ересь. Между D-503 и I-330 происходит характерный диалог. Когда она признается, что то, что они затевают, это революция, он отвечает ей: «Наша революция была последней. И больше никаких революций не может быть. Это известно всякому». В ответ она просит его назвать «последнее число». Это ему кажется нелепым: «Раз число чисел бесконечно, какое же ты хочешь последнее?» И она с торжеством парирует: «А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней — нет, революции — бесконечны. Последняя — это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо — чтобы дети спокойно спали по ночам». Конечно, в Советском Союзе в конце двадцатых годов эти мысли о бесконечности революций должны были казаться недопустимой ересью — в политическом плане в них усмотрели отголоски теории Троцкого о «перманентной революции».

Планы революционеров, называющих себя «мефи», становятся известны Бюро Хранителей. Для борьбы с ними заправилы Единого Государства решают прибегнуть к крайней мере — всем нумерам предлагается подвергнуться операции, чтобы вылечиться от болезни, имя которой — фантазия. В манифесте об этом говорится:

> «Последнее открытие Государственной Науки: центр фантазии — жалкий мозговой узелок в области Варолиева моста. Трехкратное прижигание этого узелка Х-лучами — и вы излечены от фантазии — навсегда. Вы — совершенны, вы — машиноравны, путь к стопроцентному счастью свободен...»

В конце концов и герой Замятина, после провала затеи с захватом «Интеграла», решает последовать примеру большинства и пойти на операцию. После этого он рассказывает

Благодетелю всю правду о замыслах революционеров. Героиня же не сдается и храбро идет на казнь. Роман кончается на несколько неопределенной ноте: у большинства населения Единого Государства инстинкт несвободы и послушания берет верх, и они добровольно идут на операцию. Многих загоняют на нее насильно. Но революционерам удалось уже добиться частичных успехов — Зеленая Стена снесена, математический строй жизни Единого Государства нарушен. Последняя запись в дневнике D-503 такова:

> «Откладывать нельзя, потому что в западных кварталах — всё еще хаос, рев, трупы, звери и — к сожалению — значительное количество нумеров, изменивших разуму.
>
> Но на поперечном, 40-м, проспекте удалось сконструировать временную стену из высоковольтных волн. И я надеюсь — мы победим. Потому что разум должен победить».

В романе повсюду разбросаны черточки, придающие ему пророческий характер: Замятин точно предвидел в 1920 году сталинский полицейский тоталитаризм. Он упоминает не только о «Государственной Науке», но и о «Институте Государственных Поэтов и Писателей». Казнь врагов государства сопровождается декламацией од, восхваляющих мудрость этой казни. Все нумера призываются «составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства». О главе Единого Государства герой романа пишет — совсем как советские писатели сейчас о Сталине: «Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам благодетельными тенетами счастья». Написанный в 1920 и впервые напечатанный в 1924 году, роман Замятина звучал как пророчество о «Things to Come», для многих неправдоподобное; опубликованный по-русски сейчас, он читается как беспощадная политическая сатира.

В области «утопической» литературы у Замятина почти нет русских предшественников. «4338 год» кн. В. Ф. Одоевского (незаконченная вещь, написанная в 1840 году), «Что делать» Чернышевского, «Республика Южного Креста» Брюсова — это едва ли не все «утопии» в русской литературе. «Положительная» утопия Чернышевского, лишенная к тому же всяких литературных достоинств, никакого влияния на Замятина не оказала. Едва ли можно говорить и о влиянии Одоевского, установка которого тоже «положительная» и которого Замятин мог и не знать. С Брюсовым у Замятина есть некоторые точки схождения. Гораздо больше, однако, Замятин был обязан западным авторам — любимому им Уэллсу и

Анатолю Франсу. Но настоящих корней замятинской «утопии навыворот» надо искать у Достоевского, в «поэме» Ивана Карамазова о Великом Инквизиторе, где ставится дилемма свободы и счастья, и в фантазии Шигалева в «Бесах». Единое Государство Замятина — это осуществленная на практике «шигалевщина».

III

Из Достоевского же исходит и, пожалуй, еще ближе подходит к формуле Шигалева, роман известного английского писателя Олдуса Хаксли (Aldous Huxley) «Brave New World[2], написанный в 1931 году, т. е. на одиннадцать лет позже замятинского и на шесть лет позже опубликования «Мы» на английском языке.

Меня здесь не интересует вопрос, был ли или нет роман Замятина известен Хаксли, когда тот писал свой (насколько я знаю, сам Хаксли отрицал свое знакомство с ним): для объяснения некоторых поразительных совпадений между этими двумя вещами нет необходимости предполагать такое знакомство — может быть, это просто случай, когда les beaux esprits se rencontrent. Ведь самая тема Замятина не была оригинальна, а Хаксли во всяком случае разрабатывает ее по-своему и в иной литературной манере. Как литературное произведение, «Мы» представляется мне более удачным. У Замятина детали организации Единого Государства не выпирают на первый план, они подсобны. Чувствуется пристрастие математика к ясным, простым и точным формулам и построениям. Отсюда — некоторая сюрреалистичность всей ткани романа, свойственная вообще замятинской манере, особенно в его лучших коротких рассказах. У Хаксли роман перегружен деталями, часто забавными и остроумными. Его «утопия» подана в реалистической манере. При этом сам он любуется всё время собственным остроумием и изобретательностью (одни имена персонажей чего у него стоят: Бернард Маркс, Бенито Хувер, Ленина Краун, Мустафа Монд, Джим Бокановский и т. д. — вместо замятинских анонимных нумеров!).

[2] Название это можно перевести как «Прекрасный новый мир». Эта формула взята из слов Миранды в «Буре» Шекспира. Роман впервые был напечатан в 1932 году и привлек к себе гораздо больше внимания, чем «Мы» Замятина. В 1946 г. Хаксли его переиздал с новым предисловием.

У Замятина действие происходит в абстрактном Едином Государстве будущего, у Хаксли — преимущественно в Лондоне, перенесенном на шесть столетий вперед, и это тоже дает ему повод изощрять свое остроумие и острословие — по линии топографической и бытовой. Очень забавно пародическое использование им пословиц и детских песенок в качестве средства «гипнопедии», т. е. воспитания во сне, при помощи которого производится «индоктринация» детей в государстве будущего.

Замятин ведет повествование от лица своего героя, жертвы болезни «личного сознания», и это сообщает его рассказу личную страстность — постепенное наростание напряжения и ускорение темпа записей дано с большим искусством. Отрывистая манера письма прекрасно передает лихорадочный темп событий и переживаний. Роман Хаксли написан в третьем лице, и за ним чувствуется холодный, ироничный, немного циничный эстет-автор, любующийся собственными эффектами (сам Хаксли в предисловии к новому изданию романа охарактеризовал себя как «эстета в духе Пиррона»). Может быть, поэтому «заболевание» D-503 у Замятина задевает читателя гораздо больше, чем аналогичное «заболевание» Бернарда Маркса, которого Хаксли рисует довольно насмешливо и который особенной симпатии у читателя не вызывает, хотя «болезнь» его та же самая — зарождение личного сознания.

Самый подход Хаксли к государству будущего (оно у него называется Мировым Государством и управляется Мировым Контролером) иной, чем у Замятина. Его утопия основана прежде всего на достижениях биологии и психологии, и роман начинается с весьма остроумного описания деятельности лондонского Центра Детоводства, организованного на началах неопавловского учения об условных рефлексах. У Замятина половая жизнь нумеров строго регулирована, но нормальные функции деторождения не упразднены. У Хаксли они заменены искусственным выведением из яиц. Господствует принцип научного мальтузианства, который позволяет сочетать крайнюю половую распущенность со строжайшим контролем прироста населения. Проблема Мальтуса разрешена в согласии с последними достижениями биологии и эвгеники. Замятин как будто презумирует равенство — хотя и не физическое тождество — нумеров. Исключение, может быть, составляет у него небольшая «головка» Единого Государства (одна десятая Шигалева?) — неясно, например, являются ли его Хранители какими-то высшими существами или просто

несут особые функции в Едином Государстве, дающие им привилегированное положение. У Хаксли его Мировое Государство построено на строгом кастовом принципе: всё население (гораздо более многочисленное, чем у Замятина) разделено на пять каст, причем низшие касты (Гаммы, Дельты и Ипсилоны) представляют собой, в сущности, простых роботов, в пределах каждой данной группы совершенно идентичных, и только высшая каста, Альфы (почти все индивидуальные персонажи романа принадлежат к ней), наделена умственными способностями и какой-то индивидуальностью. Хаксли вообще уделяет гораздо больше внимания социальному устройству и экономической базе своего государства. Вся схема государства будущего у него гораздо более тщательно продумана и разработана, и он вложил в нее свою огромную и разностороннюю эрудицию. Но роман от этого скорее проиграл: за деревьями часто не видно леса.

Зато у Хаксли, наоборот, значительно ослаблен политический элемент. В его Мировом Государстве никто революции не замышляет и не подымает, хотя еретики тоже имеются. «Заболевание» Бернарда Маркса оказывается явлением более или менее единичным. К такого рода явлениям Контролеры Мирового Государства привыкли, они справляются с ними в порядке остракизма, ссылая повинных в «уклонах» на отдаленные острова. Элемент конфликта вносится в роман появлением в Лондоне из находящегося в Нью Мексико «Заповедника» Дикаря («Заповедник» Хаксли соответствует отгороженному Зеленой Стеной первобытному миру у Замятина, но, как и всё у Хаксли, он описан гораздо более детально и реалистично, с использованием знания фольклора и быта американских индейцев). Дикарь этот, родившийся непредвиденно у заблудившейся в Заповеднике женщины из Мирового Государства (из касты Бета), являет собой довольно фантастическую фигуру. Он воспитан на фольклоре и религиозных представлениях индейцев из юго-западных американских пуэбло, с их смесью язычества и христианства, и на... Шекспире, истрепанный том которого случайно нашел в детстве (он, кстати, и говорит почти исключительно цитатами из Шекспира, что опять дает Хаксли случай блеснуть своей эрудицией и остроумием). После ряда довольно невероятных приключений Дикарь, не могущий приспособиться к «цивилизации» Мирового Государства, сначала подвергает себя самоистязанию, а затем кончает самоубийством.

Повторяю: политически роман Хаксли гораздо менее заострен, чем «Мы». У него нет ни Хранителей, ни всепрони-

кающей системы сыска, шпионажа и доносительства, играющей такую роль в Едином Государстве Замятина, ни научно-усовершенствованных карательных средств. В отличие от бесчеловечно-абстрактного Благодетеля, представляющегося автору замятинских записок в образе белого паука, Контролер Западной Европы у Хаксли, Мустафа Монд, скорее добродушный, не лишенный юмора циник, хранящий у себя в кабинете запрещенную в Мировом Государстве литературу, в том числе Библию. Разговор между ним и Дикарем в одной из заключительных глав романа, когда он приоткрывает некоторые секреты управления Мировым Государством, явно отдает пародией на диалог между Великим Инквизитором и Христом у Достоевского. Когда Хаксли писал свой роман, советская действительность, которую Замятин не мог не ощущать остро, была ему чужда или виделась ему сквозь традиционные розовые очки либеральной европейской интеллигенции, тогда как гитлеровский тоталитаризм, совершенно иначе воспринятый той же интеллигенцией, еще не родился на свет. И рабское государство будущего представлялось Хаксли не столько продуктом какой-то политической идеологии в сочетании с усовершенствованными методами полицейского надзора, сколько следствием использования науки во имя материального благополучия и сытости человечества. Пафос его государства будущего — гигиенически-эвгенический. Всякие высшие духовные запросы упразднены. «Надо выбирать между счастьем и тем, что люди называли высоким искусством», говорит Мустафа Монд Дикарю. И добавляет, что не только искусство, но и настоящая, чистая наука несовместима со счастьем — «наука опасна, мы должны тщательно держать ее на цепи и в наморднике». Счастье человечества несовместимо ни с истиной, ни с Богом, утверждает он далее, и тут опять мы не можем не вспомнить Великого Инквизитора. Ибо, как у Достоевского — и как у Замятина— в корне всего лежит та же проблема человеческой свободы. Основная цель воспитания условных рефлексов у жителей Мирового Государства — заставить их полюбить свою несвободу, ощутить ее как счастье. «Надо заставить людей полюбить их неустранимое социальное предназначение», говорит один из персонажей Хаксли. В Мировом Государстве царит культ «социальной устойчивости», которой приносится в жертву всё — искусство, независимая научная мысль, религиозные устремления и, наконец, простые человеческие чувства, предохранить людей от которых — одна из главных задач детоводства в Мировом Государстве.

Характерная черта цивилизации будущего, как ее рисует

Хаксли, — инфантильность. Здесь опять напрашивается сравнение с Достоевским. Припомним слова Великого Инквизитора: «...умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить». Всему этому есть точные параллели и иллюстрации в «Прекрасном новом мире».

В 1946 году Хаксли выпустил новое издание своего романа, для которого написал специальное предисловие. С одной стороны, за это время мир пережил события, которые как будто приблизили к нам утопию, изображенную в «Brave New World»; с другой, эстетический скептицизм самого Хаксли сменился туманным, правда, но всё же религиозным мировоззрением. Намеченное им в романе решение проблемы — вернее отсутствие решения — заключавшееся в необходимости выбора между двумя «безумиями» — безумием цивилизации Мирового Государства и безумием более человечного, но неприемлемого образа жизни в отсталом и примитивном Заповеднике — уже не удовлетворяло его. Он предлагал теперь третье решение, «при котором наука и технология будут использованы, как если бы они, подобно субботе, были созданы для человека, а не (как теперь и как еще больше в «прекрасном новом мире») как если бы человек был приноровлен к ним и порабощен ими». Это решение, долженствующее примирить науку и прогресс с религией, Хаксли характеризует как «своего рода высший утилитаризм, по которому принцип наибольшего счастья подчинен принципу конечной цели». Первым вопросом человека во всяком жизненном положении, говорит он, должен быть следующий: «Как эта мысль или этот поступок будет содействовать или препятствовать осуществлению мной и возможно большим числом других людей конечной цели человека?» На этот именно вопрос надлежит в первую очередь искать ответа. Вместе с тем Хаксли, после всего пережитого, попрежнему видит мир идущим в направлении изображенного им «земного рая». Ему видится в будущем тоталитарное государство, в котором «всемогущая исполнительная власть политических вожаков и армия их опричников управляют населением рабов, которых уже незачем принуждать, ибо они любят свое рабство». Про-

блема, которая станет перед тоталитарными правителями и подчиненной ими себе наукой, это — «проблема счастья, иными словами проблема того, как заставить людей полюбить свое рабство». Еще раз мы возвращаемся к Великому Инквизитору Достоевского: «Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться. И пока люди не поймут сего, они будут несчастны... А нас они будут обожать как благодетелей». Странно поэтому, что Хаксли в своем предисловии ни разу даже не упоминает Достоевского.

И Хаксли и Замятин, исходя из Достоевского, отвергают, видимо, его христианское решение проблемы. В романе Замятина — незачем это замалчивать — звучат даже некоторые анти-христианские нотки: его революционеры противопоставляют свое «гордое бунтарство» христианскому смирению. Но и D-503 пишет, что христиане были единственными, «хотя и очень несовершенными», предшественниками Единого Государства, ибо понимали, что «смирение — добродетель, а гордыня — порок, и что «МЫ» — от Бога, а «Я» — от дьявола». В сущности Замятин никакого решения не предлагает: революция во имя революции не есть решение. И вечный круговорот, при котором побеждают то начала энергии, то начала энтропии, никуда не приводит.

IV

В 1948 году вышел роман ныне покойного английского писателя Джорджа Орвелла «1984», во многом близкий романам Замятина и Хаксли[3]. В отличие от Хаксли, Орвелл заведомо знал роман Замятина. Прочтя о нем в 1944 году в моей книге о советской литературе, он усмотрел в нем мысли ему близкие, заинтересовался им и прочел «Мы» во французском переводе. Впоследствии, вплоть до самой своей смерти он хлопотал об устройстве нового английского издания «Мы»

[3] Настоящее имя Орвелла — Эрик Блэр. Русскому читателю из всех его произведений всего более известна небольшая, остроумная сатира, в духе Свифта, на Советский Союз — "Animal Farm" (русский перевод, озаглавленный «Скотский хутор», вышел отдельным изданием в Германии в 1950 г.). Но перу Орвелла принадлежит еще ряд интересных романов и этюдов на литературные и общественные темы. Недавно, уже посмертно (Орвелл умер в начале 1950 г.) вышла интересная книга его о гражданской войне в Испании, в которой он принимал участие (с этого началось его разочарование в Советском Союзе).

(до сих пор не осуществленного), считая эту вещь пророческой и своевременной.

Формально роман Орвелла тоже принадлежит к «утопической» литературе, тоже проецирован в будущее. Но в то время как Замятин пророчески предвосхитил ход развития коммунистической революции в России, ее неизбежное «объизвествление», переход из «энергии» в «энтропию», ее тенденцию к тоталитаризации, а Хаксли — может быть, не без влияния Замятина — дал волю своей научной фантазии и нарисовал государство, в котором «счастье» является функцией несвободы, Орвелл писал, уже имея позади многолетний опыт коммунистического и фашистского тоталитаризма. То, что он изобразил, не было, поэтому, в сущности, пророчеством или плодом фантазии, а лишь преображением действительности, некоторой ее творческой гиперболизацией. Для нас, русских, его картина якобы будущего отражает советскую действительность в лишь слегка искривленном зеркале. Этого не поняли или не захотели понять многие американские и европейские критики, писавшие о романе Орвелла. Отчасти они были введены в заблуждение тем, что Орвелл поместил действие своего романа в Англии. Некоторые даже увидели в его романе своего рода предостережение английской Рабочей партии, вступившей, мол, на путь крайнего этатизма и неизбежно катящейся к тоталитаризму. Орвелл сам наотрез отверг это истолкование своего романа. Неслучайно, в отличие от Замятина и Хаксли, он связывает развитое до предела тоталитарное устройство государства не с техническим и материальным прогрессом, а регрессом. Этим он как бы подчеркивает, что пишет не «утопию» о будущем, а сатиру на настоящее.

Как и романы Замятина и Хаксли, роман Орвелла перекликается с Достоевским. Я бы сказал, что у него прямое влияние Достоевского чувствуется сильнее, особенно в последней части романа, в жутких сценах, где описывается физическая и психологическая «обработка», в камерах и подвалах «Министерства Любви» («Минилюба»), героя романа, маленького человека, посмевшего восстать против всесильной диктатуры. Цель этой «обработки» — вернуть его в правоверие, а заключительная стадия ее — внушение жертве любви к диктатору и возглавляемому им строю. Опять мотив, восходящий к Великому Инквизитору. В этих сценах Орвелл, роману которого в целом недостает стройного композиционного единства замятинского «Мы», достигает трагической силы, которой нет ни у Замятина, ни у Хаксли.

Глеб Струве

БЕСПРИЗОРНИКИ*

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

«Я вор, я злодей, сын преступного мира,
Я вор, меня трудно любить...»

Из блатной песни.

Проснувшись на следующее утро, я вспомнил о студентке, выигранной мною на Тереке. Казалось бы, что вспоминать? А весь день она не выходила у меня из головы. Так прошло несколько дней: — что бы я ни делал, я всё думал о студентке, хоть и не мог точно понять, что именно влечет меня к ней? Может быть то, что она была так непохожа на наших девушек-воровок — единственных, которых я до сих пор знал. И чем больше я о ней думал, тем сильнее мне хотелось познакомиться с ней или хотя бы еще раз ее увидать. Порой мне начинало казаться, что именно в ней я найду девушку-друга, которая во всем меня поймет. Однако я отдавал себе отчет в том, что никакой надежды на сближение с ней нет. Для нее я был вор, подлец, от которого она, вернее всего, лишь с презрением отвернется. Но именно эта мысль, уязвляя мое самолюбие и вызывая острую злобу, еще больше разжигала во мне желание во что бы то ни стало добиться того, что я сам считал невозможным. А если не добиться, то, по крайней мере, причинить ей зло, отомстить. Это было чувство, хорошо знакомое всякому беспризорному: «В душе-то я себя знаю, и знаю, что в корне я не «такой», как вы думаете, но раз вы считаете меня негодяем и не хотите меня понимать, то я негодяем и буду вам на зло». Скольких беспризорных сбило с пути и превратило в закоренелых преступников это оскорбленное самолюбие, доведенное до болезненной крайности.

---

* См. кн. 26, 27, 28 и 29-ю «Нов. Журнала».

Я припоминал все подробности нашей встречи с студенткой и особенно ее взгляд перед уходом — серьезный и испытующий. И я решил во что бы то ни стало попытать свое счастье — встретиться с ней и доказать ей, что я не такой, как она думает.

Узнав приблизительно время окончания занятий в Институте, я как-то под вечер отправился к Цветмету и, усевшись под деревом, на краю дороги, у стоянки трамваев, стал поджидать выхода студентов. Вскоре студенты и студентки стали выходить, сперва кучками, затем по одиночке, но ее среди них не было. Я прождал до позднего вечера, надеясь, что она, как в тот вечер, когда ее поймал Ванька, почему-нибудь задержалась. Но надежда не оправдалась. Ее не было. И, возвращаясь домой, я ругался, что так глупо провел вечер из-за какой-то бредни познакомиться с девушкой, которая к тому же наверняка послала бы меня к чорту. Теперь я уже не сомневался и в том, что в этом Институте она вовсе не учится, а оказалась тогда случайно. И на утро я в душе сам смеялся над своей глупой затеей и надеждой на какую-то дружбу, решив снова уйти в горы.

Но вечером наша бражка собралась в парк на танц-площадку. По субботам и воскресеньям, по вечерам, в парк обычно стекалась вся городская молодежь. Это было место свиданий и знакомств, и там всегда бывало очень весело. Правда, мы ходили туда не столько для веселья и танцев, сколько для скандалов и для того, чтоб подраться. Драки были одним из наших излюбленных развлечений. Врагов, с которыми можно было драться, было много, но особенное удовольствие доставляли нам драки в парке с ворами из домашних, которых мы не терпели, главным образом, из-за их старания «разыгрывать из себя блатных». Эти воры всегда держались как-то особенно нахально и развязно, ухарями ходили перед девочками, старались щеголять блатными манерами, говорить на блатном жаргоне, одеваться по блатному и, наконец, подражать всему тому, что у каждого из нас было естественным, о чем никто не думал и даже не замечал. Одним словом, это были паразиты и каррикатуры преступного мира, только подрывавшие его честь. Зато им от нас и попадало и разделывались мы с ними беспощадно.

Отправившись в тот вечер в парк, мы чисто оделись и перелезать, как обычно, через обнесенный колючей проволокой забор нам на этот раз не хотелось и мы, в виде исключения, заплатили за вход, хотя по нашим правилам, за некоторые вещи, как бы дешево они не стоили и сколько бы

денег у нас не было, платить было не принято. Считалось «приличнее», перелезая через забор изорвать костюм, чем «зря» отдать тридцать копеек. Везде, где только путем ловкости и изворотливости можно было не платить, мы не платили. Так, например, в поездах и трамваях «полагалось» ездить даром, сколько бы денег у тебя в кармане не было.

На танц-площадку мы, конечно, прошли даром. Окружавший ее небольшой заборчик был расчитан на совесть публики и мы его легко перемахнули. Но танцевали мы недолго. Мишка встретил каких-то старых приятелей и все решили отправиться в духан. Мы уже собрались итти, когда, случайно оглянувшись, я заметил подходивших по боковой алее двух девушек. В одной из них я сразу же узнал выигранную мною студентку. При виде ее, меня словно что-то ударило в сердце и ко мне мгновенно вернулось то чувство, с которым я в эти дни думал о ней и ждал ее у стоянки трамвая. Я сказал товарищам, что остаюсь танцевать. Они стали уговаривать итти с ними, но к моему великому облегчению всё-таки ушли до того, как девушка успела их заметить. Я подумал, было, сразу подойти к ней и пригласить танцевать, но во время удержался, решив, что надо действовать осторожнее. Отойдя в сторону, я издали стал за ней наблюдать. Она то терялась среди танцующих пар, то снова проносилась совсем близко от меня. Выражение ее лица было совсем иным чем то, которое мне запомнилось. Ничего презрительного, высокомерного в нем не было. Она весело смеялась и смотрела открыто и приветливо. Мне стало тяжело. Я представил себе, как сразу изменится ее лицо, когда она меня увидит. Быть может, посмотрит брезгливо, с презрением, а может, просто, не подавая вида, что узнала, повернется и уйдет. И я уже хотел уйти, но что-то все-таки меня удержало. Захотелось во что бы то ни стало подойти к ней и встретиться взглядом.

В это время к студентке подошла другая девушка. Они обе, весело смеясь, пошли к выходу с танц-площадки. Я следил за ними: они взяли контрамарки и пошли вдоль по аллее. Я пошел за ними. Гуляя взад и вперед по аллее, девушки о чем-то оживленно разговаривали. Я стал за деревом и сердясь на мешавшую моим планам подругу, стал ждать, когда они поровняются со мной. Неожиданно всё сложилось удачнее, чем я ожидал. Девушки дошли до освещенного конца аллеи. К ним подошел какой-то парень и подруга побежала с ним обратно к танц-площадке. Моя студентка осталась одна и медленно пошла по дорожке. Не рассуждая, я быстро пошел ей навстречу. В аллее было темно, но на близком расстo-

нии лицо ее все же можно было разглядеть. Я остановился перед ней и, стараясь улыбаться самым приветливым образом, сказал:

— Мы, кажется, знакомы.

Девушка пригляделась, и по тому, как она вздрогнула и попятилась, я понял, что она меня узнала. Сухо бросив: «кажется», она круто повернулась и пошла к танц-площадке. От этого ответа мне почему-то вдруг стало весело.

— Не кажется, а наверное, — сказал я, идя с ней рядом.

Она не ответила, ускоряя шаг. Тогда я взял ее за руку и предупредил:

— Не кричите — хуже будет.

Но чтобы ее успокоить и в душе смеясь своим словам, я добавил: — Можете меня не бояться.

— Да что вам, наконец, от меня еще нужно?

— Причем тут еще? — улыбнулся я. — Я от вас кажется еще ничего не требовал. Мне ничего не нужно, просто поговорить хочется.

— А я не желаю с вами разговаривать. Отпустите сейчас же руку и убирайтесь вон.

— Боитесь? Неужели я такой страшный? — сказал я, смеясь, и понимая, что она теперь не убежит, выпустил ее руку. Я не ошибся, она только шагнула назад и резко спросила:

— Что? За благодарностью пришли? Думаете — спасибо скажу?

Этот тон мне понравился. Я понял, что не обманулся, что она именно такая, как я ее себе представлял и мне стало еще веселее. Но я только равнодушно пожал плечами.

— Сказал же — познакомиться хочу.

— Какая наглость! После того, что было... Да что я, дура? Думаете, не понимаю з а ч е м пришли? — Она сделала ударение на слове «зачем», и в упор глядела на меня.

Убедившись, что аллея пустынна (только в самом конце ее прогуливалась какая-то парочка), я быстро зажал ей рот одной рукой и, обхватив другой за талию, потащил ее в кусты. Протащив несколько шагов, я остановился.

— Если бы за т е м пришел, не стал бы попусту время тратить. Хотел бы — давно схватил. Можете итти, — и я отпустил ее и немного отошел.

Мы вернулись на дорожку. Она молчала.

— Убедились, что не за тем пришел? Может, пройдемся?

Мне хотелось пойти с ней в более уединенную часть пар-

ка, подальше от танц-площадки, где на каждом шагу могли встретиться люди.

Ничего не говоря, она кивнула головой. Мы пошли рядом. Насколько я мог разглядеть ее лицо, я заметил, что она смотрела на меня уже не так гордо и уверенно, а казалась растерянной, словно не зная, что ей делать. Мы прошли немного, молча.

— Погодка-то хороша! — чтобы как-нибудь завязать разговор, сказал я.

— Что вы меня все преследуете?

— Что значит «все»?

— Да и вы... и еще один.

— Кто один?

— Да тот... — она замялась, — что крикнул, чтоб адрес оставила. Несколько раз уже около дома ходил... выходить страшно.

— Теперь можете ходить. Не придет больше. Из наших теперь никто не тронет.

— Спасибо за опеку, — пожала она плечами и усмехнулась. — Ну, мне пора домой, — и она быстро зашагала вперед.

— И мне кстати тоже, пошли, — сказал я, ускоряя за ней шаг.

Мы вышли из парка. В надежде избавиться от меня, она подбежала к подходившему к стоянке трамваю, но я вскочил в трамвай вместе с ней и сел напротив нее. Всю дорогу мы ехали молча. Я видел, что ее тяготит мое присутствие и она старается на меня не глядеть, но места не меняет, понимая, что я, в свою очередь, тоже пересяду. Встретившись с ней глазами, я улыбнулся. Несмотря на заметное усилие сделать строгое лицо, она еле сдержала улыбку и отвернулась к окну. «Сдается, да не хочет показывать», подумал я. И на остановке вылез вместе с нею, услужливо предложив:

— Может, проводить?

— И без провожатых обойдусь, — сухо ответила девушка и пошла по улице. Но я не отставал.

— Время позднее, как бы чего не случилось... вдвоем-то как-то безопаснее.

— Это с вами-то? — вдруг засмеялась она.

«Смеется, стало быть не так уж сердится», подумал я и спокойно сказал:

— Говорил же, что можете меня не бояться... Можете довериться.

Мы остановились перед ее домом. Она быстро вытащила ключ и стала открывать дверь.

— Куда же вы так торопитесь? Давайте познакомимся.

Она обернулась.

— Да мы и так, кажется, уже знакомы... благодаря вашему нахальству... Чего же вы еще хотите?

— Да какое же это знакомство... давайте по-товарищески, — и я протянул ей руку. — Колька Туз.

Она нерешительно протянула мне руку.

— Туз? — сказала она. — Почему Туз?

— С детства такая кличка. А вас как зовут?

— Анна. Прощайте! — и она отворила дверь.

— Почему же прощайте?

— Ну, до свиданья, — сказала она в дверях.

— А мы встретимся?

— Встретимся. — И она захлопнула дверь.

Анна действительно училась в Цветмете. Почти ежедневно я стал ходить встречать ее после занятий и провожать домой. Вскоре она уже перестала меня бояться и дичиться, улыбалась мне и охотно разговаривала со мной.

Оказывается, мы были с ней однолетками, но уже в прошлом году она окончила десятилетку и теперь была на первом курсе Института. Отца у нее не было. Он умер, когда она была еще маленькой. Мать работала уборщицей на заводе. Была у нее еще старшая сестра, учившаяся в Москве в медицинском институте, на четвертом курсе, но когда ввели платное обучение и лишили студентов стипендии, сестре Анны пришлось бросить институт и поступить на работу. Анна же, окончив десятилетку отличницей, была обеспечена стипендией до первого экзамена.

Охотно отвечая на все мои расспросы о ней и о ее семье, Анна в то же время совершенно не расспрашивала меня. Больше того, я видел, что малейшее упоминание, хотя бы косвенное, о моей жизни и о той среде, к которой я принадлежал, были ей неприятны, и всегда переводя разговор, она сразу давала понять, что через определенную черту отношений она переходить не намерена. Иногда в разговоре у нее проскальзывало некоторое удивление, что я могу интересоваться вопросами, выходящими за пределы воровской жизни, но расспрашивать меня она ни о чем не решалась. По ее упорному нежеланию задавать мне какие-либо вопросы, можно было подумать, что она боится узнать, что я Бог весть какой злодей и преступник, и предпочитает не знать того, что не позволило бы ей продолжать наше поверхностное знакомство

и ничем ее не связывающие приятельские отношения. Но о настоящей дружбе не могло быть и речи.

Сначала я довольствовался совместными поездками в трамвае и был рад, что она позволяет мне провожать ее до дому. Но мне всё-таки хотелось сблизиться с ней и когда я чувствовал пролегшую между нами черту, мешающую сближению, мое самолюбие очень страдало.

Как-то, провожая ее домой, я решил сделать первый шаг к дружескому сближению и всю дорогу раздумывал, что предпринять. Назваться к ней в гости? Неудобно. Хотела бы — сама позвала. Пригласить в ресторан? Наверное откажется, да еще подумает, что споить ее хочу и непременно заподозрит в дурных намерениях. Обдумав все возможности, я остановил свой выбор на кино, решив, что такое приглашение не может ее оскорбить.

— Занята сегодня? — спросил я как можно развязнее, чтобы скрыть свое смущение, когда она протягивала мне руку, прощаясь у своего дома. — В кино сходить не хочешь?

— В кино? — удивленно посмотрела на меня Анна. — Нет, уроков много.

— Да сегодня суббота... завтра сможешь...

— Завтра тоже занята, другие дела есть, — проговорила она сухо, словно желая отделаться.

Но мне хотелось настоять на своем и вызвать ее на откровенность.

— А когда же ты свободна будешь? — спросил я.

— Что ты приставать начинаешь? У меня вообще свободного времени нет. Занятия, общественная работа... — и в голосе ее послышалась досада.

— Брось голову морочить, вижу, что не хочешь. С хулиганом связываться боишься! — начиная горячиться, с вызовом сказал я. — А коли так — говори прямо.

Я видел, что вопрос мой ей неприятен. Мгновение она помолчала.

— Захочу — вообще говорить с тобой не буду, — раздраженно сказала она. — Что я тебе отчетом, что ли, обязана? Не хочу, да и только.

— Стало быть брезгуешь? — пристально глядя на нее, повторил я, и почувствовал, как кровь бросается мне в лицо. Ответ Анны должен был решить всё, и я знал, что чтобы она ни ответила словами, если в глазах ее я прочту «да», то дорого отплачу за обиду. Меня охватило безумное желание отомстить ей, отомстить за всё разом, за сегодняшнее, за

прошлое на Тереке, за будущее, за всю жизнь; именно ей, за то, что не сумела понять и оттолкнула.

Может быть она почувствовала что во мне происходит, может быть, испугалась. Ничего не отвечая, она как-то странно глядела на меня. И вдруг, вместо ожидаемого мною резкого ответа, она улыбнулась и тихо сказала:

— Ну, зачем ты так говоришь!.. и не смотри так... будто съесть хочешь! Причем тут «брезгаю»? Смешной ты... Тебе слово скажешь, сразу на дыбы!.. и всегда крайности... Если бы брезговала, не позволила бы провожать каждый день... Не в этом дело...

— А в чем же?

— В чем? — переспросила она, задумываясь. И после короткого молчания, прямо глядя мне в глаза, сказала: — Не хочу, чтобы ты такой был... тяжело мне, что ты такой! Ты можешь другим стать... Переделайся.

— Переделайся и тогда приходи — да? — И я вдруг засмеялся, и смеялся долго, не в силах остановиться, вспомнив Мишку, бегавшего на свидания с чертежами. «Неужто и мне чертежей не избежать?» — промелькнуло в голове и я еще пуще засмеялся.

— А что, Анна, если с чертежами на свидание приду — тогда как? Пойдем в кино?

Она удивленно посмотрела на меня, не понимая ни перемены моего настроения, ни причины моего смеха.

— Какие чертежи? Что ты чушь несешь! — сердито проговорила она. — И перестань смеяться, ничего тут смешного нет! — и вдруг почему-то сама рассмеялась.

С этим ее смехом всё тяжелое, нехорошее неожиданно спало с души, и я вдруг почувствовал себя свободно и легко.

— Переделайся — тогда приходи! — сказал я, беря ее за руку. — Эх, Анка, думаешь, вора так переделать можно? Хуже будет... Оттолкнешь только навсегда! Есть душа — так помоги переделаться!.. — И я рассказал ей все то, что уж так давно хотелось ей высказать. Сказал, что нашел в ней то, что давно искал, объяснил почему меня так к ней тянет, и как она мне нужна.

Уже давно стемнело, а мы всё ходили взад и вперед по улице и говорили без конца. Разговор наш кончился на том, что Анна позвала меня к себе на следующий день, и мы расстались друзьями.

На утро, одеваясь, я заметил, что штаны мои все измяты, а рубашка грязная. В таком виде в гости, а тем более к Анне, итти никак было нельзя. Запасных вещей у меня никогда не

бывало. Одежду я носил до износа и только тогда искал себе новую. Правда, Олька иногда доставала из под кроватей, куда мы обыкновенно закидывали непригодные вещи, наше грязное белье, и стирала его на нас с Мишкой. Я заглянул в комод, но он был пуст. Тогда я позвал Ольку и попросил ее поскорее постирать мне рубашку и выгладить штаны. Искоса метнув черным, злым глазом, она резко ответила:

— Отнеси своей милой. Я те не батрачка.

Все последнее время я был настолько поглощен Анной, что об Ольке совсем забыл, и мне казалось, что она так же мало интересуется мной, как и я ею. Слова доказывали обратное. Ясно было, что заметив мою рассеянность и безразличие, она проследила меня и теперь злилась. Главная обида, конечно, была в том, что я променял ее на домашнюю. Будь Анна воровкой, Олька не чувствовала бы себя настолько оскорбленной. Не желая вступать в пререкания, я шутливо бросил — «И отнесу!» — и пошел к Мишке, который еще недавно хвалился какой-то необыкновенной шелковой рубашкой, купленной у спекулянта. Мишка охотно согласился мне ее дать, однако строго приказав хорошенько вымыть шею. Надев необыкновенную рубашку, я долго вертелся перед зеркалом и даже примерил Мишкин галстук, который он надевал в самых парадных случаях на свидания. Но в галстуке я себе решительно не понравился. Расправив воротник, я стал старательно причесываться. Всё это было настолько необычно, что Мишка несколько раз подозрительно косился на меня и, наконец, спросил:

— Ты куда это, Колька, нацелился?

— В кино, — равнодушно ответил я, выходя из комнаты и услышал, пущенный мне вслед, странный, ни на что не похожий звук, красноречивее всяких слов доказывавший, что Мишка мне нисколько не верит.

Анна просила притти под вечер. Из дому я вышел слишком рано. Шатаясь по улицам и не зная, как убить время, я мысленно перебирал всё, о чем хотелось ее спросить и ей сказать. Вдруг мне показалось, что являться к ней с пустыми руками неудобно. Что-то необходимо принести. Но что? Я никак не мог придумать. Одета Анна была очень бедно, всегда в одном и том же выцветшем и заштопанном платье. Сумка у нее была старая, потертая. Я вспомнил, как на улице, в трамваях, на танц-площадке девочки всегда с завистью поглядывали на Юлькины шелковые чулки и платья. Так одеваться, как Олька, могли только жены шишек да воровки. «Хорошо бы Анну так одеть» — подумал я. Но я почему-то был уве-

рен, что если я что-нибудь принесу, Анна откажется, да еще обидится, скажет: «краденое», и я решил лучше не рисковать. Водку и закуску? Тоже опасно. Еще выгонит. Но что-нибудь понести мне хотелось и, наконец, меня озарила блестящая мысль.

В большом саду, расстилавшемся за домом, где когда-то жил мой отец, было много фруктовых деревьев, и я еще с детства знал, на каких деревьях растут самые хорошие груши и яблоки. Мне особенно хорошо запомнилось одно дерево, на котором были редкого сорта груши, которых нигде в городе не было. И я быстро направился к «своему» дому. Сад этот я всегда считал своим, так же как и всё то, что в нем росло. «Собственные» да еще и замечательные груши — лучшего для Анны подарка, казалось, нельзя было и придумать. Тут уж не придерешься и не скажешь «краденое!» В прошлые годы, когда я не раз перелезал через стену и забирался в «свой» сад, чтобы нарвать фруктов, мне всегда было приятно, сидя на дереве, думать, что я рву и ем не чужие, а свои собственные груши и яблоки, те, которые я любил еще в детстве. Здесь, за оградой сада, был тот мир, к которому я когда-то принадлежал и на который имел право. Что-то хорошее согревало мне душу, когда я бродил по хорошо мне знакомым дорожкам — многое в саду изменилось, но многое оставалось по старому. Я влезал на большую яблоню, с развесистыми, низко согнувшимися ветвями, под которой когда-то играл в детстве. Та острая боль которую я испытал, когда после нескольких лет впервые набрел на дом, узнал его и забравшись на стену, заглянул за ограду, уже сгладилась, притупилась. Правда, мне всегда становилось грустно, когда из другого конца сада раздавались вдруг незнакомые голоса и слышались приближающиеся, чужие шаги. Тогда я сразу возвращался к действительности и вспоминал, что я здесь чужой. Уходя, я говорил себе, что никогда сюда больше не вернусь. В эти минуты что-то злое и мстительное просыпалось во мне. Но проходило время и меня снова тянуло обратно в сад.

Сделав из газеты кулёк, я быстро перелез через ограду сада, нарвал самых лучших груш и отправился к Анне.

Дверь мне отворила сама Анна. Входя в маленькую темную переднюю, я увидал, через открытую в комнату дверь, сидевшего на диване парня. Его присутствие мне сразу же не понравилось; оно расстраивало все мои планы и я тут же решил, что Анна моих груш не получит. Бережно положив свой кулёк на стол в передней, я прошел вслед за Анной в комнату.

— Алеша, познакомься, мой приятель, Колька, — сказала Анна. Алеша приветливо улыбнулся и, поднявшись, протянул мне руку. Я оглядел его и нехотя пожал протянутую мне руку. Анна слегка подтолкнула меня локтем и весело проговорила:

— Колька парень толковый, из него хороший комсомолец выйдет, только вот взяться за него надо.

— Точно! — пренебрежительно разглядывая Алешу, усмехнулся я. — Хороший комсомолец-то выйдет, а Колька Колькой останется! — Анна с беспокойством, а Алеша озадаченно, посмотрели на меня.

— То-есть как это понимать? — спросил Алеша.

— Понимай, как знаешь! — резко ответил я.

Почувствовав мое воинственное настроение, Анна поспешила перевести разговор, заговорив с Алешей о своих комсомольских делах. Пока они говорили, я разглядывал Алешу. Он мне решительно не понравился. Не нравился маленький рост, вздернутый нос, быстро бегающие глаза, улыбка, прыщи на щеке, курчавые волосы. Затем я принялся осматривать комнату, небольшую, тесную, очень просто обставленную, но светлую и чистую. В переднем углу я заметил маленькую иконку, что меня удивило. Я уже знал, что Анна комсомолка, да еще активная. Я снова перевел глаза на Алешу. Слушать мне его было очень скучно. Он без умолку болтал и Анна оживленно подхватывала, несколько раз пытаясь и меня втянуть в их разговор. Но я отмалчивался. Они говорили о каком-то докладе, который какая-то неизвестная мне Маша должна была прочесть в Институте на следующем комсомольском собрании, затем они неожиданно перешли на какие-то строющиеся в Сибири заводы. И я никак не мог понять, какое им дело до этих заводов и почему они ими так интересуются. Мне это было чуждо и непонятно.

Иногда мне хотелось высказать свое мнение, поспорить с ними, но я чувствовал, что у меня не хватит слов и доводов, чтобы защитить свою точку зрения и что всё, что я скажу, будет некстати, и не потому, что я глупее их, а оттого, что по существу я мало что знаю. К тому же, я привык говорить грубыми, отрывистыми словами, как говорили все мы, в нашей среде, а здесь это было бы тоже не к месту. Я смотрел на Анну. У нее было совсем не то выражение лица, которое я привык видеть, когда мы были вдвоем. Она держала себя с Алешой просто, естественно и оживленно, весело смеялась. «Как ей должно быть скучно бывать со мной», думал я, «О чем ей со мной, бродягой, жуликом говорить?» И невольно

сравнивая себя и Алешу, я понимал, что сравнение это для меня невыгодно. Знакомое чувство раздражения уже закопошилось во мне. С усилием переборов себя, я тут же дал себе слово, что не окажусь в таком глупом положении и непременно заткну Алешу.

Алеша всё продолжал говорить и уходить как будто не собирался. Не будь мы у Анны, я просто вытолкал бы его в шею, но здесь это было невозможно. Я решил выжить его иным способом. Я стал глядеть на него волком. Каждый раз, что он мельком взглядывал на меня, я придавал своему лицу самое свирепое выражение. Это подействовало и он всё чаще стал искоса посматривать в мою сторону.

Анна встала и пошла на кухню поставить чай. А я нарочно стал расхаживать по комнате и, проходя мимо Алеши, сощурив глаза и презрительно усмехаясь, обмеривал его пренебрежительным взглядом. Алеша, должно быть, сообразил кто я, — по моему виду догадаться было не трудно — и он заметно заерзал на стуле и, наконец, не выдержав, поднялся и вдруг так и остался стоять с удивленной физиономией; в углу стены на пестром фоне обоев темнела икона. По недоумевающему выражению его лица, я понял, что он только сейчас ее заметил.

— Анна! Это ты что-ль, на Бога молишься? — насмешливо крикнул он.

— Мама, — протянула Анна из кухни. — Несколько раз снимала, а она всё обратно вешает. Не перевоспитаешь! — и Анна вошла в комнату.

— А я уже думал, что ты лбом поклоны отбивать стала! — с усмешкой продолжал Алеша.

— А тебе какое дело, кто тут молится? — сказал я. О Боге все мы имели примерно такое же представление, как негры о полярных льдах, но я сразу же ухватился за возможность сорвать накипавшее во мне раздражение. — Чего ты на Бога пальцем тыкаешь? На тебя, что ль, молиться прикажешь? Подумаешь! Комсомолишка! — сказал я, стараясь вложить в последнее слово как можно больше презрения.

Алеша остолбенел. Анна вспыхнула, но не успела ничего сказать, как из соседней комнаты послышался голос:

— А ну, кто это там за Бога заступается? Дай-ка я на него посмотрю! — и в комнату торопливо вошла маленькая, сухая женщина, с сияющей улыбкой на морщинистом лице.

— Вот он какой заступник-то! — сказала она, оглядывая меня с головы до ног. — Правильно, голубчик, пра-

вильно... А то они меня, нехристи, совсем заели. Дочь и та загрызть рада... Анна, — повернулась она к дочери, — да кто же это? Это и есть грабитель? Да какой же он хулиган?.. Парень как парень...

— Ах, мама, я же в шутку... — недовольно проговорила Анна. — Совсем он не грабитель... ничего ты не понимаешь! Иди себе, вяжи... А ты, Колька, лучше молчи! — нахмурившись, сухо сказала она. — Мне и без того ее перевоспитать трудно, а ты еще масла в огонь подливаешь!

После вторичной просьбы Анны, мать ушла к себе в комнату. Но из-за двери еще слышалось ее бормотанье: «Перевоспитать... нехристи... заели...»

— Ну, я пошел. Где книги?—заторопился вдруг Алеша.

— А чаю не хочешь? Нет? Сейчас дам, они у меня там... — и Анна пошла вслед за Алешой в переднюю, притворив за собой дверь. Оттуда до меня доносился их шопот. Всего расслышать я не мог, но ясно долетали отдельные слова: «Обработать... тот самый... пример... наша обязанность...»

«Ага, вот зачем стало быть, вызвала! Ну посмотрим, кто кого обработает!» думал я весело расхаживая по комнате. И предполагая, что Анна немедленно примется меня «обрабатывать», уже мысленно готовил отпор.

Анна вернулась, сказав, что сейчас будем пить чай.

Я вдруг вспомнил о грушах. И в надежде, что они восстановят мир и согласие, быстро вскочил и пошел за ними в переднюю. Груши, действительно, произвели ожидаемое мною впечатление. К тому же Анна верно решила, что сердиться на меня не к чему.

— Ой, какие вкусные! Признайся, где спёр? — надкусив грушу, весело подмигнула она.

— Грушки первый сорт! Из собственного сада.

— Знаем мы вашу собственность! Куда ни залезете — везде собственное, — с добродушной усмешкой ответила Анна.

— Не хочешь — не верь, а груши мои... отцовские. — Сказав «отцовские», мне тут же показалось странным, что я, не задумываясь, сказал то, о чем никогда и ни с кем не считал возможным говорить.

Анна хотела было что-то ответить, но вдруг, словно только что поняла смысл моих слов, отложила грушу и с любопытством уставилась на меня.

— То есть как?

— Мои груши.

— Как твои? — продолжала она глядеть на меня с не-

доумением. — Значит у тебя есть отец, дом, семья, а ты... — и она заговорила быстро, с жаром, сбивчиво, путаясь в словах. — Я думала ты такой... бродяга... сам не знаешь, кто и откуда... или по нужде, сбился с пути... один... а ты...

— И семья, и дом, и сад, и всего по горло, а грабежами занимаюсь, — с усмешкой сказал я. — Хорош фрукт получился, а? Шесть лет мальчишке было, на всё плюнул, воровать пошел. Своего, дескать, мало — чужого захотел? Ловко ты рассуждаешь... — и я уже со злобой глядел на нее.

Но Анна сразу всё поняла.

— А где твои родители?.. умерли? — тихо спросила она.

— Мать не знаю. А отец, небось, в Сибири елочки подпиливает... коль не загнулся. Да дело прошлое, бросим об этом, не для того я к тебе пришел...

Анна пристально посмотрела на меня.

— Колька, почему ты не хочешь мне сказать? Ты никогда о себе не говоришь, я же ничего не знаю.

Мне сначала захотелось грубо обрезать и переменить разговор, но неожиданно для себя, я, помолчав, стал ей рассказывать об отце, о том, как попал в детдом, о беспризорной жизни, о товарищах, и уже не мог остановиться. Одно воспоминание сплеталось с другим, хотелось говорить еще и еще — может быть только потому, что я никогда никому об этом не рассказывал.

Сидя в кресле, поджав под себя ноги, Анна слушала, не перебивая, не останавливая, рассеянно вырывая пробивавшийся из дырок обивки войлок. Иногда, приподняв брови, она чуть заметно хмурилась, недоверчиво взглядывая на меня, или щурилась, стараясь что-то сообразить и я видел, что то, о чем я говорю, ее очень интересует и ей мало известно. Рассказывая о своей жизни за последний год, я невольно увлекся описанием наших отчаянных похождений.

— Погоди! — перебила вдруг она. — Я одного не пойму. Ты, вот, говоришь, что учился, читал, что воровская жизнь надоела. А зачем же ты опять в эту жизнь пошел? По рассказам-то что-то незаметно, что надоело. Не разберешь, чего ты хочешь?

— Тогда весело было, вот я весело и рассказываю. Но не всегда же весело. А когда знаешь, что то же самое будет всю жизнь изо дня в день — поневоле станет скучно. Вот и захочешь уйти.

— А коли скучно, так уходи, кто тебя задерживает, — иронически усмехнулась Анна.

— А свобода? — с такой же усмешкой ответил я.

Анна махнула рукой, глубже уселась в кресло, всем своим видом показывая, что всё то, что я говорю, настолько несерьезно, что и отвечать нечего. Но мне не хотелось кончать разговор. Я знал, что она активная комсомолка, но сущности ее взглядов не знал и мне хотелось узнать, что она в глубине души думает? Я хотел задать ей вопрос, но Анна меня предупредила.

— Ты уже мне не раз свои соображения высказывал и всё это выдумка! Да выдумка! Просто приятнее бездельничать и за счет других паразитом жить. Иначе, как же это ты снова мог к этой жизни вернуться? Ты же должен понимать, что значит вором быть... Ведь это позор... — Она запнулась, как будто ища еще более обидного слова. Но мне нисколько не было обидно, только смешно.

— Причем тут позор? Я, воруя, рискую лагерем и даже жизнью, а тот у кого краду, только барахлом да деньгами. А что деньги? Бумажки! А у меня самое дорогое — отца украли. Какие же мы воры, я да товарищи? Всех нас обокрали, мы только свое обратно берем. А те, что в моем доме живут — не воры? Почему же нас обокрасть можно, а нам нет? Деньги красть позор, а родителей у детей— не позор? Нет?

— У тебя всё наизнанку, с тобой говорить трудно, — вскинула плечами Анна. — По твоему, если у меня жулики ограбят квартиру, я могу, значит, грабить соседей? Ничего себе логика!

— Это ты дурацкий пример приводишь. Что ты теряешь, если у тебя квартиру ограбят? Вещи да деньги. И только. А у нас украли не вещи, а родных, всю жизнь украли! Если бы мы сами о себе не позаботились, были бы мы живы, или нет? У кого нам было искать защиты? Тебя охраняет какой-то закон, у тебя есть кому пойти пожаловаться, а у нас...

Не отвечая, Анна как-то странно, полу-вопросительно, полу-недоверчиво смотрела на меня. А я всё более и более горячился.

— А во-вторых, — говорил я, — когда один одного обкрадывает — одно дело! Судья скажет — ты украл, ты вор, по закону тебе столько-то лет. А нас? Нас же сама власть обокрала, те, кто законы делают. А раз так — так и закон этот к чорту и никто нас не в праве судить.

— Положим, что твоего отца арестовали и конфисковали всё, что у вас было. Но ведь, может быть, он действительно был в чем-нибудь виноват и его справедливо осудили? — проговорила Анна. — Ты же ведь ничего этого не знаешь!

И говорить о том, что тебя... — Но как ни осторожно говорила Анна, стараясь не обидеть и не задеть меня нечаянным словом, я слишком хорошо ее сразу понял и не мог уже не сердиться.

— А где его судили? Когда? — резко закричал я. — Каким судом? На сколько лет? Где доказали, что он виноват? Говори! — и я через всю комнату швырнул чайную ложку, которую уже давно вертел в руках. Ложка со звоном ударилась о комод, отскочила на пол. Стало легче и, понизив голос, я заговорил уже спокойнее.

— И даже если он был виноват, за что я-то должен был с голоду подыхать? А? А ведь таких, как я, очень много, Анна, тысячи, миллионы, и каждый может тебе задать этот же вопрос, за что он подыхает?

Уже давно смерклось. Анна молчала и закинув голову на спинку кресла, не глядя на меня, о чем-то думала. Я видел только неясные очертания ее фигуры и закинутой головы. В тусклом свете, скупо проникавшем через окно, темными пятнами выступали листья большого фикуса и горшки с цветами на подоконнике. В комнате было совсем тихо. Только издали доносился гул Терека и было слышно, как кто-то во дворе звенит ведрами. Никто из нас не прерывал молчания. Посидев немного, Анна встала и зажгла лампу. Мы посмотрели друг на друга и невольно улыбнулись. Анна собрала чашки и пошла на кухню. Я видел, что слова мои задели ее, и разговор наш не кончен; что она к нему еще вернется, чтобы настоять на своем. Вернувшись, взяв чайник, она хотела снова уйти, но мельком взглянув на меня, остановилась.

— Когда, вот, ты говоришь всё это, ты всё хочешь себя оправдать... Я знаю, ты себя нисколько не считаешь виноватым, даже наоборот. Знаю, что ты так думаешь, а это не так, это не правильно. И не уходишь ты из этой твоей жизни, несмотря на то, что говоришь, что скучно, надоело, не из-за свободы и других там соображений, а потому, что ты озлоблен, именно озлоблен. Сделали, мол, из меня бродягу, вот я на зло вам и буду таким, и переделываться не хочу!.. Ты привык считать себя обиженным и полюбил эту свою обиду, тебе и трудно с ней расстаться. А заживешь по новому — некого будет винить и ненавидеть. Может я и ошибаюсь, но мне так показалось, когда ты говорил о себе.

— Пусть даже и так. что же из этого? К чему ты клонишь?

— Как к чему? — живо проговорила Анна, и сдвинув брови, быстрым движением откинула выбившуюся на лоб

прядь волос. — К тому, что ты должен же из этого выйти, Колька!.. Подумай, ведь мы новую жизнь, Колька, строим! — и глаза ее заблестели, она заговорила горячо, с жаром. — А когда строишь, то и ошибки бывают. Сама знаю, что много еще есть несправедливого, жестокого даже... но без этого нельзя! Для такого великого дела, как наше, должны же быть жертвы... Иначе, Колька, мы ничего не построим, на пути завязнем. Лес рубят, щепки летят!

— Что ж я по твоему щепка, что ль? Да ты полтинникито свои раскрой, погляди сколько щепок-то? С тех пор, что себя помню — щепки летят — а для чего? Для какого-то там счастливого будущего, которое и через сто лет не улыбнется!.. Спасибо! Вы себе строите, а мы, щепки, отлетели в сторону и подбирать нас нечего!

— Ах, Колька, зачем ты так говоришь! — с упреком воскликнула Анна и поставив чайник на стол, снова села в кресло. — Если на всё смотреть с недоверием, да с ненавистью, ведь ни другим, ни себе легче не станет. Сейчас, Колька, надо стиснуть зубы да и итти к своей цели. А цель наша общая. Для блага страны мы строим, Колька, и если от нас потребуются жертвы, мы должны их приносить. Я уверяю тебя, когда все это поймут, не будет больше несправедливостей и ошибок.

— А жертвовать для кого прикажешь, для шишек, для Кремля? Одни карманы набивают, а другие голодное брюхо чешут, пояс подтягивают — к счастливому будущему готовятся... Знаю, и тем и другим попадает. В 37-ом году верхушку тоже тряхануло и хоть они может не виноваты были, да подыхать не так жалко — в свое удовольствие пожили! А рабочий что? Жил — лямку тянул, в переплет попал — тоже тянет, грехи искупает, а какие грехи и сам не знает. Нет, коли хочешь, жертвуй, а мое дело, Анна, маленькое, отлетел щепкой и жить хочу! Попадусь им — всё равно крышка, да хоть буду знать за что: жизнью, по крайней мере попользовался.

— Почему ты, Колька, только плохое видишь? Ведь хорошего, Колька, больше, — тихо проговорила Анна. — Посмотри кругом себя. Ведь советская власть народу очень многое дала. Она нам всё дала! Возьми хоть нашу семью, моя мать уборщица, неграмотная, а я инженером выйду. Ты читал, как до революции рабочие жили? Я об инженерстве и мечтать бы не смела. А моя сестра тоже почти доктором стала.

— «Почти», — усмехнулся я.

— Что ж и правильно, что «почти», — с раздражением вдруг крикнула Анна, точно я коснулся ее самого больного места. — Надо оправдывать заботу и доверие власти! Раз она дает нам возможность учиться — так учись. Моя сестра хоть и не была отличницей, училась хорошо, а многие злоупотребляли — зря стипендии получали. Только деньги переводили, а стране деньги нужны... — помолчав, она уже спокойнее добавила: — У меня в Институте подруги есть, из колхозов приехали, родители колхозники, а они будущие инженеры. Отец Алеши до революции простым рабочим был, а теперь на том же заводе парторг, а сын инженером выйдет. У нас нет классов, для всех дорога открыта и всё нам дается, чтобы людьми стать. Я, вот, институт кончу и знаю, что сразу буду обеспечена работой, а работа моя будет для всей страны. Мы все строим будущее нашей страны, мы...

Анна еще долго готова была продолжать в том же духе. Но всё, что она говорила, я уже много раз слышал в школе и на комсомольских собраниях. Правда, я видел, что Анна действительно всему этому искренно верит и говорит искренно, но мне вспомнились Иван Михайлович, Володя, его отец и что-то в ее словах больно укололо меня при мысли, что этих близких мне людей, оставивших такой хороший след в моей жизни, Анна считает щепками, необходимыми жертвами ради какого-то будущего. Я не выдержал.

— Ты для чего мне всё это говоришь? Боишься, что продам, что ли? — проговорил я, засмеявшись.

— Как продашь? — недоуменно спросила Анна.

— Думаешь, с сэкалом дело имеешь? Пойду в стервяжку дуну?[1]

— Говори по-человечески — ничего не понимаю, — нетерпеливо крикнула она.

— Ну, думаешь, донесу, что ль, сексот я?

Анна вспыхнула.

— Я всегда говорю только то, что думаю! — возмущенно воскликнула она. — И ты прекрасно знаешь, что многое из того, что я тебе сказала, другим бы говорить не стала.

— Да ты говори от себя. А то преподносишь то, что на плакате читаешь! Думаешь, интересно?.. Щенок ты...

Анна рассердилась, покраснела и неизвестно, чем бы всё это кончилось, если бы в комнату не вошла мать. При матери она спора продолжать, видно, не хотела и сразу переменила разговор.

---

[1] Стервяжка — милиция, дунуть — донести.

Возвращаясь поздно вечером домой, я чувствовал какой-то небывалый прилив бодрости и радости. Анна нравилась мне еще больше, чем прежде. Что-то в моей жизни словно переменилось и мне казалось, что она будет теперь несравненно полней и интересней. На душе было так весело, что захотелось как-нибудь излить избыток своей радости. Достав из кармана рогатку, с которой я с детства не расставался, я стал на ходу стрелять по фонарям. Благодаря многолетнему опыту, стрелял я очень ловко и с первого раза попадал в цель. Лампочки с треском лопались, разлетались осколками и по мере того, как я шел, улицы одна за другой темнели, а на душе становилось всё веселее.

Когда я вернулся, в квартире было темно и тихо, только звучный храп нарушал тишину. Мне почудилось, что он доносится из моей комнаты. Я потихоньку открыл дверь. Так и есть! Кто-то сопя и присвистывая на все лады, храпел в моей кровати. Лунный свет освещал стоявший посреди комнаты стул и висевшие на нем мужские штаны. На полу валялись большие башмаки. У меня отлегло от сердца. Еще по дороге я обдумывал, как бы отвязаться от Ольки и боялся, что задача окажется нелегкой. Но теперь всё само собой разрешалось. Олька повидимому, решила мне отомстить и какой-то счастливый соперник уже занимал мое место. Хоть я этому и обрадовался, но соперника всё же следовало наказать за дерзость. Я снял башмаки, на цыпочках подошел к стулу, завязал в крепкие узлы штаны и рукава рубашки, пошел окунуть их в соседней комнате в ведро — узлы, засыхая, становились крепче и их гораздо труднее было развязать — и положив всё обратно на стул, отправился спать к Мишке.

Но Мишке мое вторжение не понравилось.

— Куда лезешь! И без тебя тошно... пошла! — спросонья бормотал он, ударив меня локтем в грудь с такой силой, что будь я действительно существом женского пола, наверное очутился бы в противоположном углу комнаты.

— Это я, Мишка, двигайся! — засмеялся я.

— А ты чего прешься? — совсем рассвирепел Мишка.

— С Олькой в контре. Другого в кровати баюкает. Знаешь ведь, чего притворяешься?

— Ну, лезь! Знаю... разобраться надо... — смягчился Мишка и подвинулся.

— Завтра разберемся. Надоела, давно спустить хотел, случай на руку, — проговорил я.

Мишка ничего не ответил и засопел. Я лег рядом с ним.

Утром меня разбудила страшная ругань в соседней ком-

нате. Кричала Олька и свирепо ругался знакомый мужской голос. Я сразу же вспомнил про свои узлы. Прислушался — оказалось действительно узлы. Мужской голос ругал Ольку, а она кричала, что всё это Мишкины штучки. Внезапно дверь с шумом распахнулась и в нашу комнату, ожесточенно размахивая связанными штанами, влетел разъяренный Жорка. Я быстро сунул голову под одеяло.

— Ты, дьявол, шкэры[2] завязал! — налетел он на мирно спавшего Мишку.

Мишка подскочил на кровати.

— Какие шкэры? Пошел к чорту, спать не мешай!

Но Жорка не отставал.

— А кто узлы закрутил? Спроси свою бабу! Она закрутила! — орал Жорка.

Услыхав про «бабу», Мишка бесцеремонно толкнул меня ногой.

— Какая тут баба? На, пощупай! Колька, дай ему по сусалам, пускай женского понюхает!

Я высунул голову из под одеяла. Увидав меня, Жорка мгновенно успокоился и перестав махать штанами, смущенно проговорил:

— Ты, Колька, не обижайся, это по согласию произошло. Олька в расстройстве, говорит, что порвала. Ты с ней как? Совсем кончил?

— Не кончил бы — двух приколол.

— Ну да. Закон знаю! — сконфуженно промямлил Жорка.

***

Я почти каждый день стал бывать у Анны. У меня всегда была тяга к семье. Я и раньше охотно бывал у своих товарищей домашних, но как бы хорошо ко мне ни относились, я всегда испытывал неловкость, боялся стеснить и никогда не мог забыть, что дом мой — улица. Теперь же ничего этого не было, и мне уже казалось, что и Анну, и ее мать я знаю давным давно. Они меня нисколько не стеснялись и скоро я тоже перестал их стесняться. Когда я приходил, они всегда были мне рады; если я мешал — просили уйти, а если поздно засиживался — гнали спать. Говорили они при мне обо всем совершенно открыто (правда, и раньше, где бы я ни бывал, меня никто не опасался, в этом отношении «честность» нашего мира была всем известна) и я был в курсе всех их

[2] Шкэры — штаны.

семейных дел. Часто они просили куда-нибудь сбегать, что-нибудь купить. Времени у меня было много и я сам всегда вызывался им помочь, чему мать Анны всегда была очень рада. В особенности, когда я избавлял ее от необходимости простаивать после работы в очередях. Помогать ей в этом мне было не трудно. В очередях я, конечно, и не думал стоять, а решительно проталкиваясь вперед, проходил в магазин. За такую проделку несколько лет тому назад, я бы по меньшей мере отделался измятыми боками, но теперь я был взрослый и узнать нашего брата, хотя бы по внешнему облику, было нетрудно. Публика ругалась, грозила, но я преспокойно покупал всё, что мне было нужно.

Однако, мне было поставлено строгое условие: не воровать и на краденые деньги ничего не покупать. Покупать разрешалось только на деньги, которые они мне давали. Но денег мне давали так мало, что я не раз удивлялся, как Анна с матерью ухитряются прожить. Стипендия Анны была 80 рублей, мать зарабатывала 150. После всевозможных недобровольных и «добровольных» вычетов — налоги, займы, комсомольские взносы, Мопр и т. д. — у них оставалось около двухсот рублей в месяц. Ели они всегда одно и то же — борщ на костях, картошку с селедкой, изредка кашу с салом. Мясо покупали только раза два в месяц. И всё же на питание уходило две трети денег, а остальных еле хватало на оплату квартиры, воды, электричества, керосина. Зиму они всегда ждали с трепетом, ибо с наступлением холодов приходилось покупать уголь, а стоил он дорого и выдавали его очень мало.

Желая хоть чем-нибудь отплатить им за их хорошее ко мне отношение, я всегда старался найти какую-нибудь уловку, чтобы обойти поставленное мне условие и вскоре усердно взялся за дело «снабжения». У Анны был старый мужской велосипед, и я отправлялся на нем под вечер за город, в ближайшие колхозы. Первый раз, когда я привез оттуда мешок картошки, мать Анны сначала было рассердилась, но узнав, что картошка собрана с колхозного поля, сразу успокоилась.

— Правильно, сынок, всё равно государственное. Убытка никому нет, а добро даром пропадает. Валяй, тащи, только не попадайся! — и она показала мне чуланчик, куда ссыпать картошку.

— А что же вы, мамаша, давеча-то ругались, когда я из магазина сахару принес. Магазин-то ведь тоже государственный!

— Э, нет, сынок! — живо ответила мамаша, подбирая рассыпавшуюся по полу картошку. — Продавцы-то наши

люди — в ответе будут, а товара у них кот наплакал. А колхозы что? На полях всего много пропадает, а куда идет — Бог знает. Тащи не тащи, колхозник всё равно своего не получит... Так ведь?

Всегда пустовавший чуланчик моими стараниями скоро наполнился. Я тащил всё, что попадало под руку — картошку, яблоки, кукурузу, муку, сало а иногда привозил даже кур. Анне я сказал, что у меня есть хороший знакомый председатель колхоза, и ввиду того, что председатели колхозов жили в полном довольстве и пользовались колхозным добром как хотели, мои объяснения показались ей вполне правдоподобными. Таким же образом, таская ночью с вокзальных складов уголь, я сделал им запас угля. Из всего, что я приносил, больше всего радовал мать керосин. Его я доставал при помощи отмычки из знакомого мне еще с детства склада. На керосин в городе был большой спрос, потому что почти все готовили на примусах. Когда было известно, что в каком-нибудь магазине будет продаваться керосин, в очередь становились еще с вечера, накануне. Каждый приходил со своей банкой и с кирпичом. На кирпиче и на банке мелом писали номер и ставили кирпич в очередь, что позволяло не стоять самому всю ночь на одном месте. Кирпичей этих тянулась обыкновенно целая вереница, во всю улицу, а публика разгуливала рядом или сидела на тротуарах, издали сторожа свой кирпич, чтобы его «случайно» не оттеснили к хвосту или вовсе не выкинули из очереди. Подобные «случайности» бывали часто. Зазеваешься, а на утро и нет твоего кирпича. Тут уж никакой номер на банке не поможет! Кричи не кричи, что с вечера пришел, скажут подделал номер. Но очереди с кирпичами были возможны только далеко от центра, где бывало меньше милиционеров. В центре дело обстояло сложнее. Становиться перед закрытым магазином запрещалось, милиционеры разгоняли очереди и приказывали убирать кирпичи. Но и тут публика всё же на авось становилась ночью в очередь, и если утром показывался милиционер, всем приходилось волей неволей расходиться и прятаться в подворотнях соседних домов, в ожидании открытия магазина. Когда магазин открывался, со всех концов улицы публика, сломя голову, с криками и воплями — которыми особенно отличались старушки, неизбежно остававшиеся позади — летела на перегонки и у входа в магазин образовывалась общая свалка. Слабых оттирали в сторону, а самые бойкие и прыткие протискивались вперед. В эту-то кучу и ныряла наша братия.

Не знаю, насколько Анна верила рассказам о моих об-

ширных знакомствах, позволявших мне так обильно снабжать их продовольствием. Во всяком случае она не раз, в шутливой форме, выражала свои сомнения. Но всё то, что я приносил им, было невозможно достать и доставляло такую радость ее матери, что Анна предпочитала не углублять этого щекотливого вопроса, делая вид, что мне верит. К тому же и деньги какие-то оставались, которые можно было скопить на одежду.

Вскоре обе женщины стали смотреть на меня почти как на члена семьи и мать Анны называла меня не иначе, как сынком. Из всех друзей Анны она отдавала мне явное предпочтение. «Хоть ты и грабитель, а не антихрист!» нередко говаривала она. Комсомольцев она терпеть не могла и ей очень нравилось, что я подшучиваю над убеждениями дочери, при всяком удобном случае задирая ее и ее знакомых. Она никак не могла забыть, как я заступился за икону. Икона эта была одним из больных мест в семье. Между матерью и дочерью из-за нее шла глухая и упорная борьба. Анна постоянно снимала и прятала икону, а мать с той же настойчивостью ее отыскивала и вешала обратно. Иногда у них из-за этого вспыхивали споры. Анна, краснея и негодуя, упрекала мать в отсталости, называя ее религиозные чувства глупым упрямством, из-за которого ей в комсомоле могут грозить всевозможные неприятности, а мать неизбежно отвечала: «У меня свой Бог, а у тебя свой идол. Молись на кого хочешь, а мне не мешай!» Если же Анна настаивала, то мать, сердито отмахнувшись от нее, как от назойливой мухи, уходила к себе в комнату, где целый угол был завешен иконами всех размеров и всегда светилась лампада. Раз я как-то заступился было за мать, но Анна, когда мы остались наедине, налетела на меня:

— Ты куда лезешь? Не смей вздор нести! Сам ничего не понимаешь, а ей поддакиваешь, она и рада...

— А тебе-то что? Пусть себе вешает, если нравится!

— Как что? во-первых глупо, а во-вторых, что я за комсомолка, если у себя в семье не могу предразсудки изжить. Мне самой стыдно. Раньше с ней этого не было... это она за последнее время. С тех пор, как брат погиб, всё молится да в церковь ходит... никак ее не переубедишь!

О брате я с удивлением услышал впервые.

— Чей брат? Ее?

— Мой, — тихо и как-то нехотя ответила Анна.

— А где он погиб?

— В финскую.

— Чего же она ждет? Молитвами воскресить думает? Отчего ты мне раньше о брате не говорила?

— Не приходилось и не говорила. Он на войну добровольцем пошел. В январе получили извещение, что убит, а в апреле сестра из Москвы написала, что случайно встретила приятеля, который с ним вместе в части был. Тот рассказал, что видел, как брата ранило и как он упал. Наши тогда отступали, а когда контр-атаковали, брата среди убитых не нашли. Стало быть в плен попал. Мы все и надеялись, что придет, а теперь уже все сроки прошли. А мама всё ждет... и молится.

«Вернется он!» невольно подумал я, вспомнив ходившие по городу слухи. Говорили, что никто из бывших пленных не вернулся домой. Одних — непригодных к работе калек — будто прямо расстреляли, а других отправили в концлагеря, чтобы не рассказывали народу о том, что видели заграницей. Рассказывали, что их везли под конвоем, целыми эшелонами в наглухо забитых вагонах — тысячи людей, с отмороженными руками и ногами. Говорили об этом много, настойчиво и упорно, но само собой разумеется, вполголоса, с опаской.

Анне об этих слухах я ничего не сказал, да она и не поверила бы, но не слышать их она не могла и по тому, как она говорила о брате, я понял, что и она в глубине души надеется и его ждет.

Спорили мы с Анной постоянно. Стоило нам остаться вдвоем, как мы немедленно сцеплялись. Начинала всегда она. Анна была нетерпима и ни за что не соглашалась с тем, что хоть сколько-нибудь отходило от ее убеждений. Больше всего ее сердило, когда я рассказывал ей о нашем мире и приводил сравнения, доказывая ей, насколько у нас свободнее жизнь и насколько наши законы справедливее, чем у них. Этот вопрос о свободе для нее всегда был самым болезненным, так как тут я легко мог ловить ее на каждом слове. Ее же рассуждения о свободе меня всегда смешили, потому что о настоящей свободе она не имела никакого представления и сравнивать ей было не с чем. Она просто не знала, что значит всем открыто говорить то, что думаешь и чувствовать себя свободным в кругу друзей, не боясь подвести ни их, ни себя своими словами. Когда я старался ей всё это объяснить, она неизмено отвечала: «мы строим», «мы окружены врагами», «каждый сознательный гражданин должен проявлять бдительность»; «наше строительство» и «враги» были ее излюбленной темой и она к ней возвращалась каждый раз, когда я ее поддевал.

— Ты же не понимаешь, Колька, какая на нас великая задача лежит! Мы не только в нашей стране социализм строим, но и весь мир от капиталистов освободим. Вот тогда и не будет несправедливостей, тогда все будут хорошо жить, а сейчас мы в капиталистическом окружении. Сколько к нам провокаторов и вредителей подсылают, чтобы разложить наше дело! Ты всё говоришь, что у нас плохо, а ты посмотри, как заграницей люди живут. Читал в газетах, какая в Польше жизнь была, пока мы ее не освободили?

Но я не сдавался. Я говорил ей о замечательных товарах, которые спекулянты навезли из Польши, но и на это Анна немедленно находила ответ.

— Ах, Колька, да это же провокация! Прочитай «Правду», в «Правде» врать не станут!.. Ведь это же капиталисты спекулянтам товар засылают, это хитрая пропаганда... понимать надо!..

— А военные, что в польской кампании участвовали, наши же — не агенты капиталистов, а сколько натащили?.. И рассказывали, что в магазинах там полки от товаров ломятся и всё без очередей и без карточек! Есть деньги — покупай, что хочешь! А живут как! Говорят, у рабочих тамошних в квартирах свои водопроводы. Повернешь кран — горячая бежит, повернешь другой — холодная идет. И не на весь дом один кран, а в каждой квартире...

— Слышала я, да что из этого! Это только ты такой наивный. Всё же ведь это декорация, обман, Потемкинские деревни... а дураки, вроде тебя, на удочку идут!.. И пусть даже многие одеваются и едят лучше нашего, зато мы строим. У нас идея есть, мы знаем, что к лучшей жизни идем, а там что? Гниль и буржуазное разложение. Там всё кончено и надежды на будущее нет и чем дальше, тем хуже... Тупик! А мы вперед идем. Сейчас у них там война, это и хорошо! Пусть империалисты между собой грызутся — ослабеют, а тогда мы и начнем. Мы уже и сейчас, не считаясь со своими жертвами, пошли навстречу польскому народу... Так же и весь мир от капиталистов освободим. Вот ты увидишь, стоит нам только двинуться — весь пролетариат подымется навстречу.

Увлекаясь и воодушевляясь собственными словами, Анна могла так говорить без умолку. Убедить меня Анна не могла, но мне нравилось, как уверенно она стояла на своем, как горячо говорила.

(Окончание следует)

Н. Воинов

ПИСЬМА МАКСИМА ГОРЬКОГО К В. Ф. ХОДАСЕВИЧУ

*(Продолжение)**

VIII

[Датировано шуточно. Получ. 3.8.1923. Güntersthal].

Дорогой Владислав Фелицианович,

Ваши стихи «Марихен» пронзительно хороши. Сказать о них что-нибудь больше — не умею, скажу только что они вызывают в душе «холодный свист зимней вьюги» и, в то же время, неотразимо человечны.

И. Н. Ракицкий[1] восторженно хвалит Ваш перевод Черниховского, а я — рад, празднично рад. И крепко жму Вашу руку, превосходного, мощного поэта.

Мы тут сняли несколько комнат в доме добрых евреев, есть комната и для Вас, но не думаю, чтоб она Вас удовлетворила, и, пока, не приглашаю Вас.

В течение двух, трех месяцев мы будем искать более удобное и обширное помещение с расчетом на Ваш приезд. Я думаю, что в Берлине Вам не удобно, беспокойно; И. Н. говорит, что Вы похудели.

Здесь Вам было бы лучше, спокойнее, не говоря о климате, очень приличном и о городе, очень милом.

Торопясь послать письмо — кончаю.

Сердечный привет Berberovoi, всего доброго Вам.

А. Пешков.

301.VIII.23[2].

---

* См. 29-ю кн. «Нов. Журнала».

1 *Ракицкий, Иван Николаевич, — художник, приятель Максима.*

2 *Дата заведомо шуточная, вместо* I.VIII.*23.*

IX

[17 августа 1923, Günterstbal].

Дорогой Владислав Фелицианович,

Что у Вас есть для 3-го №-а? Будут ли Ваши стихи? Сдали в набор статью Элленса? Браун дает свою статью о языке — 1½ листа, Штейндорфа о Тутанкамене — 2 л. и рисунки, о дальне-восточном искусстве и о немецком романтизме. Затем есть статья «Гете и наука о Гете в совр. Германии».

О материале Адлера[1] — ничего не знаю.

М. И. писала, что Ремезов (sic) предлагает 3 л. «России в письмах», — не знаете, дал он рукопись? Рассказ Ценского еще не получен. Пятый день сюда не приходит почта.

Сегодня получил хорошее, бодрое письмо от Купчихи[2].

Заработался-же я до того, что муху с носа согнать некогда. Совершеннейший графоман. И если завтра назначат всемирное землетрясение на срок, хотя бы, в два дня или, — чего Боже упаси! — единовременное извержение всех вулканов, — я буду несчастнейшим человеком. Я уж не могу не писать.

Ищем дачу. За ту, которую мы нашли и наняли, с нас взяли только фунт. Это очень великодушно. Хорошо, что мы в нее не въехали, — вот въехали бы в историю!

Нашли другую дачу и тоже едва не въехали, но кто-то во время предупредил нас, что когда дует ветер — она качается. А в середине ее — бассейн и печей в ней нету.

Сейчас предлагаем одному доктору ехать в Баден, лечиться, а дом сдать нам. Он — думает. Это — факт. Я сам видел: стоит в саду под деревом и — думает.

Мы тоже думаем: не переехать ли в Австрию?

Написал рассказ. Кажется — страшный. Назвал: «Карамора».

Berberova стихи делает? Оказывается, что патронесса ее, Нина, просветительница Грузии, тоже писала стихи. Вот он, закон-то наследственности на каком расстоянии сказался.

Как Вы чувствуете себя?

Очень хочется найти такой дом, чтобы можно было жить вместе! Но — китайцы! Чорт развел здесь великое множество китайцев и они заняли все свободные щели в домах. Максим играет с ними в теннис и бьет их нещадно. Может быть, это заставит их возвратиться к себе домой, в Кантон.

Сердечный привет и очень жду ответа. Н. Н., разумеется, тоже приветствую. Книгу Модзалевского получили[3]?

А. Пешков.

17.VIII.23.

---

[1] *Проф. Адлер, вместе с проф. Ф. А. Брауном редактировавший научный отдел «Беседы».*

[2] *Домашнее прозвище моей племянницы, В. М. Ходасевич. Такие прозвища были в ходу в доме Горького. И. Н. Ракицкого звали Соловьем, Н. А. Пешкову, жену Максима, — Тимошей.*

[3] *«Дневник Пушкина» под редакцией Б. Л. Модзалевского, посланный мне Горьким.*

X

[21 августа 1923. Güntersthal].

Оказывается, я Вам посылал письма не туда, где Вы живете. Получили Вы «Дневник Пушкина»?

Второй № несколько тяжел, скучноват. Очень скучны «Заметки»[1]. Третий надо сделать более интересным, кажется это удастся. Ремезов (sic) уже дал рукопись, не знаете? Каплун[2] не отвечает на письма. Перевод Элленса сдали в набор?

Беспокоюсь о рукописи Ценского. Почта как-то вывихнулась, дня три и больше — ни писем, ни газет, а потом сразу приходит целая гора пакетов в каком-то трепаном и жеваном виде. И — дожди! Ной не видал таких дождей!

Потом вдруг приезжает Клэр Шеридан[3] с братом моряком, с Коростовцем и Шкловским. А вслед за ними болгарин профессор, знаменитый зять Драгоманова, потом профессор Линдинг, который заставляет женщин безболезненно родить, а мужчин омолаживает впрыскиванием казейна в кровь. Если сюда прибавить американского писателя Уоллинга с женою, Церетели, философа Чижевского, Николаевского[4], трех меньшевичек — убеждаешься, что земной шар заселен достаточно густо, а я — великий грешник и не могу протестовать против второго Всемирного потопа.

Что я делаю? Пишу, пишу. Говоря по совести, сам плохо понимаю, что пишу. Настроение графомана. Кружусь около какой-то интересной — кажется — выдумки и торопливо выписываю всё, что ей мешает. «Заметки» бросил, написал два рассказа.

У Шеридан — великолепные руки. Чудесные руки.

Очень жду М. И., без нее, как без рук. А особенно — без языка[5].

Как Вы живете? Много написали стихов? А Berberova? Я, признаться, очень скучаю без Вас. Я как-то хорошо «притерся» к Вам.

Звонят, обедать надо бежать. Не попадется ли Вам в руки книжка Стефана Цвейга «Амок», прочитайте в ней «Письмо незнакомки» — очень хорошо! Издание «Атенеум». Был Шкловский, он уже не Виктор, а — побежденный и, видимо, это ему не нравится. Пишет сказочки. Не плохо.

«Красную Новь» не видели? Там интересен Соколов-Микитов и Пришвин, — Ремезовская школа.

Berberovoй — сердечнейший привет. Вам здоровья и бодрости, всё остальное дано Вам весьма щедро. Ваш А. Пешков. 21. VIII. 23.

---

[1] *Под этим заглавием Горький печатал в «Беседе» свои небольшие отрывки полу-беллетристического, полу-мемуарного характера.*

[2] *С. Г. Сумский, издатель «Беседы».*

[3] *К. Шеридан — англичанка, скульпторша, перед тем побывавшая в Москве и лепившая бюсты известных большевиков.*

[4] *Николаевский — Б. И., историк.*

[5] *Как видно уже из предыдущего письма, М. И. Будберг временно уезжала из Гюнтерсталя. Она была постоянной переводчицей при встречах Горького с иностранцами.*

XI

[Без даты. Получено 31 августа 1923. Güntersthal].

Живу я всё там-же, в Кибурге, адрес — на конверте. Я-же писал Вам, что тут, чтоб найти жилище, необходимо быть правоспособным к совершению актов, совершить кои мне не позволяет ни вкус мой, ни состояние здоровья. Не могу я жениться на немке, да еще докторе философии, не люблю немецкой философии и прочего. К тому же у меня вчера было 38° вечером и болит голова. И сидел Степун, справедливо обличая Шкловского в том, что сей последний пользуется историей только как материалом для построения личной интересной биографии, а это де — нигилизм. Верно. Или — не верно. Голова у меня болит, а так как голова у меня близко к душе, то и душа болит.

Позвольте мне, дорогой друг, просить Вас прочитать при сем прилагаемую рукопись, и буде Вы найдете ее достаточно интересной, сдать в набор для 3-го.

От Ценского — ни слуха, ни духа. И вообще из России — никакой почты мне, давно уже, пожалуй — с месяц. Это — ново, но — не оригинально. Имею телеграфный запрос: получена ли статья о Достоевском и Федорове? То-же не получена. Жить очень сыро.

Здоровье — трещит по всем швам: легкие — скрипят, кишки — беспокоятся, печень — соревнует с ними. Оркестр! И — Браун не пишет. И со всех сторон наседают американцы. Китайцы — тоже. По моему: китайцы — бесполезная нация, только квартиры занимают везде. Американец — у него доллар! Он показывает вам монету свою и честно предлагает: напишите, как вы думаете о неизвестном никому, — доллар дам! А что у китайца? Страсть к игре в теннис и перманентная революция, больше ничего.

Что касается до Степуна, то это один из той «стаи славных» настоящих, московско-русских интеллигентов и земли русской праведников, которые ныне никому и ни к чему не нужны, кроме — как цветы — для наслаждения формой, краской и ароматом душ ихних. Но — цветы сейчас не требуются, — сапоги требуются, и — если позволите «съострить» — вот почему в литературе «текущей» куда-то, так много сапожников. А Степун — умный. И даже, кажется, хороший.

Знаете, — очень хорош в «Кр. Нови» М. М. Пришвин, очень! И — даже Сок.-Микитов понравился мне. Сие бо есть литература настоящая, Ремезовской школы, «языкатая», руская — «мозги набекрень» и прочее. Очень хорошо!

Привет.

А. Пешков.

T⁰ 37⁰ а число вероятно 28-е. Тут нет календаря. Газеты не приходят.

XII.

[Без даты. Получено 30 августа 1923. Güntersthal].

Только что заклеил пакет Вам, а от Вас — новое письмо!

Да, ехать! Все говорят — ехать. Вопрос о том — куда и когда решается коллективно[1]. По слухам, идущим из Харбина, а так-же с острова Исландии, М. И. Будберг 2-го Сентября будет в Берлине. Приедете-ли Вы вместе с нею или — раньше ее[2]? О том — известите, хотя надо-бы сказать: об этом, а не о том. Но я целый день пишу письма и дошел уж до того, что Львова-Рогачевского наименовал Львом Васильевичем, тогда как надо — на оборот. Известить же надо по случаю китайцев, дабы найти Вам свободную от них комнату.

Умер Лемке[3]. А мне его не жалко. Мне, вот, себя жалко: у меня отвратительно мигает лампочка и я, кажется, окончательно испорчу зрение.

Устал и болен.

Berberova! Privet! Budte sdorovi! Pischete li stichi?

Kusma Peshkov. Эсквайр.

---

[1] *Политическое положение в Германии становилось всё более напряженным. Ходили слухи о возможности коммунистического переворота. Мысль очутиться в коммунистической стране Горькому не улыбалась. Уже в письме от 17 августа (см. выше) он мимоходом бросает фразу о переезде в Австрию.*

[2] *Я собирался съездить на несколько дней в Гюнтерсталь по делам журнала.*

[3] *Лемке, М. К. — известный историк.*

XIII.

[27 сентября 1923. Güntersthal].

Дорогой Владислав Фелицианович, —

стихи — сокрушительные, для меня в них звучит что-то Бодлэровское, но, если позволите сказать, три последние строки кажутся мне лишними[1].

Рассказ Лежневу я не могу дать до поры пока не разрешится вопрос о допущении «Беседы» в Россию. Имею сведения, что вопрос этот «рассматривается». О, Господи...[2].

Пожалуйста, — позвоните в редакцию и спросите: почему мне не посылают статью Кларка об американской литературе?

Здесь -- превосходная погода, солнечные дни, тепло, но — начинается всякое беспокойство и частичные выступления враждующих сил: сын генерала Клоотц застрелил нашего кота, я «выступал» против генерала с палкой в руке и говорил ему — по русски — нехорошие слова, после чего генерал прислал письменное извинение. Пока — перемирие, но — мобилизуемся.

Италия с Иорданским теряет для меня некоторое количество прелести и я думаю о Чехословакии[3]. Написал Масарику — визу дайте, хочу в Карлсбад!

Отговаривать Вас от поездки в Италию не стану, а мне будет очень грустно, если и мы «разъедемся».

Написал бы С. Г. Каплун — в каком положении «Беседа»? Какие статьи даны Брауном?

Я, почему-то, «в нервах», должно быть устал. Иностранцы отсюда торопливо уезжают. Сегодня во Фрейбургской газете извещение о диктатуре в Баварии. Здесь немцы ходят по земле спокойно.

Мой сердечнейший привет милой Нине Николаевне.

А если Вы напишете цикл таких стихов как «Марихен», «Под землей» — это будет удивительно хорошо!

Все единодушно просят передать Вам их привет. Это — очень искренно.

27.IX.27[4]. Жму руку.

А. Пешков.

---

[1] *Я послал Горькому свое стихотворение «Под землей».*

[2] *Предлагая издательству «Эпоха» взять на себя издание «Беседы», Горький был совершенно уверен, что журнал будет допущен к продаже в советской России. Крючков, через которого шли дела этого рода, подтверждал, что со дня на день должен получить из Москвы разрешение на приобретение тысячи экземпляров каждого номера — для пересылки в Россию. Разрешение, однако, не приходило, хотя «Беседа» выпустила уже две книжки. Горький писал в Москву письма, при мне говорил на ту же тему с приехавшим в Сааров Рыковым, который в ту пору был заместителем больного Ленина. В ответ получались обещания и ссылки на канцелярскую волокиту. Тогда Горький решил прибегнуть к репрессии: сообщил в Москву, что отказывается от сотрудничества в советских изданиях, пока «Беседа» не будет пропущена, и действительно сотрудничество такое прекратил.*

Советский литератор Лежнев, о котором идет речь в данном письме, сумел получить от правительства разрешение на издание в Москве журнала «Россия». Это была предпоследняя недолговечная попытка выпускать в сов. России частное периодическое издание. В сентябре 1923 г. Лежнев приезжал в Берлин и, не будучи знаком с Горьким, пытался при моем содействии получить от него рассказ для «России». Я написал Горькому, подчеркнув, что на лежневский журнал данный им зарок не должен распространяться, так как журнал — независимый. Как видно из данного письма Горький со мною не согласился. В то же время, однако, он продолжал верить (или делал вид, что верит), будто вопрос о «Беседе» действительно в Москве «рассматривается» и может получить благоприятное разрешение. См. в дальнейших письмах историю этого дела.

[3] *В середине сентября я ездил на несколько дней в Гюнтерсталь,*

и мы с Горьким решили перебраться в Италию. Однако, вслед за тем туда был послан советским правительством Иорданский, и Горький решил, что при этом условии ему ехать в Италию неудобно. Причина такого взгляда осталась мне неизвестной. Кажется, он считал, что Иорданский в Италии установит за ним слишком стеснительную слежку.

[4] *Описка или шутка Горького. Надо читать — 23.*

XIV.

[Дата неполная. Получено 15 октября 1923. Günterstthal].

Дорогой Владислав Фелицианович, —

рассказ Лидина[1] давайте напечатаем; это, всё же, литература, хотя, на мой взгляд, — в кавычках, ибо написан рассказ в поте лица, с напряженнейшими усилиями найти «свои слова», в поисках которых Лидин не ушел, однако, дальше «холодеющего» воздуха и «цепенеющих» часовых. Не люблю щ е й в литературе. Есть в рассказе запах Л. Андреева, есть И. Бунин; я очень сомневаюсь, чтоб солдатам, кои возвращаются с похорон начальника, разрешили петь веселые песни, сомневаюсь и еще кое в чем, ибо — реалист. Но, за всем этим, всё таки рассказ мы напечатаем.

«Леоноре» (sic) — рад[2]. У меня к Berberovoi, кроме симпатии и доверие имеется, не потому только доверие, что у нее учитель хорош, а потому, что в детской душе ее чувствую и великую любовь к поэзии, и наличие таланта.

А рассказ Цвейга перевела она? Рассказ сей нужен в 3-й №, он очень схож с моим единством тем. Пожалуйста, сделайте так!

Получил письмо Слонимского[3], в нем есть неясные, неразобранные мною строки, но, кажется, С.-Ценский — болен, чем и объясняется его молчание. Знает ли Лунц, что «Вне закона» ставят в Праге?

Если Вам чехи дали визу, значит и я могу надеяться на их великодушие[4]. Я уже давно написал Масарику, но ответа еще не имею, Масарик-то уехал в Париж. Жить здесь, по истине, дорого, но того хуже — доктор и докторица, законная супруга его. Кошмарные немцы! Запрещают нам кормить безработных, вешать осеннее пальто на вешалку для одежды, так что вешай его хоть в саду, на яблоню; рычат они на нас по всякому поводу, а мы — русские, мы можем создать ежедневно миллион поводов для раздражения национальной страсти немца к порядку и аккуратности.

Марию Игнатьевну спрашивал: больна-ли она? Ответила: не знаю. А, подумав, сама спросила: это — намекчики?

Итак — Вы едете в Италию! Очень поздравляю, очень рад за Вас.

Передайте мой привет С. Г. Каплуну. А — зачем третейский суд[5]?

Перед отъездом — напишите мне коротенькое письмецо в стихах или прозе, дабы я знал, что Вы уехали и — когда.

Всего, всего лучшего! И самых лучших впечатлений. Обоим вам. И будьте здоровы.

? - X - 23. А. Пешков.

Изумительно настойчив немецкий дождь!

---

[1] *Лидин — Владимир Германович, писатель.*

[2] *Перевод бюргеровой «Леоноры», сделанный Н. Н. Берберовой, был напечатан в «Беседе».*

[3] *Слонимский — Михаил Леонидович, писатель, член кружка «Серапионовых братьев».*

[4] *В это время русские эмигранты и полу-эмигранты массами покидали Германию. Я собирался ехать в Италию, но выяснилось, что получу визу еще нескоро, а потому решил временно переехать в Прагу, куда и уехал 4 ноября.*

[5] *Речь идет о третейском суде, который должен был произвести раздел между совладельцами издательства «Эпоха» — С. Г. Каплуном-Сумским и Д. Ю. Далиным.*

XV.

[8 ноября 1923. Güntersthal].

Дорогие друзья, —

вопрос о переселении в Прагу решен нами утвердительно и окончательно.

По совершенно точным сведениям полученным мною путем опроса фрау фараонен Будберг сегодня Среда, 8-й день II-го месяца 23-го года, а через неделю, т. е. очевидно в 15-й день текущего месяца мы tutta familia (sic) отправляемся в Берлин с книгами, котятами, собаками и бумагами. И — с великим удовольствием, ибо — ох, как надоело здесь!

Затем: на днях жду римлянина Страумяна[1], который, телеграммой известил меня, что возможны визы в Италию. Сейчас оный Ян, римлянин, находится в Швейцарии, слушая про-

цесс Конради, а по окончании подлого процесса сего, приедет к нам. По сей причине я полагал бы: не лучше ли Вам подождать чем и как кончится Страумянов визит? Потому что: буде он кончится благополучно — мы поехали бы купно, сиречь в одном или в двух купэ одного и того же поезда.

Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что в «Накануне» напечатано: «Джиоконда, картина Микель-Анджелло», а в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Нитцше, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и еще многие подобные еретики. И сказано: «Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги». Всё сие — будто-бы[3] отнюдь не анекдот а напечатано в книге, именуемой:

«Указатель об изъятии анти-художественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя».

Сверх строки мною приписано «будто-бы», тому верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу «Указатель».

Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае если это зверство[4] окажется правдой?

Знали бы Вы, дорогой В. Ф. как мне отчаянно трудно и тяжко[5]!

Скоро увидимся. Я этому очень рад. Очень. Н. Н. — сердечный привет.

8. XI. 23. А. Пешков.

Frau faraonen (sic) и все прочие очень кланяются.

---

[1] *Чиновник советского представительства в Риме.*

[2] *Слова «в одном или» зачеркнуты.*

[3] *Слова «будто бы» вписаны над строкой.*

[4] *Это слово вписано над строкой.*

[5] *Часть этого письма, касающаяся изъятия книг, мною была приведена и комментирована в «Некрополе» (стр. 267-270). Там же дано факсимиле заключительных строк. Укажу вкратце, что Горький сперва написал мне о выходе «Указателя», как о совершившемся факте, а потом вставил «будто-бы» и притворился, что дело нуждается в проверке и что он даже «не может заставить себя поверить» в существование «Указателя». Между тем, никаких сомнений у него*

быть не могло, потому что «Указатель», белая книжечка небольшого формата, давно у него имелся. Еще 14 сентября, т. е. почти за два месяца до этого письма, в Берлине, я зашел в издательство «Эпоха» и встретил там бар. М. И. Будберг. Заведующий издательством С. Г. Сумский при мне вручил ей этот «Указатель» для передачи Горькому. В тот же день мы с М. И. Будберг вместе выехали в Гюнтерсталь. Тотчас по приезде «Указатель» был отдан Горькому, и во время моего трехдневного пребывания в Гюнтерстале о нем было много говорено, между прочим — в присутствии Ф. А. Степуна. Но Горький забыл об этих разговорах и о том, что я видел «Указатель» в его руках. Добавлю еще, что Горький не мог не читать статью об «Указателе», напечатанную тогда же С. Г. Сумским в «Социалистическом Вестнике».

XVI.

[23 или 24 апреля 1924, Сорренто[1]].

Дорогой Владислав Фелицианович —

излагаю причины, по силе коих я немотствовал.

1. Римский Ваш адрес Frau баронесса увезла в Эстонию.

2. Парижский адрес «Совр. Записок» я не помню, адрес Гржебина — потерян, а в троеручном письме вашем — не указан[2].

3. Ваше письмо в Мариенбад получено мною в Неаполе, в отеле «Ройяль»; завтра получу тоже, очевидно, Ваше письмо из отеля «Континенталь».

4. Дорогой — простудился, в Неаполе — растерялся и был ошарашен кучей спешной почты из «Эпохи», рукописями Б. Пастернака, В. Ковалевского и др. Главное же — устал, почти ничего не понимаю и удручен многими неприятностями. Поссорился со всеми близкими, утверждая, что Пасха — 13-го числа, а не 20-го.

Сегодня перебрались в Сорренто, откуда меня не скоро вытащат, — дудки!

По поводу 5-го «Беседы»: у Вас о Пушкине 4 листа, да «Свадьба» больше листа, итого — 5 с лишним, у меня около — четырех — «Карамора» и о С. Толстой; — книжка выходит в сокращенном виде, всего нам отпущено 12 листов, а необходимо поместить очерк Высоцкого «В Палестине», рассказ Голсуорти и Сьерра. Не разрешите ли Вы напечатать о

Пушкине половину, 2 листа? Пожалуйста напишите немедля С. Г. К.

Кстати: в «Красной Нови» В. В. Вересаев печатает стихи Пушкина и свои к ним беллетристические комментарии, — это очень странные, но не замысловатые штучки. Один из сих «комментариев» касается «Русалки», в нем изображено как А. С. провожает из Михайловского соблазненную им крепостную девушку, затем следуют стихи, кои легли в основу и Ваших соображений о личном романе Пушкина. Если хотите — вышлю Вам книжку.

Крайне досадно, что мы не встретились в Риме, впрочем этого не могло быть, ибо мы миновали город сей, когда Вас там уже не было, судя по письму. И до слез, буквально до слез пожалел я сидя в кабачке на Вомеро и слушая отличнейшего певца, который пел нам "Vorrei morir" и "Mare ciaro" (sic) — Тости, и еще многое. Превосходный парень и весьма искушенный певец; 14 лет жил в России, знаком с Шаляпиным, родил 10 человек детей, поет вторые партии в «Сан Карло» по 20 лир в вечер. А дети у него — все живы. Жена — русская.

Оказалось, что меня тут хорошо помнят и относятся ко мне так-же хорошо, как относились 10 лет тому назад. Да, да — жаль, что нет Вас тут. Жаль. Но я, почему-то очень верю, что Вы приедете. А? Приедет Зина Пешков[3] из Марокко. Берберова — целую Ваши лапки, приезжайте! Всего доброго, дорогие люди!

23 или 4, IV, 24. А. Пешков.

---

[1] *Горький приехал в Прагу только 26 ноября. Вскоре после этого мы вместе переехали в Мариенбад, откуда в середине марта я отправился в Италию. Однако, личные дела заставили меня пробыть там недолго, и 13 апреля я выехал из Рима в Париж. Случилось так, что в тот же день Горький проехал через Рим в Неаполь. Таким образом, мы разминулись. Данное письмо адресовано мне в Париж.*

[2] *Троеручное письмо — от меня, Н. Н. Берберовой и З. И. Гржебина, из Парижа.*

[3] *Зиновий Пешков — офицер Иностранного легиона, усыновленный сын Горького, брат Свердлова*

XVII.

2.V.24. [2 мая 1924, Сорренто].

Послал Вам, В. Ф., письмо по адресу Гржебина, сегодня получил из Эстонии Парижский адрес «Совр. Записок», — надеюсь, никто не скажет, что это неоригинально. Настроен «скопцычески» и оборонительно к миру сему, в котором нет никакой гармонии, хотя мандолины и гитары изобилуют. Всё отчаянно субъективно, даже мнения о погоде. Соловей[1], например, недоволен ею, а мне она нравится: ветерок, прохладно. Здесь, в земле Соррентинской, много трещин, и я надеюсь, что Соловей последует похвальному примеру некоего римлянина, который, поняв, что он надоел согражданам, провалился сквозь землю, кажется, даже с лошадью, чем и закрепил имя свое в благодарной памяти потомства. Вы, разумеется, этот случай знаете, я мог бы не говорить о нем, но — неловко как-то, живя в Италии, не вспомнить о чем-нибудь древне-римском. И — о море. Море шумит, напоминая стихи Вейнберга, и мудрый афоризм одного, видимо — одесского еврея: «Жизнь наша не стоит ни копейки, как это бушующее море». Надеюсь, что я пишу остроумно. Причина, по силе которой я стремлюсь писать остроумно, такова: некто, проф. Н. Фатов, прислал мне составленную им книгу: «Л. Андреев в молодости»; в книге много Леонидовых писем, они — остроумны, а я — завистлив. Но, в то же время, я страшно рад, что у меня нет родственников, а у Леонида они есть и живы, и пишут о нем воспоминания. Например, — по поводу «Бездны» одна родственница сообщает: «Возможно, что что-нибудь подобное и было, но финал мог сочинить». Другая: «В «Бездне» Зиночка — это З. Н. Сиб-ва. Возможно, что всё так и было. Когда «Б.» вызвала нападки, будто изображено невероятное событие, она поместила в какой-то газете письмо, где утверждала, что всё это правда, так с ней и было». В дальнейшем фамилия героини «Б.» приведена полностью — Сибилева. Каково?

Оказывается: «Леонид любил музыку. Любил слушать грамофоны». Книга сделана плохо и так, что прочитав ее, я рассердился, не спал ночь. Автор угрожает выпустить еще три под общим титулом: «Поэты ужаса жизни. Андреев, Куприн (?), Арцыбашев».

Сообщите Б. Зайцеву, что у берегов Сицилии, около Катаньи, появились два кита — небывало! — и кашалоты; они

разогнали всю рыбу, выслан миноносец и взорвал одного кашалота, остальные утекли во свояси. Вот ему, Зайцеву!

Вышел 1-й № «России», напечатаны В. стихи «Берлинское», кажется интересен роман О. Форш. Лежнев именует «Беседу» «мудрой и углубленной». Кроме Ваших все стихи — очень плохие. Получил письмо от В. Познера[2], очень грустно стало: он занимается боксом, кинематографом и пишет, что «литературой — не проживешь».

Я, по причине кочевой жизни, не пишу, а хочется написать кое-что о почтмейстере, который, от скуки жизни, выдумал чорта, поместил его у себя в кабинете на книжном шкафе, полтора года пил с ним коньяк и философствовал — чорт сбежал от него. Сбежишь, знаете! Берберова — Вы живы? А. П.

Напишите мне! Сорренто. М. Горькому.

---

[1] *См. прим. 2 к письму от 17 августа 1923.*

[2] *Познер — Владимир Соломонович, в ту пору — молодой стихотворец.*

(Окончание следует)

ПО ЛЕСАМ И ЛАГЕРЯМ СУОМИ

(В ФИНСКОМ ПЛЕНУ)

1. Гибель дивизии

Сентябрь 1941 года. По непролазным дорогам Карелии наш полк пробивался в район Красной Пряжи, с флангов двигались другие полки нашей дивизии. Финны, имевшие громадное превосходство в силах, наседали, а дивизия, как загнанный зверь, огрызаясь и оставляя по дороге кровавые следы, тащилась из последних сил.

Артиллерия тонула в грязи, кони надрываясь вытаскивали из трясин тяжелые пушки и своими трупами устилали последний путь. Мы изо всех сил стремились оторваться от наседающих финнов, но напрасно — легкие, подвижные финские части не только не отставали от нас, но всё время заходили вперед и с флангов, стараясь окружить и отрезать дивизию от Петрозаводска.

Ежечасно наши подразделения засыпались минами, снарядами, разрывными пулями, каждый день уносил сотни убитых, раненых, пропавших без вести и с каждым днем и часом становилось яснее, что выхода нет: — впереди гибель в непроходимых лесах и болотах этого сурового северного края.

Финны были хорошо осведомлены о нашем тяжелом положении. Их разведка работала точно и наши попытки сбить неприятеля с толку ни к чему не приводили. После нескольких дней нашего отхода с оборонительного рубежа, люди совершенно измотались и обессилели, вера в свои силы была потеряна. Чувствовалось, что полк, а вместе с ним и вся дивизия доживают последние минуты. Достаточно было маленького толчка, чтобы остатки организации и дисциплины были окончательно сломлены. И этот толчек пришел. Неожиданно пронеслась страшная весть: Красная Пряжа занята финнами. Полк окружен! Дорога на Петрозаводск перерезана! Тогда началось бегство.

Мы бежали по широкому тракту в направлении Красной Пряжи, хоть и знали, что она занята финнами. Кругом был враг — сзади, на флангах, впереди. Выхода не было. А финны всё

плотнее смыкали железное кольцо вокруг обреченной дивизии. Вражеские минометы подходили почти вплотную и засыпали нас смертоносным шквалом огня и металла.

Была сделана попытка задержать неприятеля у деревни Новинка, но она потерпела неудачу. Финны повели энергичный огонь по нашим оборонительным линиям и по деревне, где стояли штаб, артиллерия и резервы. Деревушка сразу же запылала, несколько артиллерийских позиций с орудиями, прислугой и лошадьми были буквально стерты с лица земли; остались только, похожие на головешки, обуглившиеся скелеты с отчаянно выброшенными вперед руками, перевернутые и исковерканные пушки, зарядные ящики, винтовки.

Наступила ночь с 13 на 14 сентября. Последняя — перед гибелью всей дивизии. Было темно, как в могиле. Мелкий осенний дождь поливал приткнувшиеся к земле фигуры людей. Это была жуткая и бесконечно длинная ночь.

2. В плену

Финские пехотинцы окружили и вывели меня из густой чащи на шоссейную дорогу. По ней двигались наступающие части вражеских войск — самокатчики, пехотинцы, минометы на автомашинах, конная и самоходная артиллерия. На широких стенках желтых автобусов было написано: Turku-Moskva![1] Helsinki-Pietari![2] Aneslina![3] По сторонам дороги, у опушек леса выглядывали темно-коричневые палатки, походные кухни, санитарные машины и двуколки на резиновом ходу.

Я смотрел на эту полную энергии и наступательного пыла картину и невольно сравнивал ее со страшным моральным упадком в оставшейся без поддержки, окруженной со всех сторон и погибающей в болотах и трясинах нашей дивизии. Здесь — спокойствие и уверенность в своих силах, здесь — самокаты, автомашины, сытые, бодрые кони, походные кухни с дымящимися трубами; там — до предела истомленные люди, оставшиеся без командования, зажатые в железные тиски финских ударных частей.

После короткого допроса меня повели в тыл. Я шел по дороге войны. Высокий, еще вчера могучий, лес обгорел и

---

[1] Turku — Финский портовый город.

[2] Helsinki — Гельсингфорс.

[3] Aneslina — Петрозаводск.

приник; голые, растрескавшиеся стволы деревьев свидетельствовали о смертоносном шквале, пронесшемся над ними. Широко разметав руки и ноги, отдыхали вечным покоем убитые красноармейцы. Везде были раскиданы противогазы, вещевые мешки, винтовки, патроны; завязшие в трясинах и болотах, прилегли орудия на долгий отдых.

Мы вошли в деревню Нырки. В этой маленькой деревушке я был два дня назад. Здесь наша дивизия хотела задержать врага. Сейчас на месте деревушки я увидел только черную, одинокую трубу и груды кирпича. Серый дым пожарища еще клубился в воздухе. Не верилось, что еще так недавно здесь домовито вился из труб серенький дымок, по широкому большаку степенно двигались коровы, позванивая колокольчиками и старый дедок задумчиво поглядывал на заходящее солнце, соображая — быть ли на утро дождю.

3. Рабы

В маленьком глухом городке Восточной Карелии — Олонце — лагерь русских военнопленных. Линия фронта далеко отошла, но по ночам сентябрьское небо еще пылает заревом далеких пожаров и гул тяжелых орудий сотрясает воздух.

Беспрерывным потоком тянутся сюда автомашины и телеги с военнопленными. В осеннюю кампанию 1941 г. свыше ста тысяч бойцов и командиров Красной армии попало в плен к финнам, из них громадное большинство пришло добровольно. В лагере их выстраивали в длинные шеренги, пересчитывали, обыскивали и как скот загоняли в хлевы-бараки. Там потрясающая грязь, теснота и невообразимый гвалт с утра до ночи.

В первые месяцы войны в лагерях хозяйничала военная полиция — «Sota polisia» и только после того, когда на почве голода, вопиющей антисанитарии и жестокого обращения, в лагерях началось страшное вымирание людей, «заботу» о военнопленных приняла на себя армия, что, к слову сказать, мало в чем улучшило горькую участь пленных. Верными помощниками полицейских стали военнопленные карельской национальности, родственной финнам по языку и по территории.

Мечтая о присоединении Восточной Карелии, финны явно заигрывали с этим народом. Военнопленные карелы носили нарукавный знак «Heimo konsalainen»[4], получали улучшенный

[4] Родственный народ.

паек, работали на кухне, в столовых, продуктовых складах и имели неограниченную власть над прочей массой военнопленных. Эти люди начали постепенно входить во вкус нового положения. Еще вчерашний карел-коммунист уже сегодня всячески поносил советскую власть, злобно проклинал русских и, выслуживаясь перед новыми господами, зажимал в кулак военнопленных. А финский солдат, впитавший с молоком матери острую ненависть ко всему русскому, одобрительно похлопывал союзника по плечу, приговаривая: Huva, huva. Russa satana![5] Кулачную расправу над пленными начали карелы и с их легкой руки в лагерях стали процветать мордобитие, розги, а потом и расстрелы.

Вместе с большой группой военнопленных я попал в этот лагерь в конце сентября. Начался тернистый, длинный, как вечность, путь плена... Здесь я увидел, как человека можно унизить, замучить, превратить в бессловесного раба или в дикого зверя. Вот одна из обыденных картин жизни этого лагеря: — Рассвет осеннего утра. Растянувшись длинной вереницей рабы в серых шинелях и истоптанных солдатских сапогах тащат на себе огромные черные бревна — топляк, выловленный в реке Олонка. Голодные, измученные люди еле двигаются, спотыкаются в скользкой грязи, падают. Но тут же стоят конвоиры полицейские с автоматами в руках и не знают жалости. Не проходит и часа с начала работы, как вдоль дороги и на плацу уже стоят люди с широко распростертыми в стороны руками и закинутой вверх головой. Это — распятые на невидимом кресте, провинившиеся в глазах надсмотрщика. Это военнопленные, превращенные в рабов.

4. Зима и голод

Война затягивалась. Подходила суровая, северная зима. Положение военнопленных в лагерях и на работах ухудшалось час от часу. Призрак голода был уже грозен и неумолим.

Ветхое красноармейское обмундирование быстро приходило в негодность и люди начали принимать неприглядный и жалкий вид. Голодный, оборванный и грязный человек теряет всякое достоинство. Им начинают помыкать, его бьют, гоняют с места на место, дают общую для такой категории людей кличку «доходяга», а доходяга уже не человек, это существо

[5] Хорошо, хорошо. Русский — сатана.

обреченное на гибель; он — «доходит», — т. е. медленно, но неизбежно умирает.

В чрезвычайно грубых и жестоких условиях лагерной жизни такой человек не вызывал ни в ком ни жалости, ни сочувствия. Финны хладнокровно и брезгливо обходили его, товарищи не замечали, а старшины, преимущественно карелы, добивали.

Зима 1941-1942 гг. — страшная зима для военнопленных в Финляндии. Десятки тысяч людей полегли в безвестных могилах Наро-Ярви, Настола, Раудас Кюля, Пельцах, в лагерях и лесах Восточной Карелии.

Каждое утро качающиеся от слабости санитары вытаскивали из бараков раздетых догола, ужасно исхудавших, почерневших людей, умерших за ночь. Их укладывали тут же перед бараками в длинные штабеля и было видно, как с трупов сползают полчища вшей.

Специальные бригады могильщиков безостановочно рыли глубокие ямы-рвы, а бригады носильщиков носили туда мертвецов. И вот, растянувшись на несколько десятков метров, двигалась эта скорбная процессия, с трудом и проклятием волоча ноги в глубоком и рыхлом снегу. Одну партию скидывали в ров и шли за новой — и так беспрерывно целый день. И каждый знал, что и его час придет, что и его голого и посиневшего также стащат в эту длинную братскую могилу, отмеченную белым свеже-обструганным крестом.

Люди озверели. Началась жестокая, смертельная борьба за жизнь, за кусок хлеба, за гнилую картофелину, за вшивую портянку. С горящими от алчности глазами, пленные следили друг за другом и горе слабому. Его жалкий дневной паек в 150 грамм хлеба вырывался из рук и здесь же пожирался, с умирающего стаскивали шинель, сапоги, портянки и тут же сбывали за кусочек хлеба, за самокрутку махорки, С опасностью для жизни пленные пробирались мимо часового к мусорной яме и там, хватая друг друга за горло, дрались из-за гнилой замерзшей картофелины, из-за очистков, выброшенных сюда с финской кухни.

Люди сходили с ума. Пробовали есть дерево, бумагу, землю. Пол-литровую порцию «баланды» разводили снегом и только тогда съедали, бумагу рвали в мелкие кусочки и смешивали с кашей, дерево перемалывали в муку и пробовали из нее печь лепешки. Голод победил волю и рассудок людей, он отнял у людей человеческие свойства — совесть, честь, лю-

бовь, сострадание. Всем правил только один закон: сильный — выживает, слабый — гибнет, и этому закону подчинились все.

А по баракам ходил старшина с резиновой палкой, наблюдая строгий режим и порядок. На плацу же у колючей изгороди стояли часовые финны с автоматами и зорко стерегли свое, погибающее в смраде и вшах, стадо. Над лагерем развевался государственный флаг Финляндии — синий крест на белом поле.

5. В лагере смерти

Так назывался лагерь военнопленных в Нара-Ярви. Это красивая возвышенная местность в центре Финляндии. Лес, небольшое, чистое озеро, проезжая дорога. Лагерь обнесен колючей проволокой, за изгородью длинными рядами выстроились белые, деревянные кресты — это кладбище военнопленных, место их вечного упокоения.

Меня привезли сюда в двадцатых числах декабря 1941 г. Наступали суровые рождественские морозы. В папочных бараках было холодно, сыро, грязно. На четырехэтажных нарах сидели и лежали скорчившиеся люди, тесно прижимаясь друг к другу, сберегая драгоценное тепло. Проходили дни, недели, месяцы, а люди ни разу не снимали с себя шинелей и тулупов, не стаскивали с голов завшивевших шапок. Всё это многоголовое человеческое стадо бурно оживало только по команде: «Выходи строиться на обед!» или «Выходи на ужин!». Тогда с нар слетали, падали и ломали себе руки и ноги десятки и сотни людей. Вылезали еле державшиеся на ногах больные с отмороженными руками и ногами, из-под нар и из-за печей выползали черные, покрытые коростой «доходяги», которых ничто уже кроме этой магнетической команды не могло бы заставить покинуть свои норы. Поднимались умирающие и, еле передвигая ногами, плелись в хвосте колонны и, получив свой скудный паек, затискивали его под вшивые лохмотья и, не имея уже сил возвратиться, тут же, скрючившись, валились на снег.

Я с ужасом знакомился с этой страшной жизнью в лагере смерти. В первую же ночь по своем приезде, я лежал на голой земле под четырьмя рядами нар. Со мною рядом находился доктор Л., седой, сгорбившийся человек, прошедший длинный и трудный путь в жизни. Среди ночи он вдруг вскочил и принялся трясти меня за плечо.

— Послушайте, меня обокрали, — говорил он, показы-

вая на разрезанное бритвой дно противогаза, заменявшего ему вещевой мешок, — пайка хлеба, четыре печеных картошки и банка консервов... — перечислял он, в голосе и жестах его чувствовалось неподдельное отчаяние. — Хлеб, картошка и банка консервов, рыбных консервов, я берег ее... — и он вдруг заплакал, как ребенок, жалобно и безнадежно.

Я смотрел на этого седого человека, прошедшего ужасы фронта, боев, видевшего страдания и смерть и теперь рыдающего над банкой украденных консервов. Слезы из глаз этого человека выжал ужас голодной смерти. Голод! Страшное, потрясающее слово. Чтобы понять его, нужно видеть хищный блеск глаз голодного, скорченные в судороге пальцы, превратившиеся в когти зверя.

6. Будничный день

Еще ночное, чистое небо блестит холодными, северными звездами, когда пробуждается Наро-Ярвский лагерь. Голодным, больным, умирающим — не до сна. «Доходяги» натягивают пилотки на уши, на глаза; приподнимают воротники стареньких шинелей, заматывают ноги в тряпье и обрывки бумаги и отправляются на утренний промысел. За ночь на плацу лагеря сменялись несколько раз финские часовые, может быть в снегу и валяется какой-нибудь окурочек папиросы. У кухни нет-нет, да и найдешь, бывает, картофелину или кусочек брюквы, а может удастся прошмыгнуть мимо сонного по утру стража и добраться до помойной ямы, что у финской кухни, ну а там раздолье — наешься и на табачек останется выменять. И «доходяги» по звериному рыскают по всей территории лагеря. Недаром этих ночных охотников за пищей прозвали «шакалами».

В 5 час. утра поднимаются санитары и дневальные по баракам. Они очищают помещение от умерших за ночь, делают вид, что подметают или моют полы и, наконец, громко кричат: «Подъем, вставать!».

Собственно говоря, подъем объявляется больше по традиции. Пленные уже давно поднялись с нар и с нетерпением ждут утреннего кипятку и хлеба. Наконец, выходят старшины. В 7 часов раздача утренней порции. Старшинам тогда много дела. Нужно с резиновой «пампой» стоять у кухни и следить, чтобы какой-нибудь ловкач не сумел получить хлеб два раза. Но на этот случай имеется «пампа» — толстая резиновая палка. Удар «пампой» по голове сваливает с ног любого пленного.

И вот стоит этот старшина — гроза военнопленных, — одетый в меховой тулуп, валенки, шапку-ушанку, рукавицы и зорко поглядывает на «доходяг». Редкий смельчак решится отважиться на незаконное дело. Старшины в сознании пленных представлялись какими-то необыкновенными личностями. Старшина получал по целому двухлитровому котелку густой «баланды» и двойную порцию хлеба, он ходил каждую субботу в баню и менял там белье, зато он и владел «пампой», колотя людей по чем попало. В старшины бараков пробивались только особо энергичные люди — жестокие, равнодушные к чужому горю. Эти быстро втершиеся в доверие к финнам люди стали властителями над военнопленными.

Наконец, 150 гр. хлеба и ½ литра теплой водицы получены и молниеносно уничтожены. Как всегда не обходится без недоразумений. Какой-то сгорбленный «доходяга» с отчаянием разводит руками и плачет жалобным, тонким голосом: кто-то вырвал у него из рук пайку хлеба. «Доходяга» робко приближается к старшине, что-то лепечет, низко кланяется и весь дрожит от ужаса и горя. Но старшина — это скала. Он пинает доходягу и тот, под громкий хохот зрителей, летит в снег.

После «завтрака» голод начинает ощущаться с удвоенной силой, Люди всеми способами стараются его заглушить. Кто-то достал кусочек смолы с соснового дерева. Ее можно жевать не проглатывая; процесс жевания вызывает обильную слюну, как будто утоляя голод. Все с жадностью смотрят на человека, двигающего челюстями, кажется, что он бесконечно долго ест что-то вкусное. Вокруг него собирается кружок голодных, они стоят и смотрят на жующего...

В 10 — утренняя прогулка. Старшины опять вооружаются «пампами». Чтобы выгнать голодных и больных людей с отмороженными и атрофированными конечностями на 30-градусный мороз, чтобы выкурить из-под нар и из-за печей «доходяг», нужно терпение и умение, нужно не иметь сердца и нервов. Но нароярвские старшины обладали этими качествами.

И вот, растянувшись на широком, покрытом льдом и снегом, плацу уже плетутся друг за другом человеческие тени, скорченные, дрожащие, задыхающиеся. Ветер рвет их худые шинелишки, леденит кровь, засыпает их хлопьями снега.

— Бегом... арш! — командует старшина и финны, присутствующие на прогулке, покатываются со смеху.

Комичная и вместе с тем до ужаса трагичная картина: «до-

ходяги» еще более втягивают головы в приподнятые воротники, еще более горбятся и изо всех сил стараются быстрее передвигать опухшими, как бревна, ногами, обернутыми только в тряпки и бумагу и перевязанными обрывками веревок. И люди, которые уже этой ночью будут в предсмертном хрипе умирать, сейчас, напрягая остатки сил, потешают финское командование, — жалкая, гнусная и страшная картина!

Наконец, время подходит к обеду. В 12 часов подается заветная, долгожданная команда:

— Выходи строиться на обед!

И опять старшины выстраиваются у кухни со своими черными «пампами». 750 грамм «баланды» с нечищеной, гнилой картошкой или мерзлой брюквой пожираются так же молниеносно, как и утренний хлеб.

В 4 часа пополудни бараки обходит военнопленный «врач». Этот молодой, 25-летний студент медицинского института, по его словам, был приговорен в Советском Союзе к расстрелу, но бежал через линию фронта к финнам. За достоверность его рассказа ручаться нельзя, это была темная, мерзкая и жестокая личность. В бараках он не появлялся иначе, как с «пампой». Едва кто-нибудь из пленных заикнется о своей болезни, как «доктор», сжимая в руке палку, направляется к наивному человеку.

— Встать! — коротко командует он.

Больной стонет и показывает свои раны.

— Встать! — вторично приказывает «доктор».

На третий раз он осыпает больного ударами «пампы».

— Ну, теперь выздоровел? — говорит он, задыхаясь и скаля в улыбке зубы. — У меня, брат, лекарство замечательное...

Операции он производит быстро и решительно. Операционный нож и пилку ему заменял простой дровяной топор и людям, даже с весьма легко отмороженными конечностями, он безжалостно отнимал руки и ноги этим орудием лесорубов и мясников.

В 6 часов вечера старшины в третий раз образуют железную цепь вокруг кухни. Выдается ужин — 750 грамм водянистой «пуры» или каши и 50 грамм хлеба.

В 8 часов — вечерняя поверка и отбой ко сну.

С высокого шеста на плацу лагеря медленно спускается государственный финский флаг. День в лагере смерти кончился.

7. Отъезд

В конце февраля 1942 года всех военнопленных поляков Нароярвского лагеря выстроили на площади. Нас было немного, всего 10 или 12 человек. Пришел старшина и объявил, что пленных польской национальности отправят в пересыльный лагерь Nastola для дальнейшей переотправки в Хельсинки, а оттуда на родину.

Радости нашей не было границ. Положение военнопленных поляков ничуть не отличалось от положения остальных военнопленных. Все — будь то поляк, белорусс, украинец, еврей или русский, будь то советски-настроенный человек или антикоммунист, — все без различия были смешаны в общую массу и всем была уготована одна и та же судьба: 200 грамм хлеба в сутки, вшивый барак и резиновая пампа старшины. В привилегированное положение были поставлены только военнопленные карелы.

В 2 часа пополудни конвоир отвел нашу группу на станцию, втолкнул в товарный вагон и запер его. Маленький, как бы игрушечный паровозик издал пронзительный свисток и наш состав отправился в путь.

Уже чувствовалась весна, и даже сквозь наглухо закрытые двери и оконца товарного вагона, мы ощущали, как по весеннему ярко светит солнце. Мы были такие же голодные, грязные, но полны радужных надежд, боялись даже и думать, что подходит конец этой страшной неволе, конец нашему нечеловеческому страданию. И, под торопливый перестук колес, худой, со впалой грудью и всеми признаками скоротечной чахотки Янек Гжембовский вдруг запел задыхающимся, слабым голосом.

Это была радостная минута.

Приближалась ночь. Конвоир позабыл о нас и ни разу не заходил в вагон. Я забрался на верхние нары, укутался шинелью. Хотелось думать о будущем, о новых, лучших переменах в жизни, но перед глазами неотступно стоял лагерь смерти, доходяги, гибнущие люди, всё тысячеголовое, несчастное людское стадо, умирающее за колючей проволокой лагеря.

Да, думал я, судьба военнопленных в Финляндии это — позорная страница в истории этой страны и ее не зачеркнут долгие и долгие годы.

Александр Ос.

ОКАМЕНЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ

Сохранил ли коммунистический строй свою динамичность, ту динамичность, которой он несомненно обладал в первые годы своего существования, способность к быстроте и натиску, навязчивое, почти маниакальное стремление ломать и строить, чтобы опять ломать и опять строить по новому плану?

Чтобы дать на этот вопрос точный и осмысленный ответ, нужно отчетливо различать между работой системы, всё равно какой, механической, биологической или социальной, и изменениями в системе. Большинство систем работает: механическая система преодолевает сопротивление и преобразовывает материю, биологическая система (организм) потребляет воздух и пищу, социальная система ежедневно удовлетворяет потребности своих членов в пище, осведомлении, увеселении и т. д. Это еще не динамика: в этих случаях положение вещей не меняется, завтра похоже на сегодня. Напротив того, изменение наступает, если работа прекращается, скажем, вследствие забастовки в жизненной отрасли промышленности. Система может, однако, не только работать, но и меняться в частях и целом. Механическая система изнашивается, биологическая система сначала растет, а потом тоже изнашивается, социальная система может творить новые организации и новые формы удовлетворения человеческих потребностей — при этом лучшие или худшие, с точки зрения ее членов или сторонних наблюдателей. Социальная система или, попросту, строй динамичен, если таких изменений много и они значительны. В таком смысле и ставится в этой статье вопрос о динамичности коммунистического строя. Вопрос должен быть однако сужен: важно установить, динамичен ли коммунистический строй в России, т. е. там, где он имеет за собой 35-летнюю давность. Относительно новых частей советской империи, т. е. сателлитов и Китая, вопроса не возникает: понятно, там строй динамичен, ибо там протекают процессы приспособления исторических укладов жизни к образцу, выработанному коммунистическим опытом в России, с его разочарованиями и горькими для властителей уроками. Там система, конечно, весьма динамична.

Были времена, когда динамичность коммунистического строя в России была вне спора. Вспомним натиск первых после революции лет, попытки не мытьем, так катаньем осуществить социализм хотя бы в городе; стремительное отступление начала НЭП-а и более поздние второстепенные реформы в нем; головокружительную быстроту социальных сдвигов в начале первой пятилетки, включая коллективизацию сельского хозяйства; и менее заметный и потому многими просмотренный переход на позицию национал-коммунизма в сочетании с неожиданными, непредвиденными компромиссами в сферах религии, семьи, школы и всей интеллектуально-эстетической стороны культуры, где первоначальные ультра-прогрессивные установки сменились отходом на реакционные позиции. Многие из этих изменений были настолько разительны, что человек, на несколько лет покинувший Россию, лишенный за эти годы всякого осведомления и потом в нее вернувшийся, сопоставляя свои наблюдения «до» и «после», легко пришел бы к заключению, что за его отсутствие там произошла революция. Почти небывалыми в истории представляются те крупные и многочисленные изменения в системе, которые обнаруживаются при сравнении ее состояния, скажем, в 1920 и 1923 гг., или 1927 и 1932 гг., или 1932 и 1939 гг., при сохранении полной преемственности в правительстве. Революции не было; была высокая динамичность системы.

На этом основании сложилась даже готовность приписывать высокую динамичность самой природе коммунизма, и эта пресловутая динамичность, конечно, принадлежит к числу его притягательных свойств, ибо многие склонны преклоняться перед смелостью, решимостью, натиском. В конце концов, такими свойствами, а не противоположными, обладало большинство героев, утвердившихся в летописях истории.

А на самом деле можно утверждать, что в последние годы коммунистическая система работает, т. е. делает то самое, что от нее ожидается, но уже мало изменяется. Иными словами, она в значительной мере утратила свой первоначальный динамизм. Подтвердить это утверждение можно, присмотревшись поочередно к отдельным сторонам строя.

Политический отдел системы окончательно сложился уж к концу 20-х годов. К пятидесятилетию Сталина (1929 г.) миру вообще и России в частности был явлен лик Великого Вождя. Восшедший к власти по линии партийной бюрократии, он возглавил строй, покоющийся на политико-хозяйственно-военной бюрократии, пронизывающей и объединяющей в централизованном управлении все ткани общества. Правда, еще

в 30-х годах были попытки сместить вождя; но система в этом отношении работала удовлетворительно и эти попытки отбила. По существу, изменений в ней не происходит уже более 20-ти лет; сталинская конституция (1936 г.) и переименование народных комиссаров в министры (1946 г.) имели только символическое, а не реальное значение; о своей конституции Сталин сам это заявил. Защитный аппарат власти также менял свои названия, но под 14-летним руководством Берии не изменился ни на иоту. Были колебания со смертной казнью, но так с самого начала повелось в коммунистической системе. По существу, начиная с половины 30-х гг. простая смертная казнь (расстрел) сменилась квалифицированной — медленным и мучительным умерщвлением в «трудовых лагерях». Своим изобретением власть довольна и что-либо изменять в нем по-видимому не собирается.

А регулярная часть бюрократии, т. е. та, которая занята не террором, а чем-то иным, работает так же, как 10 или 20 лет тому назад; всё те же жалобы на халатность, медленность, бездушие, взяточничество проступают в порядке самокритики и окриков сверху. Давно уж, по отношению к средним и высшим рангам, выработался принцип — не давать аппарату застаиваться, не давать чиновникам сращиваться с населением. Это особенно ярко проступает в национальных республиках, где сближение властей с местным населением представляет для центральной власти наибольшую опасность. Но, как бы символизируя стабилизацию коммунистической диктатуры, почти прекратились перемены в самом высшем персонале. Исключением представляется так никогда и не объяснившееся исчезновение Вознесенского; но вызвавшая было столько толков «отставка» Молотова и некоторых других членов политбюро от министерских постов оказалась лишенной политического значения технической перестановкой сил.

Но вот в августе 1952 года был опубликован проект нового устава партии, который в октябре будет утвержден 19-м ее съездом. Устав этот упраздняет один из жизненных нервов системы, политбюро, учрежденное за 2 недели до октябрьского переворота и формально закрепленное в 1919 году, а заодно с ним и оргбюро. Вместо них создается президиум центрального комитета коммунистической партии СССР. Это ли не реформа, это ли не новый приступ динамизма!

Конечно нет: в передовой «Правды» и заявлении Хрущева разъяснено, что политбюро просто получает более подходящее название президиума, тогда как оргбюро сливается с секретариатом, работу которого оно дублирует. Реформа, по

существу, вполне аналогична той, которая выразилась в сталинской конституции: это — реформа консолидационная, а не творческая, что не помешает ей быть немедленно повторенной в сателлитах и даже за пределами советской империи, всюду, где существуют коммунистические партии. Центр тяжести нового устава «Правда» и Хрущев видят в укреплении партийной дисциплины, т. е. в задании, над осуществлением которого система работает вот уже 25 лет.

Экономический отдел системы окончательно сложился к половине 30-х годов; он покоится на государственной монополии хозяйства и централизованном планировании, но допускает некоторые отступления от чистоты коммунистических принципов: индивидуально обрабатываемые участки и индивидуальный скот в колхозах, «вольный рынок», промысловые артели и, в особенности, прогрессивно-сдельная оплата труда. Показательно, что затеянные было реформы не прошли, и это независимо от их направления: в 1946 г. была восстановлена потребительская кооперация в городах с острием в сторону соревнования с государственной торговлей; но через несколько лет реформа была отменена. В 1950 году на весь мир нашумел план уничтожения деревень и переселения крестьян в агрогорода. Но шум продолжался недолго; вскоре план был объявлен праздной затеей и исполнение его отложено на неопределенное время; произошло лишь укрупнение мелких колхозов ради технического усовершенствования существующей системы, а не ее изменения.

Давно уже построенная машина продолжает работать по принципам, заложенным в нее при самом основании (т. е. с начала первой пятилетки): бешеными темпами с неимоверной растратой человеческих сил и материальных благ; продолжает развиваться и всё больше и больше производить тяжелая промышленность; медленно поспевает за ней, точнее, еле поспевает за приростом населения, легкая промышленность; и с тяжелыми перебоями работает на основе нового крепостного права сельское хозяйство, которое, несмотря на все тракторы и комбайны и выгоды хозяйствования на крупных площадях, так и не может обеспечить населению сколько-нибудь сносное питание. Раздаются всё те же жалобы на низкое качество промышленных товаров, уделяемых массовому потребителю, и на бессмысленное выматывание сил покупателей коммунистическими предприятиями, служащие которых, вопреки заветам Ленина, так и не научились торговать.

Там, где система государственного хозяйства встречается с частными интересами, беспрерывно и безрезультатно проис-

ходят не то авангардные, не то арьергардные бои. Государственный аппарат усиленно работает в целях подавления частнохозяйственной системы в колхозах. Обозначился его успех на фронте животноводства — индивидуального скота всё меньше, коллективного больше. Но колхозные земли продолжают разбазариваться, в частности, переходить в руки домовитых хозяев. Трижды, в 1939 г., 1946 г., 1952 г., принимались против этого решительные меры, но дело пахнет сказкой про белого бычка. Попрежнему, частно-хозяйственная стихия стремится к прорыву на торгово-промышленном фронте. Постоянно изобличаются и распускаются лже-кооперативы, прикрывающие частные промышленные предприятия, основанные на наемном труде и движимые мотивом прибыли. Недавно в одном из районов Белоруссии обнаружена целая сеть частно-владельческих портняжных предприятий; да как им не быть, когда государственная промышленность продолжает выпускать никуда негодные костюмы, к тому же по недоступным рядовому обывателю ценам.

Одновременно с хозяйственным, сложился и социальный уклад коммунистической системы, т. е. лестница классов, на которые распадается общество, точнее, категорий, члены которых, внутри каждой из них, общаются на началах равенства, тогда как на членов других смотрят сверху вниз или снизу вверх. Уже к концу тридцатых годов определились четыре основные категории, которые, применительно к бюрократической основе всего общественного строя, можно назвать министерской (самая верхушка правящей бюрократии плюс немногие избранные деятели науки, литературы, искусства и медицины), директорской (технократический слой бюрократии, опять-таки с добавлением приравненной категории интеллигентов), мелко-бюрократической (целая армия исполнителей в недрах бюрократической машины, плюс низшая прослойка интеллигенции, плюс рабочая аристократия, выдвигающаяся через стахановское движение) и трудовой (покрывающей миллионы колхозников и рабочих промышленности и транспорта). Уже тогда новая социальная иерархия получила символическое подкрепление в чинах и орденах и тогда же, по показаниям очевидцев, сложились новые, для коммунистического общества, порядки общения, чинопочитание снизу вверх, презрительное отношение сверху вниз. К 1940 году проступила тенденция к закреплению мест в двух верхних классах за потомством тех, кто к ним принадлежит. Декрет о плате за правоучение в средней и высшей школе затруднил подъем по социальным ступеням для детей лиц с низким заработком, а декрет

о трудовых резервах зафиксировал сохранение в низшем классе значительной доли его молодого поколения. С тех пор социальная лестница осталась без перемен; как всякая социальная лестница, она работает на сохранение и закрепление сложившихся отношений. Конечно, и сейчас возможно движение по этой лестнице вверх и вниз; но для каждой личности шанс на движение вверх неизмеримо меньше, нежели был 15 или 20 лет тому назад.

Семейный уклад проделал сначала стремительное движение вниз, в сторону «свободных союзов» и сведения к минимуму связи между родителями и детьми, а с 1935 года столь же стремительное движение вверх, к восстановлению прочной семьи и родительского авторитета. В 1944 г. появился известный декрет, крайне затруднивший развод и установивший ряд денежных выдач и почетных отличий в пользу многодетных семей. С тех пор в этой сфере не произошло ничего нового, если не считать, что в 1948 г. были значительно сокращены поощрительные платежи — очевидно, рождаемость пошла вверх, что рассеяло тревоги власти. Не слышно больше о приемах героинь материнства в Кремле, как давно не слышно больше о приеме стахановцев. Те и другие сделали свое дело; отличия на обоих поприщах, вернее, их официальное признание и поощрение, вошли в рутину и больше не нуждаются в бьющем на воображение подчеркивании.

Школа проделала путь, подобный пути семьи с той разницей, что перелом наступил раньше, уже в начале тридцатых годов. Уже давно она закреплена в принципиальном возврате к временам Толстого и Делянова. С 1943 г., когда состоялась отмена совместного обучения, она работает своим ходом, не подвергаясь новым реформам, если не считать состоявшегося в августе 1952 г. восстановления преподавания латыни в 32 средних школах и классической филологии в некоторых университетах. Интересно, что о реформе, в сущности очень второстепенной, говорили давно. Потребовались, однако, годы, чтобы ее провести, явление, характерное для социальных систем, утрачивающих свой динамизм.

Нечто подобное можно подметить и в правовом отделе коммунистической системы. Сталинская конституция 1936 года перенесла кодексы гражданский, уголовный, гражданско-процессуальный и уголовно-процессуальный из компетенции союзных республик в компетенцию союза. Тогда же было объявлено о начале работ по составлению общесоюзных кодексов. Но воз и ныне там: изредка появляются заметки о продвижении работы или робкие попытки советских юристов подсказать

власти ту или иную деталь. Но за 16 лет дело не дошло даже до опубликования предварительных проектов. Конечно, издание кодексов, или уложений, как их называли до революции, — дело сложное. При царском режиме потребовался 21 год (1882—1903), чтобы довести до конца уголовное уложение. Но тогда работа предполагала многие шаги, ныне неуместные: предварительный проект был отпечатан и разослан, по-русски и в переводах, всем видным криминалистам; их замечания были использованы в восьмитомных объяснениях редакционной комиссии, ставших одним из классических трудов по уголовному праву. К тому же, вряд ли кто припишет царскому режиму преизбыточный динамизм. А вот, по крайней мере в сфере права, темпы коммунистического творчества отстали от царских.

Компромисс с религией, начавшийся в 1939 году (не в 1941 г., как то часто ошибочно утверждают), закрепился в формах, сложившихся в 1945-6 годах. Православной церкви предоставлена возможность сравнительно сносного материального существования и беспрепятственного совершения богослужения в храмах более многочисленных, нежели в дни гонений. Подобными льготами пользуются также некоторые протестантские секты и армяне-григориане. Безбожная литература сведена на уровень «просветительной» литературы, доказывающей ненужность религии, но не оскорбляющей ее прямо. Высшие иерархи должны следить за тем, чтобы ничто, совершающееся в церкви, не подкапывалось под основы существующего строя, и иногда делать выступления, дающие моральную поддержку внешней политике советского правительства. Заграницей время от времени распространяются слухи о подымающейся волне гонений. До сих пор они всегда основывались на недоразумении, на какой-либо статье в «Комсомольской Правде» или местной печати, разоблачающей религиозные предрассудки и призывающей к усиленной борьбе с ними. Недоразумение состоит в том, что компромисс никогда не включал отступления власти от открытого признания религии вредным пережитком прошлого, от коего нужно избавиться в порядке спокойной, но систематической работы, преимущественно в школе. Сложившиеся отношения, вероятно, никого не удовлетворяют, но изменить их пока что не может ни та, ни другая сторона. Система работает, дозволяя государству накачивать в сознание молодого поколения несовместимое с религией мировоззрение, а церкви — бороться за души путем богослужения, в коем каждый возглас, каждое чтение, каждое песнопение полностью противоречит тому, что

преподается государством. Это последнее, благодаря церковным выступлениям, выигрывает многие стычки на фронте борьбы за умы и сердца многомиллионных масс вне советской империи, а церковь выигрывает от аннексий и насильственных обращений (например, униатов), но больше всего — от поддержки планов о создании в Москве какого-то всеправославного центра, более влиятельного, нежели сведенный почти нанет вселенский патриархат в Константинополе. Всё это ярко проступило уже на всероссийском поместном соборе 1945 года и с тех пор не изменилось.

Почти с самого основания коммунистического общества стало проводиться изобретение Ленина, которое можно назвать «управляемой культурой». Это — не ограничение свободы интеллектуальной и эстетической деятельности путем создания запретных зон и путей, ограничение вредное, но как показывает исторический опыт, не исключающее возможности расцвета творческой деятельности: итальянский ренессанс и «золотой век» нашей литературы протекали на фоне политического произвола, всегда с такими ограничениями связанного. Нет, это — систематическое указание ученым, мыслителям, литераторам, художникам, музыкантам того, *что* они должны делать, подкрепляемое наградами, подчас весьма щедрыми, тем, кто послушен, и карами, вплоть до «высшей меры наказания», ослушникам — погиб же на Колыме Вавилов за упорный отказ идти по предуказанным путям. Всё это — в духе рационалистического обскурантизма, как В. Вейдле правильно назвал лейт-мотив советского коммунизма в его теперешней фазе.

При системе управляемой культуры, содержание навязываемой деятельности может меняться. Оно и менялось — вплоть до половины 30-х годов. Но с тех пор оно установилось довольно прочно: гуманитарные и общественные науки должны питаться от корня диалектического (но не механического) материализма, допускающего и всё больше подчеркивающего роль «великих людей», в особенности, после победы социализма; в биологии должна господствовать генетика Лысенки а не Менделя-Моргана; в литературе стиль должен быть социалистически-реалистический; в музыке надлежит следовать традициям русских классиков и всячески избегать формализма; в живописи за образец взяты передвижники. Всё это с самого начала нового периода, т. е. с половины 30-х годов, густо переплетается с требованием превознесения всего русского за счет всего иностранного и ежечасного и всемерного восхваления «великого вождя». На время войны допускалось

сосредоточение внимания на русском историческом прошлом; по ее окончании дозировка изменилась в пользу современности. Русский народ велик не столько своим прошлым, сколько тем, что он дал миру Ленина и Сталина. Те, кто этого не понимают, объявлены гнусными «космополитами».

Единственная реформа в этой сфере за последние годы произведена пресловутым сталинским выступлением об языкознании в марксизме (июнь 1950 г.). Реформа эта одним взмахом пера обратила в небытие, почти в буквальном смысле слова, всё то, что делалось в советской лингвистике с половины двадцатых годов, под водительством Н. Я. Марра. По существу эта реформа противоречит всему тому, что делается на научном фронте: она возвращает советскую лингвистику от абракадабры «марровшины» к здравому смыслу и заодно на позицию, близкую к занимаемой западной наукой. Интересно, что в известной части реформа эта не удалась: сталинский «опус» оканчивается властным требованием, чтобы ученые вновь взяли в руки оружие свободной критики. Этого они, конечно, никак не могут сделать и продолжают ждать, пока великий вождь и его присные подскажут, в деталях, пути, которые им надлежит избрать.

Итак, система управляемой культуры работает, но, за исключением инцидента с языкознанием, в сущности не меняется. Необходимость, в научном и эстетическом творчестве, следовать директивам власти равносильна смертному приговору этому творчеству. Советские драматурги не дают надлежащей пищи советскому театру, советская музыка не находит новых путей, советские кинематографы не в состоянии производить нужное число фильмов — в 1950 г. их выпущено только 13, а в 1951 г. — только 9, после 40 или 50 в тридцатых годах. Но и то новое, что дается советской драматургией или кинематографией, никого не удовлетворяет. Новые пьесы быстро снимаются за отсутствием публики, а новые фильмы вытесняются «Тарзаном» и музыкальными фильмами западного производства.

Обзор важнейших отделов коммунистической системы, как будто, подтверждает утверждение о затихающем, почти затихшем ее динамизме. Внешне это проявляется в том факте, что в настоящее время книги о советской России не оказываются устаревшими чуть-ли не в день выхода их из печати, как часто случалось с книгами, появлявшимися в двадцатых и тридцатых годах.

Затихание динамизма, конечно, не относится ко внешней политике. В этой сфере выигрыш второй мировой войны и

необыкновенно благоприятная конъюнктура, сложившаяся по ее окончании, привели к крупнейшим изменениям, к переходу от выжидательной, часто оборонительной тактики к стремительному натиску, приведшему к созданию советской империи. Затихающий внутри динамизм сочетался с бурной экспансией во-вне. Вполне возможно, что между двумя явлениями есть причинная связь: внешняя экспансия потребовала огромной затраты энергии, которой стало не хватать на углубление коммунистической революции внутри, а явно бессмысленная и вредоносная работа машины, не дающая людям ни свободы, ни равенства, ни покоя, ни материальных благ, могла потребовать отвлечения внимания на внешние успехи.

Но, конечно, не в этом основная причина окаменения коммунистического строя в формах, сложившихся между 1935 и 1945 годами — почти все приведенные выше даты последних существенных изменений укладываются в рамки этого десятилетия. Существующая система сложилась в результате поисков равнодействующей между заданием коммунизма, с одной стороны, и объективными данными русского пространства, народов, его населяющих, и их исторически сложившейся культуры с другой. Когда эта равнодействующая была найдена, малые колебательные движения не прекратились: то здесь, то там частичный успех одерживается то властью, то противостоящими ей силами. Последнее часто не замечается, но бывает постоянно: это происходит всякий раз, как колхозник отхватывает, по сговору с председателем колхоза, четверть десятины земли от обобществленного поля, как кто-либо создает лже-кооператив, как писатель или поэт создает неугодное власти произведение.

Система сложилась, понятно, без заранее составленного плана. Равнодействующая прошла вот здесь, а не где-то там; так бывает и на войне, когда линия фронта застывает на причудливой, никем заранее не намеченной линии, как то случалось во время первой мировой войны и на наших глазах произошло на корейском фронте.

Каково значение застоя в коммунистической системе, с точки зрения шансов революции, имеющей смести коммунизм? К сожалению, неблагоприятное. Изучение истории важнейших революций приводит к выводу, что в застывшем в неподвижности обществе революция сравнительно невероятна. Революция происходит легче всего в быстро меняющемся, часто в прогрессивную сторону, обществе, поскольку развитие его протекает негармонично, неравномерно в его составных частях. Русская революция произошла в обществе, которое раз-

вивалось с большой быстротой, экономически и культурно, но в котором отставали политические формы. Революции в Азии, как уже совершившиеся, так и как будто готовящиеся, имеют своей сценой общества, прожившие веками в застывших формах (тогда революций не бывало!), но вдруг проснувшиеся под влиянием контакта с западными идеями и учреждениями, отчасти внесенными самими европейцами, отчасти импортированными местной молодежью, получившей образование на Западе, отчасти насажденными недавно европеизированной Японией в годы ее эфемерных успехов. Застывающие в своих формах общества всегда склонны отгораживаться от внешнего мира — отсюда и железный занавес, спущенный для того, чтобы проникновение подлинных и наглядных знаний о жизни иной, нежели коммунистическая, не послужило ферментом для быстрого развития несоответствия между условиями коммунистического бытия и не-комунистическим сознанием, которое в таком случае могло бы получить господство.

Но и лишенным динамизма системам может прийти революционный конец — эволюционный, в порядке сознательного перехода к другому строю, для них исключается самой природой вещей, ибо такой переход равносилен напряженному проявлению динамизма. Коммунистическая система кажется неприступной твердыней; но в ней есть слабое место — единоличность ее двигателя в связи с отсутствием механизма для передачи роли верховного вождя от одного лица другому. В неизбежном, и не слишком отдаленном будущем такая передача состоится — и тут открывается первый из путей, могущий привести к революционному концу. Второй путь — это столкновение коммунистической системы с внешним миром, в связи с преизбыточным динамизмом этой системы во внешней политике: столкновение может привести к неудачам, которых на этот раз не простят подсоветские народы, как они, по словам Сталина, сделали за последнюю войну. И, наконец, есть и третий, долгий путь: это постепенное накопление неблагоприятных результатов работы коммунистической системы, не только неблагоприятных, но и противоречивых. Еще нельзя предсказать, между какими отделами системы накопятся трения и противоречия; но тот элемент случайности при нахождении равнодействующей, о котором было упомянуто выше, вместе с противоестественностью многих из целей, коим система служит, делает такой результат вполне возможным. Система сложилась для проведения, в спешном порядке, основных заданий социализма-коммунизма в ленинском истолковании; но за 35 лет своего существования окончательно пере-

родилась в систему, служащую укреплению и развитию власти тех, кто захватил ее во имя марксизма-ленинизма, и их постепенно подбираемых преемников. Она подобна теократии, управляемой жрецами, не верящими больше в своих богов. Такие теократии всегда падали. Падет и коммунистическая лжетеократия, несмотря на избрание ею политически правильного (с точки зрения ее собственных интересов) пути затихающего динамизма и прекращения связей со внешним миром.

Н. С. Тимашев

ОПРАВДАНИЕ НАРОДНИЧЕСТВА[1]

Говоря общó, под идеологией следует разуметь сумму ответов на вопросы о личном и общественном бытии, — в частности о том, куда идет история человечества? Чем обусловлен ход истории? Есть ли в истории смысл? И т. п. Попытки ставить такие вопросы и давать на них те или иные ответы делались с незапамятных времен. И попытки эти встречали неизменно двоякого рода отношение — положительное и отрицательное.

До наших дней удержался взгляд, что без «целостного миросозерцания» или «большой исторической концепции» невозможно, немыслимо и бесцельно какое-либо общественное делание, образование политической партии или даже начертание программы. С другой стороны, отрицательное отношение ко всяким идеологам и идеологиям, как никчёмному мудрствованию, по сей день вдохновляется наполеоновой враждой к «идеологам», известным сарказмом по адресу «профессоров», обрекающих на гибель государственность, марксовым утверждением, что «шаг действительного движения», или практический шаг важнее дюжины программ и партий.

Истина, на наш взгляд, лежит не посредине или между этими крайними взглядами — избыток идеологии плох, в умеренной же дозе она хороша. Она в другом. Идеология вещь чрезвычайно существенная и ценная. Она присуща даже тем, кто решительно отрицает ее значение. Но идеология не только субъективна, она и индивидуальна. Где она не навязана, не вынуждена, не казенного образца, как при тоталитарных режимах, она всегда окрашена личным чувствованием, своей особой и неповторимой «аурой». Как не существует в природе двух абсолютно тождественных листиков растения или кожных покровов человеческой ладони, так не существует, не может существовать и более сложного тож-

---

[1] Об «оправдании» здесь говорится в том же смысле, в каком Владимир Соловьев свою систему этики считал «Оправданием Добра».

дества — в чувствовании и мышлении даже чрезвычайно близких друг другу индивидов.

Идеология связана с практической деятельностью, личной и общественной, но связь эта проходит чрез индивидуальное сознание. Общеизвестно и неоспоримо, что одна и та же идеология — христианство, либерализм, народничество, марксизм — может вдохновлять к разным, иногда противоположным актам. И, обратно, — одни и те же действия могут вдохновляться разными идеологиями. Антибольшевистская практика оправдывается самыми разными, часто враждебными и враждующими между собой, идеологиями. И одна и та же идеология — тот же марксизм — вдохновляет и большевиков, и некоторых из их убежденнейших противников. Политическое разногласие и борьба в этом случае осложняются спором о том, что́ есть подлинный марксизм — тот, который защищают большевики, или тот, который дорог их противникам, меньшевикам?

В мире «критического разума» началом и концом является личное сознание, индивидуальное убеждение. В мире же «практического разума» каждый вынужден свои действия согласовывать с действиями других. В терминах не Канта, а Шопенгауэра, «мир как представление» — в идеологическом плане — индивидуален, тогда как «мир как воля» — коллективен, предполагает совместные действия и, потому, обязывает к соглашению, компромиссу, отказу от самоутверждения.

Идеология — великая вещь в личном аспекте, для индивидуального сознания. И она имеет совершенно второстепенное значение, иногда даже служит препятствием к сложению сил для общественного делания. Совместные действия вовсе не требуют единой идеологии, для всех одинаково нерушимой и обязательной. Право каждого иметь *свое* представление и мнение, право быть *несогласным* с другим — является непререкаемым и неотчуждаемым, «естественным» правом человека, лежащим в основании других прав.

***

Право на нон-конформизм является одним из характерных признаков народничества: с борьбы за свое немарксистское и в этом смысле не «научное» понимание социализма началось оформление новейшего народничества в начале текущего века. На протяжении столетнего существования народничество не стояло на месте, а подвергалось изменениям

и напластованиям. Различают раннее народничество, 40-х годов, более позднее, 60-х, позднейшее 70-х и 80-х годов, чернопередельчество и народовольчество, новейшее народничество эсеров и эн-эсов 20-го века. И всё же можно говорить и суммарно: о народничестве в целом, как о б щ е м понятии — идеологии и явлении, — несмотря на все индивидуальные отличия во времени и по содержанию, как говорят в целом о христианстве, либерализме, марксизме, социализме.

Формальным признаком идеологии народничества является то, что ни исторически, ни в отдельный период времени взятая, она не сводилась к о д н о м у какому-нибудь признаку. В своем самоопределении, как и по содержанию своему, идеология народничества чужда монизму. Она всегда старалась быть многосторонней, не подчинять одной стороне бытия или сознания все другие, — быть п л ю р а л и с т и ч н о й. Плюрализм не составляет, конечно, монополии народничества, но он одна из характерных его черт.

Этого не понимали или не хотели понимать противники народничества, исходившие из монистического понимания истории и мира. И до наших дней удержалось толкование, по которому всё существо народничества сводилось к утверждению им особых путей России, которая выдвинулась на авансцену истории позже других, позднее, в частности, «жалкой Европы», и поэтому может сделать лучше и быстрее то, к чему стремились другие страны и народы. Правду-справедливость на земле Россия может осуществить, минуя западноевропейскую стадию буржуазно-капиталистического развития — кабалы и эксплоатации. Сохранение в России крестьянской общины и артельных навыков и отсутствие промышленного пролетариата и мощного капитализма учитывались, как факт громадного положительного значения.

Несомненно, этот русский вариант социально-политического мессианизма или распространенного в начале прошлого века немецкого и французского романтизма чрезвычайно характерен для идеологии народничества. Но он характерен, во-первых, не для одного только русского народничества, во-вторых, он далеко не исчерпывает идеологии народничества.

Своеобразный характер русской истории признавали не только русские народники. Знаменитого Чаадаева принято причислять к западникам за его «Философическое письмо» 1836 г., — несмотря на славянофильскую его «Апологию Сумасшедшего», написанную годом позже. Но и в «Философическом письме», пессимистически отмечающем отрицательные

стороны русского прошлого, как и в оптимистической «Апологии сумасшедшего», где подчеркнуты положительные стороны русского развития в прошлом и будущем, одинаково признается своеобразие русской истории. «Можно было бы сказать, что общий закон (развития) человечества отменен по отношению к нам», — писал Чаадаев в «Философическом письме». Такое же допущение по отношению к будущему делало и народничество на протяжении всей своей истории. Оно считало, говоря словами Н. К. Михайловского, возможным, а не неизбежным, что Россия пойдет особым, не-европейским путем развития.

Это допускали и Маркс с Энгельсом, — в отличие от русских марксистов, — и допускали это сравнительно в позднее время. В ноябре 1877 г. Маркс в письме в редакцию «Отечественных Записок» возвращается к вопросу: «должна ли Россия, как того хотят ее либеральные экономисты, начать с разрушения сельской общины, чтобы перейти к капиталистическому строю, или же, наоборот, она может, не испытав мук этого строя, завладеть всеми ее (общины) плодами, развивая свои собственные исторические данные? ...Если Россия будет продолжать итти по тому пути, по которому она следовала с 1861 г., то она упустит наилучший случай, который история когда-либо предоставляла какому-либо народу, и испытает все роковые злоключения капиталистического строя. ...Если (!) Россия имеет тенденцию стать капиталистической нацией по образцу наций Западной Европы, — а за последние годы она немало потрудилась в этом направлении, — она не достигнет этого, не превратив предварительно значительной части своих крестьян в пролетариев; а после этого, уже очутившись в лоне капиталистического строя, она будет подчинена его неумолимым законам, как и прочие нечестивые народы... Ему (критику Маркса в «Отеч. Записках», Жуковскому) непременно нужно превратить мой исторический очерк возникновения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были исторические обстоятельства, в которых они оказываются... Но я прошу у него извинения. Это было бы одновременно и слишком лестно, и слишком постыдно для меня... События, поразительно аналогичные, но происходящие в различной исторической обстановке, приводят к совершенно разным результатам... Никогда нельзя достичь понимания, пользуясь универсальной отмычкой какой-нибудь общей историко-фило-

софской теории, наивысшая добродетель которой состоит в ее над-историчности»[2].

В известном письме Маркса к В. И. Засулич от 8-го марта 1881 года говорилось: «В совершающемся на Западе процессе дело идет о превращении одной формы частной собственности в другую форму частной собственности. У русских же крестьян пришлось бы, наоборот, превратить их общую собственность в частную собственность». (Подчеркнуто Марксом. — Там же, стр. 242). Русская община может оказаться «элементом возрождения русского общества и элементом превосходства над странами, еще порабощенными капиталистическим режимом».

В подписанном Марксом и Энгельсом предисловии к русскому переводу «Коммунистического Манифеста» 21-го января 1882 г. имеется то же условное или непредрешенческое отношение к последствиям русской революции. «Если русская революция окажется сигналом для рабочей революции на Западе, так что обе дополнят одна другую, тогда нынешняя русская система общинного владения может послужить исходным пунктом для коммунистического развития». Только позднее, в 1894 г., отвечая на тенденциозный запрос Плеханова, Энгельс с чрезвычайной резкостью отнесся отрицательно к общине и самобытному пути России, сославшись на то, что 17-ью годами раньше это не было так ясно и очевидно ни ему, ни Марксу.

Справедливо ли после этого утверждать, что существо народничества сводится к признанию своеобразия русской истории в прошлом, настоящем и будущем?

Другим признаком или, если употребить отвратительное советское выражение, «спецификой» народничества считают иногда «крестьянский социализм с точки зрения мелкого буржуа», как с молодых лет говорил Ленин. Если отсечь поносительную квалификацию «мелкий буржуа», которой, с легкой руки Маркса, злоупотребляют по сей день марксисты всех стран, народничество, оставаясь на почве реальностей, имело в виду, действительно, прежде всего или главным образом крестьянство. В 40-ые и 60-ые годы и даже за последующие десятилетия прошлого столетия о промышленном пролетариате в России можно было мечтать, но никак не рассчитывать

[2] «Переписка Маркса и Энгельса с русскими политическими деятелями». Стр. 177-180. Опубликована в 1888 г., уже после смерти Маркса.

на него, как на решающий социальный и политический фактор, — настолько был он численно незначителен.

С другой стороны, народничество никогда не разделяло распространенного в марксистской среде взгляда на крестьянство как на «варваров цивилизации» (Энгельс, 1853 г.), «троглодитов» с «антиколлективистическим черепом» или как «класс варваров, объединяющий в себе всю незрелость примитивных социальных форм со всеми мучениями и бедствиями современного общества». «Наша практика должна так же мало благоприятствовать крестьянству, как и юнкеру» (землевладельцу-помещику), поучал Карл Каутский на рубеже двух столетий.

Народничество, наоборот, если чем грешило, то идеализацией крестьянства, переоценкой его задатков и возможностей. Основной тезис марксизма, формулированный Плехановым: «пролетарий и «мужичек» настоящие политические антиподы», — народничество самым решительным образом отвергало.

Существует, наконец, еще один признак, который выдвигают иногда как характерный и показательный для народничества. Это — отрицание народничеством политики, его аполитизм: недоверие не только к существующей власти, но и к государству вообще и даже к представительным учреждениям, которые нужны будто бы только зажиточным классам. Отсюда и надежды на лучшее будущее связывались не с конституцией, а с социальной революцией. «Свобода великая и соблазнительная вещь, но мы не хотим свободы, если она, как было в Европе, только увеличит наш вековой долг народу». В этих словах Михайловского точно переданы настроения народничества 60-х и 70-х годов. Однако, настроения эти характерны опять таки не только для народничества того времени. Не русский народник и анархист Бакунин, а Маркс доказывал, что государство лишь «организация класса эксплоататоров», правительства и парламенты — лишь «комитеты буржуазии», а законы — «только воля буржуазии». «Мы решительно против парламентской деятельности», заявлял Вильгельм Либкнехт. И не безбожный социалист, а ревнитель православного благочестия Константин Аксаков писал: «Ложь лежит не в той и не в другой форме государства, а в самом государстве, — как идее, как принципе... Государство, как государство, есть ложь... Славянские народы, русский народ по преимуществу, есть народ негосударственный».

На Западе, как и в России, передовые люди жили в ожидании скорого социального переворота, когда откроются но-

вая земля и новое небо, возвещенные в грозу и бурю великой французской революции, но ею не осуществленные. Промышленная революция и чартисты в Англии, романтики и «новое христианство» во Франции, «Коммунистический Манифест» и революция 48-го года в ряде стран Запада, — всюду сказывались недовольство и напряженное ожидание «прыжка» из царства политической необходимости в царство универсальной свободы.

С «Коммунистического Манифеста» начиная, Маркс и Энгельс не переставали утверждать всю свою жизнь, 35-45 лет, что социальный переворот неминуем и произойдет, если не в текущем, то в ближайшие годы. Никакие факты и неудачи в прошлых прогнозах не убеждали их в неправильности их надежд и расчетов. Почти накануне своей смерти, в 1895 г., Энгельс подтвердил, что в февральские дни 48 г. для него и Маркса «не могло быть никакого сомнения, что наступило время великой решающей борьбы», хотя «история не оправдала ожиданий».

В 49 г. Маркс доказывал Лассалю, что пролетарская революция вспыхнет во Франции не позднее следующего года. «Самое позднее в августе 1850 г.», писал Маркс в 50 г. В переписке с Энгельсом Маркс назначал срок «великой решающей борьбы» на 51, 52, 53 годы. Он ждал «потопа» и до Крымской войны, и по ее окончании: в 1858 г., в 1862 г., в 1866 г.

Когда началась прусско-австрийская война, Энгельс писал Марксу: «Если и эта возможность ускользнет без того, чтобы ею воспользовались, и если народ примирится с этим, мы на самом деле можем укладывать революционные чемоданы и багажи». Возможность ускользнула, но прорицателей это не обескуражило. Во время франко-прусской войны, Маркс писал Зорге 1 сентября 1870 г., что она даст толчок к войне Германии с Россией и «эта война № 2 сослужит также службу акушеров неизбежной социальной революции в России».

В начале 70-х годов Бебель в рейхстаге заявил, что немецкие социалисты надеются «осуществить всю свою программу еще до наступления 20-го века». Во время русско-турецкой войны, в 77-ом году, Маркс писал опять тому же Зорге: «Революция на этот раз начнется на востоке, бывшем до сих пор незатронутым цивилизацией и резервной армией контр-революции». В 1891 г. Энгельс выразил уверенность, что «царское правительство этот год уже не протянет, а когда уж в России начнется, — тогда «ура!».

Этот перечень мог бы быть продолжен. Естественно, что не связанные с «научными» прогнозами народники чувствовали себя еще более свободными в гаданиях и предсказаниях. Они тоже жаждали окончательного и всестороннего освобождения. «Борьба со старыми богами меня не занимает, потому что их песня спета, и падение их есть дело времени. Новые боги (т. е. капитализм и буржуазия с «их» конституцией) гораздо опаснее и в этом смысле хуже», — писал в 1874 г. Михайловский. И народники считали, что достаточно нескольких лет хождения в народ и деятельной пропаганды, чтобы их «идеалы» были осуществлены. «Отправляясь в народ, революционеры воображали, что «социальную революцию» сделать очень легко и что она очень скоро совершится; иные надеялись, что года через два-три», — правильно вспоминал прошлое Плеханов, когда из бывших народников превратился осенью 1894 г. в неистового марксиста, принявшего присягу на верность ему: «задачей всей моей жизни я считаю пропаганду Ваших (Энгельса) и Маркса идей».

Каждый из указанных выше признаков характерен для народничества, но и все вместе они не исчерпывают его существа.

***

Если говорить о главном или главнейшем признаке в идеологии народничества, на протяжении всей истории народничества он выражается в признании народа определяющим агентом русской истории, ее правообразующим фактором — в меньшей степени в прошлом, в возрастающей степени в будущем.

«Народ — божество для этого движения» (в народ), писал знаменитый Степняк-Кравчинский. «Интересы народа стали для нас краеугольным камнем политического мышления»; всё в 70-е годы, «вся программа, все стремления, желания и цели, все руководящие принципы» исчерпывались двумя словами — «русский народ», вспоминал позднее Михайловский[3]. Лозунг «В народ» был выдвинут уже в 1861 году Гер-

[3] Если нужен для иллюстрации «антитезис» народническому взгляду, он дан в словах известного большевика Скворцова-Степанова, говорившего на заседании Учредительного Собрания: «Как это можно апеллировать к такому понятию как общенародная воля... Народ немыслим для марксиста, народ не действует в целом, народ в целом фикция, и эта фикция нужна господствующим классам».

ценом в «Колоколе», а не Бакуниным в 1869, как значится в некоторых советских изданиях. Бакунин, а не Герцен, в качестве родоначальника движения в народ, совпадает с общей тенденцией не одних только большевиков представить народничество, как движение анархическое, примитивно-эмоциональное. Слов нет, народничество, особенно первоначальное, было заражено анархизмом, как и чартизм и марксизм того времени. Однако позднее оно от анархизма определенно отмежевалось, продолжая всегда противопоставлять народ власти и власть народу. «Анархизм — это старое обвинение», говорил Желябов на суде, «мы — социалисты-государственники». В 1874 г. «мы были, действительно, анархистами», соглашался он, но с конца 70-х годов народовольцы стремились завоевать «свободные учреждения и гарантии личных прав».

Утверждение принципа личности может быть ярче всего сказывалось как раз у анархиста Бакунина, у которого права человека лежали в основании всех его отрицаний. Но и для Герцена, Лаврова, Михайловского, Желябова последних лет, не говоря уже о нео-народниках эсэрах, личность была такой же ценностью или священным началом, как и народ. Надо отметить, что и ранние народники, отвергавшие требование конституции, — в явное противоречие с этим, добивались свободы личности, совести, печати, сходок. Трудно сказать, народоправству или принципу личности отдали бы преимущество народники в случае столкновения между этими началами. Но эта трудность общего характера: не одно народничество не имеет однозначного решения в споре между правами государства, общества, целого и правами личности, человека, гражданина.

Утверждая, наряду с народом, личность, народничество сначало отказывалось ставить ударение на политическом освобождении народа и человека, впоследствии же отказывалось ставить ударение на экономическом освобождении.

Политика вовсе не находится в прямой зависимости от экономики, как принято думать. Политика может и определять экономику, и отставать от «производительных сил», как эти последние с своей стороны могут и влиять на политику, и опережать ее в своем развитии. Поэтому непроницаемость советской политики, или ее неподвижность и реакционность, несмотря на бешеную индустриализацию и сверх-индустриализацию, вовсе не является «не имеющей прецедента в истории» и вовсе не «вскрывает природы тоталитаризма», как значится в «Социал. Вестнике» за апрель текущего года. Это утверждение покоится

на ложной предпосылке, будто в споре Энгельса с Дюрингом был и остался прав не Дюринг, подчеркивавший значение политики, а «Анти-Дюринг» Энгельса, с экономикой как «базисом» и политикой как производной «надстройкой». Заслуживает внимания, что к идеям Дюринга сочувственно относились не только Михайловский с Лавровым, но и Плеханов с Аксельродом — до их приобщения к последователям Энгельса.

Практика большевизма свидетельствует с трагической убедительностью о том, что политика может определять экономику. И «ленинизм» это признал: «политика не может не иметь первенства над экономикой. Рассуждать иначе — значит забывать азбуку марксизма». (Ленин, т. 26, стр. 126).

В поисках истины и справедливости, народничество в конце концов пришло к признанию необходимости и равноценности в с е х видов эмансипации: политической, экономической, национальной, духовной. Как высоко ни расценивало оно экономическую эмансипацию, всё же видеть в ней ключ ко всему другому оно отказывалось. Именно поэтому народничество было озабочено не столько развитием «производительных сил», сколько судьбой самих производителей и характером распределения произведенных благ. Это было, может быть, близоруко, но в этом сказывалось общее понимание народничеством социальных явлений.

Народничество отрицало историческую неизбежность или «имманентность» исторических законов, их уподобление законам природы. И оно отвергало возможность непогрешимых исторических прогнозов. Свои домогательства оно строило не на оптимистической вере в разум истории, который знает что́ делает. Борьба и жертвы необходимы и оправданы именно потому и только потому, что торжество правды-истины и правды-справедливости вовсе не заложено в «чреве» истории, а является постулатом или морально-политическим долгом. Если «гибель буржуазии и победа пролетариата одинаково неизбежны», по слову «Комунистического Манифеста», к чему борьба, с ее лишениями и жертвами?

С другой стороны, раз имманентных законов история не знает и прогресс социальный и иной никак заранее не предуказан, — возможно активное вмешательство в ход вещей: в частности, в закон спроса и предложения, в процесс концентрации и монополизации капитала, дифференциации классов, их поляризации на владеющих и командующих и на неимущих и подвластных и т. д. Отсюда появление в народнической программе эс-эров таких еретических для того

времени требований, как страхование от безработицы и минимум заработной платы, или такое радикальное вмешательство в поземельные отношения, как социализация земли; или требование федерации, народной инициативы и референдума.

Тем более очевидна роль личности в политической области. Как бы по существу ни была гибельна роль Ленина и Сталина, Гитлера и Муссолини в судьбах России, Германии, Италии, влияние их на ход мировой истории не может быть оспорено.

Домогаясь многосторонней эмансипации, народничество в то же время имело в виду не одного какого-либо специального адресата, а многих — всех работников физического и умственного труда: земледельцев, рабочих, интеллигентов, ремесленников, мелких чиновников, приказчиков и т. д. Ни одна из этих групп не в праве претендовать на особые привилегии в качестве предназначенного якобы самой историей «гегемона», который правомочен пользоваться «организованной силой для угнетения другого класса», как значилось в «Коммунистическом Манифесте». Ни одна группа не противопоставлялась другим, как якобы наделенная особыми добродетелями — «революционностью», «миссией освобождения» и т. п. Правда, и «Коммунистический Манифест» допускал, что мелкий промышленник и торговец, ремесленник и крестьянин способны бороться за право и свободу. Но они борются за с в о и права и свободу, а так как исторически они обречены на исчезновение, то их дело заведомо безнадежное и пустое. Все эти классы и группы, в отличие от пролетариата, — не революционны, а консервативны и даже реакционны, поскольку они стремятся повернуть назад колесо истории.

Героем народничества не был какой-нибудь о д и н класс, а т р и е д и н с т в о трудящихся: крестьяне, рабочие, интеллигенция. В частности за это, русский интеллигент, Ленин, остро презиравший интеллигенцию, этих «истасканных, истеричных хлюпиков», клеймил народничество (эс-эров), как «буржуазно-демократическое интеллигентское движение». Его особое негодование вызывало то, что это движение осмеливалось причислять себя к социалистическому лагерю, тогда как в действительности народнический социализм — «гнилая и смердящая мертвечина».

Исторически ленинская или, шире, марксистская концепция была предвзята и надумана особенно в отношении России, где социализм, как идеология и движение, появился задолго до того, как там появились выученики Маркса и Эн-

гельса. Особой была и роль русской интеллигенции. В отсутствии влиятельных средних классов или «третьего сословия», роль, которая на Западе выпала на эти последние, в России пришлось выполнять интеллигенции. Так, как сложилась русская история, русская интеллигенция оказалась «вместилищем национальной памяти», и «русской национально-культурной традиции негде искать, кроме как в истории русской интеллигенции», — утверждал историк русской интеллигенции П. Н. Милюков.

Эти русские интеллигенты, «критически мыслящие люди», «реалисты» были, как правило, нон-конформистами, неприемлющими против своей свободной совести ничего и никого, даже самого Бога, — по выразительной формулировке Н. А. Бердяева в предшествующую его советским увлечениям пору. Интеллигентам выпало на долю быть единственными в России выразителями и хранителями освободительных традиций. Аввакумово начало русской интеллигенции, ее готовность претерпеть, но не уступить и не сдаться, оттолкнуло от нее тех, кто увидели в этом проявление максимализма и анархизма. Как ни относиться к той или другой черте русской интеллигенции, положительное оношение к ней, как к целому, входит элементом в состав идеологии народничества.

Народничество никогда не отрицало факта несправедливого разделения общества на классы обездоленных и привилегированных. Самый поиск правды-справедливости или, точнее, — умаления зла и несправедливости на земле исходил из признания факта насилия и неравенства. Но за немногими исключениями, народничество отказывалось видеть в классовой борьбе положительный и необходимый двигатель человеческого прогресса, «самый могучий рычаг политического развития», — по словам Плеханова. От Герцена до Михайловского идеологи народничества относились отрицательно к прославлению классовой борьбы, — Михайловский называл ее даже «школой озверения».

Характерные для народничества принцип личности, нонконформизм, отрицание нормативного характера за классовой борьбой — не являются, конечно, монополией народничества. Каждое из этих начал и шире и общее народничества — присуще, в частности, и либерализму или интеллигенции как особой категории. Но вместе с другими отмеченными выше чертами, утверждениями и отрицаниями в своей совокупности взятыми, они характеризуют только народничество.

Народничество тоже не безгрешно, — грешило часто и

тяжко. Не последний грех состоял в том, что, не желая отставать от века, левое его крыло с излишней чуткостью воспринимало внутренне чуждые ему образцы — идейные и даже словесные. Мне уже приходилось отмечать, что общая политическая атмосфера 1905 г. и пример «братской» марксистской партии способствовали своего рода революционному ажиотажу и вызвали включение в эсэровскую программу совершенно чуждого народничеству начала диктатуры рабочего класса. Правда, эта диктатура рекомендовалась в качестве «временной»[4] меры и условно — «в случае надобности». Она толковалась, кроме того, не как господство меньшинства над большинством, а в материальном смысле, как исключительно сильная власть. Тем не менее диктатура оставалась диктатурой.

Нельзя обойти и то, что как никак с народничеством были связаны и максималисты 1906-07 гг., и, так называемые, левые эсэры 1917-18 гг., вошедшие в правительство Ленина как раз тогда, когда оно сильнее всего нуждалось в демонстрации, что его власть не «рабочая» только, а и «крестьянская». Среди этих диссидентов не только от партии с. р., но и от народничества вообще, были авантюристы и карьеристы, но были и по своему честные люди. В отходе этих последних от народничества можно видеть лишь подтверждение общего тезиса: идеология сама по себе ничего не предрешает, ни от чего не спасает, ничего и ни от чего не гарантирует[5]: к

---

[4] В прошлой книге «Нов. Журнала» Н. Валентинов, упомянув, что у эсэров значилась в программе «временная диктатура», заметил: «О бессрочности диктатуры никто не говорил, это уже «идея» Сталина». Напомню, что и Ленин, находясь еще в полном уме и твердой памяти, в 1921 г., в ответ на запрос испанских паломников в красную Москву, Ангиано и де Лос Риос, заявил, что, по его мнению, в России «диктатура пролетариата будет продолжаться приблизительно сорок лет». Далеко ли это от бессрочности?

[5] Этот тезис считался в течение почти трех четвертей века еретическим почти всеми социалистическими партиями. Тем большего внимания заслуживает Декларация нового Интернационала, принятая 2-го июля 1951 г. В п. 11 о «Целях и задачах демократического социализма» говорится: «Демократический социализм есть международное движение, которое отнюдь не требует твердого единообразия воззрений. Все социалисты стремятся к одинаковой цели безотносительно к тому, приходят ли они к своим убеждениям из данных марк-

октябрьскому действу, задуманному большевиками и ими в первую очередь осуществленному, руки приложили люди разных, иногда противоположных взглядов и убеждений.

В той, однако, мере, в какой идеология имеет далеко не ничтожное значение в личной и общественной жизни, — достаточно того, что идеологические войны велись испокон веков, а новейшее время создало даже новое понятие «идеократии», — народничеству должно быть отдано первенство в ряду других идеологий. В этом русском варианте демократии, до Линкольна утверждавшем, что всё исходит от народа и должно твориться для народа и чрез его посредство, есть нечто непреходящее, неотменимое, «вечное», поскольку это применимо к явлению исторического порядка. Народнический социализм был и остался российской разновидностью не-марксистского или, если хотите, не-научного социализма.

Нельзя не отметить в заключение и того поразительного факта, что почти вся классическая русская литература окрашена в народнические цвета. Не только у, так называемых, народнических писателей: Решетникова, Златовратского, Успенского, Короленко, но и у всемирно признанных титанов, Достоевского и Толстого, народ — главный герой русской истории и повседневной жизни, главный предмет художественного повествования и творчества. «Народ-богоносец» у Достоевского, как и «народ-божество» у Степняка, или «христианское отношение к насилию» Толстого, в опыте последних 35 лет может показаться искусственным и даже фальшивым. Это не меняет того, что за очень редкими исключениями, как Горький и Бунин, отчасти Чехов, вся художественная литература питалась и вдохновлялась из того же источника, что и народничество, как идеология и как движение. В этом смысле народничество было наиболее «почвенным» или «органическим» — адэкватным русской истории и русскому духу.

систского или иначе обоснованного анализа, из религиозных или гуманитарных оснований».

То же надлежит сказать и о «предпосылках» к будущей «единой социалистической партии» в России, опубликованных за подписью 14 социалистов эс-эров и меньшевиков в «Социалистич. Вестнике» за март сего года. «Предпосылки» решительно отвергают обязательность для каждого члена партии определенной «мировоззренческой» или философско-исторической концепции. «После-большевистская демократия будет резко отталкиваться и от «монистической» партфилософии, не допускающей никаких «уклонов», и от железной дисциплины «монолита».

Е. Д. Кускова недавно опубликовала извлечение из письма к ней П. Б. Струве, в котором говорилось, что «даже марксизм на русской почве» оказался «одной из ветвей народничества». Зная резко отрицательное отношение покойного публициста к народничеству, — он остался верен э т и м своим чувствам всю жизнь, — его слова надо понимать, конечно, не как комплимент народничеству[6], а как крайнее осуждение русского марксизма. Тем не менее они чрезвычайно показательны. Прежде, чем стать ненавистниками и борцами против народничества, почти все виднейшие русские марксисты: Плеханов, Аксельрод, Засулич, Дейч прошли через народничество, — как через марксизм прошли все жесточайшие его обличители в будущем: Струве, Булгаков, Бердяев, Франк, Федотов.

Удивляться ли после этого, что некоторые противники большевизма пытаются представить Ленина с его ленинизмом как производное не столько от Маркса и марксизма, сколько от народничества Ткачева и Чернышевского.

***

Не буду возвращаться к тому, о чем говорил в статье «Идейные корни большевизма», помещенной в 28-й книжке «Нового Журнала». Ограничусь несколькими замечаниями к «Комментариям», которыми редактор журнала сопроводил статью.

Я вполне согласен с тем, что в нашей национальной трагедии «все виноваты», и большевики, конечно, в первую очередь «виноваты в большевизме»[7]. Согласен и с тем, что такого «общего утверждения» недостаточно. Именно потому и необходимы, и оправданы, на мой взгляд, поиски к о р н е й большевизма — не только психологических, политических и моральных, но и и д е й н ы х.

---

[6] Даже в после-большевистский период эмиграции П. Б. Струве говорил: «Знаете, что я больше всего ненавижу?.. Самодержавие и народничество!»

[7] Мне кажется глубоко неверным утверждение Р. А. Абрамовича, что в «Трагедии Февральской Революции» «не было виновных, как в греческих трагедиях». Нет, виновные были, и они были *не только* там, где их, вопреки собственному утверждению, обнаруживает автор. Он отмечает, что «двенадцать миллионов крестьян в этот исторический момент оказались на расстоянии сотен и тысяч верст от своих деревень, от той земли, которую они собирались делить».

Пусть идеология не играет «решающей роли в таком, в значительной мере стихийном и иррациональном процессе, как революция». Но значительную роль, хотя бы и не решающую, идеология всё же играет и в революции. А если так, разве не правомерно распределить вину и ответственность между идеологиями — признать, что одна «виновата» больше, а другая меньше.

М. М. Карповичу кажется «поразительным тот факт, что во всей большевистской пропаганде от февраля до октября 17-го года марксизм, социализм, коммунизм, в сущности, отсутствовали». Мне же самое это утверждение представляется ошибочным, — «фактом» было как раз обратное. Вся пропаганда большевиков за «Власть Советов» шла по линии изобличения «министров-социалистов» и буржуазии, как извечного и непримиримого врага единственно подлинных социалистов — марксистов.

Правда, о коммунизме большевики в 17-м году не говорили. Но это произошло оттого, что они переименовали себя в коммунистов лишь в 1919 г. Но вся их пропаганда в 17-м году преследовала цели максимального и немедленного приближения к социализму. Вспоминаю, как в, так называемом, предпарламенте П. Н. Милюков с полной отчетливостью говорил о «коммуне», к которой неминуемо ведет большевистская теория и практика. Запомнилось, как это слово «кОммýна» Милюков произносил не на московский лад, с приближением «о» к «а», а на французский, — подчеркивая букву «о».

М. М. Карпович спрашивает, «что было специфически марксистского или коммунистического в главных лозунгах большевистской пропаганды — «земля и мир»? В этих лозунгах, конечно, ничего специфически марксистского или коммунистического не было. Но требования н е м е д л е н н о г о мира и п р я м о г о захвата земли вместе с н и з в е р ж е н и е м существовавшего «самого свободного в мире» строя были характер-

---

Это верно. Но, помимо крестьян, были ведь и другие классы, в частности, городские рабочие, о которых странным образом *ни словом* не упоминает Р. А. Абрамович. Между тем в торжестве Октября над Февралем они как будто сыграли не совсем последнюю роль. Вместе с требованием немедленного мира у них был свой эквивалент «барской землицы» — рабочий контроль на фабриках и заводах.

И неслучайно «сам» Ленин признал, что опорой Октября и «партии пролетариата» была не деревня и не крестьяне, а столичные и промышленные центры с высоким процентом рабочего населения.

ны для того, как большевизм проецировал свой переход из мира отвлеченных идей в мир практических вещей.

Что «социальные антагонизмы существовали во все времена и во всех человеческих обществах, и задолго до Ленина», это неоспоримо. Но этот факт ни в какой мере не снимает ответственности ни с Ленина, ни с ленинизма. М. М. Карпович сам отмечает: — требуя земли и воли, «большевики разжигали чувство классовой вражды». Какое же еще требуется уточнение? В «классической древности» никакого учения о классах не существовало, и индивидуальное своеобразие («специфичность») большевистской демагогии — и вины — в том и состоит, что «чем хуже — тем лучше», «грабь награбленное», «и кухарка может управлять государством» и т. п. Ленин защищал, исходя от Маркса и Энгельса и опираясь на них.

Марксистская философия не стала, конечно, достоянием «масс, которые соблазнились большевистскими посулами — солдат, которые дезертировали с фронта, или крестьян, которые принялись делить землю помещиков». Но в том и заключается «специфичность» Октября, что он явился в результате разнузданных большевиками шкурнических инстинктов; что большевизм исходил не из сплочения, а из разделения, партийно-политического и классового; не из гражданского мира и народоправства, а из гражданской войны; не из идеи национальной революции, а — мировой, для которой Россия должна была служить лишь «плацдармом» и «трамплином».

И М. М. Карпович допускает, что «для самого Ленина и небольшой революционной элиты, собравшейся вокруг него, идеология, может быть, и имела определяющее значение». Но можно ли отрицать, что роль Ленина и его «элиты» в октябрьские дни — и часы — была р е ш а ю щ е й? Большевики пришли к власти, конечно, не « б л а г о д а р я своей идеологии». Но их идеология способствовала, «вдохновляла», направляла, обосновывала, оправдывала все отвратительные деяния большевиков и тех, кого им удалось соблазнить.

Можно согласиться с предположением М. М. Карповича, что для народа «новый термин марксистского происхождения «буржуй» звучал как синоним давно ему знакомого «барина». Но разве в этом случае автор не подставляет «психологического термина» на место политики и идеологии, против чего он сам в другом месте совершенно справедливо возражает? Его конечный вывод: «революционеров авторитарного типа» можно было найти в разных идеологических лагерях. Это и я утверждаю. Но, поскольку М. М. Карпович признает, что «спор между марксистами и народниками до сих пор сохранил свое

жизненное значение», сохраняет жизненное значение и вопрос об ответственности за российскую катастрофу той или другой идеологии и, соответственно, о справедливом распределении вины и ответственности.

И прямой убийца, и тот, кто не сумел предотвратить преступление — по растерянности, малодушию, попустительству, — одинаково повинны, но в разной мере и степени. Вина и ответственность лежит и на тех, кто связаны с Февралем, и на тех, кто делал Октябрь. Но вина тех и других — разная, принципиально и радикально иная. Ибо Октябрь был результатом определенного плана и заговора «профессиональных революционеров», тогда как Февраль не был никем организован, а «случился», как «случались» все подлинные революции — стихийно, неожиданно, всенародно.

М. Вишняк

СОСТАВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(1937-1946-1950 гг.)

«Высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР». (Конституция СССР, статья 30-я). В настоящее время уже нет ни одного серьезного исследователя Советского Союза, который поверил бы этому утверждению «Сталинской конституции»: слишком хорошо всем известно, что единственным подлинным носителем всей полноты власти в СССР является Политбюро ЦК ВКП(б). Здесь советская практика властвования внесла полную ясность. Но далеко не так ясен вопрос о том, что-же собственно представляет собой в действительности Верховный Совет, каково его подлинное место в системе рабочих органов большевистской диктатуры, каково его важнейшее назначение, с точки зрения диктатора и его помощников из Политбюро.

Существует своего рода стандартное мнение, что Верховный Совет представляет собой некую «демократическую маску», созданную для прикрытия диктаторской сущности сталинского режима, для обмана зарубежного и своего собственного общественного мнения. Указывают, что именно для этой цели большевистские властители подбирают в Совет неимеющих реальной власти, но выгодных с пропагандной точки зрения: академиков, писателей, артистов, стахановцев, колхозников, Героев Советского Союза, орденоносцев и проч. Так ли это? Ответу на этот вопрос и посвящена настоящая статья.

До настоящего времени Верховный Совет СССР избирался три раза: в 1937, 1946 и 1950 годах. Автор поставил себе задачей: проследить, насколько это возможно, персональный состав депутатов Верховного Совета всех трех созывов, срав-

---

Примечание автора: Работа эта была написана до появления сообщения о созыве 19-го съезда ВКП(б). Как это сообщение, так и сопутствовавшие ему другие материалы о съезде не только не вынуждают автора изменить что-либо в его работе, но, наоборот, полностью подтверждают его основные выводы.

нить полученную картину, а затем попытаться сделать некоторые общие выводы. Материалами для этой работы служат исключительно официальные советские источники, а именно: списки зарегистрированных окружными избирательными комиссиями кандидатов в депутаты и списки фактически избранных депутатов, как они публиковались в «Известиях» и «Правде».

Верховный Совет 1937 года

Избранный 12 декабря 1937 года Верховный Совет имел в своем составе 1.143 депутата. Из них было: членов ВКП — 855 человек; беспартийных (включая и комсомольцев) — 288 человек. (См. Сообщение Центральной избирательной комиссии, «Известия» или «Правда» от 15 декабря 1937 года). На открывшейся 12 января 1938 года первой сессии Верховного Совета его мандатная комиссия огласила следующие общие данные о депутатах, по каждой из обеих палат в отдельности (см. «Известия» от 15 января 1938 г.):

Совет Союза: — 569 депутатов. Из них: членов ВКП(б) — 461 человек, беспартийных — 108. Из общего числа 569 депутатов было: рабочих — 247 (45,3%); крестьян — 130 (23,7%); служащих и советской интеллигенции — 169 (31%); из них занято на партийной работе — 32 человека, на советской — 78, на военной — 24 человека.

Совет Национальностей: — 574 депутата. — Из них: членов ВКП(б) — 409 (71%); беспартийных — 165 (29%). В составе Совета Национальностей было: рабочих — 218; крестьян — 200; служащих и представителей советской интеллигенции — 156 человек. По характеру работы депутаты Совета Национальностей распределялись так: партийных работников — 88; советских работников — 161; хозяйственных работников — 34; работников общественных организаций — 31; занятых на производстве — 70; колхозников — 97; представителей советской интеллигенции — 52; военных — 41.

Теперь перейдем к разбору тех данных, которые содержались в сообщениях окружных избирательных комиссий о регистрации кандидатов в депутаты, как они приведены в «Известиях» и «Правде» за 11-22 ноября 1937 года. В сообщениях мандатных комиссий говорилось, что все зарегистрированные кандидаты были избраны. Казалось бы, списки зарегистрированных кандидатов должны были быть совершенно идентичны со списками фактически избранных депутатов. На самом деле (в списках кандидатов было 1.166 чел., а избрано было

1.143 депутата), часть кандидатов успела уже, за короткий срок между регистрацией и выборами, попасть в категорию «врагов народа» и исчезнуть в подвалах НКВД. Общей статистической картины это, однако, не меняет, т. к. вместо арестованных «врагов народа» автоматически подставлялись лица, занявшие их должности и посты в различных звеньях советского государственно-партийного аппарата.

*Таблица № 1**

Персональный состав Верховного Совета 1937 года

Вожди (члены Политбюро, Оргбюро, ИККИ, Профинтерна и т. п.)	17
Ответственные работники ЦК ВКП(б)	15
Наркомы СССР	28
Наркомы союзных и автономных республик	33
Председатели ЦИК и СНК союзных и автономных республик	72
Секретари республиканских ЦК партии	21
Ответственные работники республиканских ЦК партии	8
Секретари областных и окружных комитетов партии	98
Председатели Облисполкомов и их заместители	49
Секретари горкомов партии	21
Председатели Горсоветов	20
Секретари Райкомов партии	26
Председатели Райисполкомов	33
Работники низового партийного аппарата	7
Работники ЦК ВЛКСМ и республиканских ЦК комсомола	17
Ответственные работники аппарата профсоюзов	9
Итого из официального гос.-партийного аппарата	474
Ответственные работники НКВД	61
Ответственные работники Прокуратуры и юстиции	8
Итого из аппарата террора	69
Высший командный и политический состав Кр. Армии	45
Старший командный состав Кр. Армии	3
Младшие командиры и красноармейцы	37
Известные летчики и Герои Советского Союза	30
Итого военных	115

* По данным «Известий» и «Правды» за 11-12 ноября 1937 года.

Управляющие трестами, директора заводов и шахт	18
Начальники ж. д.	2
Мастера и бригадиры	44
Рабочие-стахановцы	91
Итого работников промышленности и транспорта	155
Заведующие отделами с.-х. и агрономы	9
Председатели колхозов	75
Бригадиры и звеньевые в колхозах и МТС	92
Колхозники	85
Итого работников сельского хозяйства	261
Академики	17
Профессора	9
Заведующие школами и учителя	19
Студенты	6
Инженеры	18
Врачи	3
Писатели и поэты	8
Артисты	6
Композиторы	1
Итого представителей интеллигенции	87
Капитаны дальнего плавания, штурманы и т. п.	5
Всего	1.166

Автор заранее согласен с возможной критикой, что принцип составления этой таблицы не является вполне удачным. Было бы, может быть, более правильно составлять таблицу не по профессиональному признаку, а по принадлежности к той или иной общественной категории. Но тогда было бы весьма трудно решить, куда, например, поместить председателей колхозов, начальников железных дорог, директоров заводов и т. п. Так, например, председатели колхозов, в своем большинстве, — колхозники, но они также относятся к государственному аппарату, хотя и к самой низовой его части. Поэтому автор решил строить таблицу применительно к системе построения всего советского партийного, государственного и хозяйственного аппарата.

Но и при такой системе соблюсти полную последовательность оказалось невозможно. Пришлось, например, отнести агрономов к группе работников сельского хозяйства, а не к интеллигенции, как это следовало бы. Сделать это пришлось потому, что в эту группу попадали заведующие Облзо, начальники областных и районных отделов сельского хозяйства и т. п., которые могут и не быть агрономами по своему образованию. С другой стороны, группа инженеров включает не только конструкторов, изобретателей, но также начальников цехов и пролетов, которые часто выдвигаются на эти посты по партийной линии, а не по своему образованию. В группу учителей попали также и заведующие школами, хотя в СССР заведуют школами отнюдь не только учителя по специальности и образованию, но в очень большом числе случаев безграмотные партийные выдвиженцы. Все эти трудности можно было бы преодолеть только за счет еще большей детализации таблицы, но тогда она сделалась бы слишком громоздкой. Поэтому пришлось допустить некоторые неточности, которые, однако, лишь в очень незначительной степени влияют на общую картину.

Если директоров заводов и шахт, управляющих трестами, начальников железных дорог и председателей колхозов отнести к группе государственно-партийного аппарата, то, в процентном выражении, состав Верховного Совета СССР выборов 1937 года будет примерно таков:

Работников гос.-партийного аппарата	— около 50%
Чекистов	— около 7%
Военных	— около 10%
Рабочих	— около 10%
Крестьян	— около 15%
Интеллигенции	— около 8%

Таким образом оказывается, что Верховный Совет, избранный в 1937 году был, в своей основе, заполнен совсем не псевдо-демократической массой рабочих, крестьян и интеллигентов с громкими именами, как принято думать, а типичными советскими «аппаратчиками», большими и маленькими чиновниками диктаторского режима.

Кто же (помимо самих вождей, конечно) был действительной реальной силой внутри этого «парламента специального назначения»? На первый взгляд кажется несомненным, что этой силой были секретари различных партийных комитетов, председатели Советов, наркомы и т. п., заполнившие около

50 процентов депутатских мест. Но такой вывод не был бы вполне правильным. Верховный Совет был избран в разгар «великой чистки», когда судьба не только рядовых советских граждан, но и каждого из их партийных начальников висела на волоске. Каждый нарком, каждый председатель областного Совета, каждый секретарь горкома, обкома или райкома, даже секретари республиканских ЦК были в те времена лишь «калифами на час», которые неожиданно появлялись на партийном горизонте и так же неожиданно исчезали.

Это нашло свое отображение даже в самих списках кандидатов в депутаты. Более чем в 50 процентах случаев в официальных списках этих кандидатов-аппаратчиков после их фамилий стояло такое определение их должностей: «исполняющий обязанности председателя Совета», «и. о. секретаря Обкома», «временно исполняющий обязанности председателя Исполкома» и т. п. Это была не «гвардия режима», а лишь ее тень. Положение каждого из этих «и. о.» было чрезвычайно шатким, а потому и реальная их сила была весьма незначительна.

Весьма своеобразную картину представляла и группа военных среди депутатов первого Верховного Совета: она состояла из 45 человек высшего командного и политического состава (маршалы, командующие округами, члены военных советов округов, командиры корпусов и дивизий, начальники политотделов корпусов и дивизий и т. п.), с одной стороны, и 37 человек младших командиров и красноармейцев, с другой. Основная же масса офицерского корпуса армии, т. е. средний и старший командный состав, оказалась представленной всего лишь тремя депутатами.

Это явление до сих пор объяснялось тем, что, проведя в свой «парламент» большую группу солдат и младших командиров, кремлевские правители хотели дополнительно подчеркнуть его «демократичность». Однако, если просмотреть персональный состав этой группы, то картина получится иная. Дело в том, что больше половины ее составляли солдаты и унтерофицеры не армии, а пограничных войск, т. е. войск НКВД. Это была своеобразная форма награждения чекистов низших чинов за их «бдительность». Выборы ведь происходили в самый разгар ежовщины. Генералитет Красной армии был введен в Верховный Совет в большом количестве (45 человек) специально для того, чтобы показать армии и всей стране, что последовавший за делом Тухачевского разгром армии не обезглавил ее и что в армии всё еще остается достаточно

монолитная группа преданных режиму высших командиров. Доказательство это, правда, было несколько своеобразное, поскольку в этой группе почти 40 процентов составляли политработники. Но несмотря на это пропагандная картина получалась довольно внушительная, а это только и требовалось.

Чтобы еще больше украсить эту группу, да и весь Верховный Совет в целом, была введена довольно большая группа (30 человек) известных летчиков и Героев Советского Союза (Чкалов, Громов, Беляков и т. п.) и, так называемых, «челюскинцев». Это был «пропагандный цвет» Верховного Совета 1937 года, блещущий громкими именами, орденами и почетными званиями.

Группы колхозников, рабочих и интеллигенции (в общей сложности около 400 человек) представляли, так сказать, «демократическую массу» Верховного Совета. К этим трем группам полностью подходит то определение, которое обычно дается всему Верховному Совету — демократическая маска для прикрытия подлинной сути тиранической диктатуры. Всё дело только в том, что эта «демократическая масса» стахановцев, ударников, доярок, свинарок, «мастеров высокого урожая», академиков, писателей и т. п. — даже совместно с «героями» и «челюскинцами», — не составляла и 40 процентов общего количества депутатов. Это было лишь «демократическое меньшинство», но отнюдь не весь Верховный Совет в целом, как это обычно принято думать. Особенно ничтожной численно оказалась в Верховном Совете группа интеллигенции всех профессий. В этом случае, как и во многих других, советские мастера пропаганды показали свою высокую квалификацию: замалчивая характер абсолютного большинства в Верховном Совете и повторяя сотни раз имена нескольких десятков профессоров, писателей и артистов, они прочно утвердили внутри Советского Союза и за его пределами нужный им миф о том, что Верховный Совет, — пусть даже его реальная роль и ничтожна, — создан по некоему «демократическому» принципу.

Наконец мы подходим к последней, но самой важной группе в составе Верховного Совета СССР 1937 года — к группе ответственных работников НКВД, прокуратуры и юстиции. Группа эта была достаточно велика численно (69 человек), но еще несравненно большим было ее реальное значение в Верховном Совете. Входили в нее Вышинский с семью наиболее ответственными работниками Прокуратуры СССР и наркомата юстиции, а также 61 чекист высоких чинов. Среди них были: Н. И. Ежов и 4 его заместителя по НКВД СССР, два ответ-

ственных работника центрального аппарата НКВД СССР, все десять наркомов НКВД союзных республик (РСФСР не имела своего отдельного НКВД), наркомы НКВД семи автономных республик, начальники управлений НКВД пяти краев и 24 областей, в том числе Московской и Ленинградской. В списке этом мы находим имена палачей всесоюзной известности: Абакумов, Меркулов, Реденс, Заковский, Чернышев, Рыжов, Фриновский, Бельский, Берман, Леплевский и др.

По линии НКВД в Верховном Совете 1937 года было обеспечено, в самом деле, «всенародное представительство». По этой линии никого не забыли, никого не обошли «великой милостью». Посадить в парламент начальников всех жандармских управлений — до такой гениальной мысли не додумался даже Гитлер! Но надо отдать должное Сталину и его коллегам: они не только не скрывали этого факта, они им хвастались. В докладе председателя мандатной комиссии Совета Союза А. С. Щербакова (см. Отчет о сессии Верх. Совета СССР, «Правда», 15 января 1938 года) говорилось: — «12 декабря Советский народ выбрал в Совет Союза группу работников НКВД (аплодисменты). Этим самым Советский народ еще и еще раз одобрил деятельность наших карательных органов по разгрому и уничтожению врагов народа, подлых предателей, троцкистско-бухаринских наймитов японо-германского фашизма. (Шумные аплодисменты, возгласы «Да здравствует тов. Ежов!»).

Даже на фоне 500 сановников партийного и советского аппарата эта группа палачей в генеральских чинах выглядит более, чем внушительно. Они возглавляли группы депутатов от всех республик, краев и областей, они господствовали в зале заседаний Верховного Совета, они представляли собой главную опору сталинского режима. А на подмогу им, как было указано выше, добавили еще полсотни чекистов низших рангов. Поэтому истинное качество первого «советского парламента» можно определить одним словом. Это был парламент — *чекистский.*

Верховный Совет 1946 года

Избранный 10 февраля 1946 года Верховный Совет СССР имел в своем составе 1.339 депутатов. Из них было членов ВКП(б) — 1.085; беспартийных (включая и комсомольцев) — 254 человека. Приведем данные Мандатной комиссии первой сессии Верховного Совета 1946 года о депутатах каждой из обеих палат Верховного Совета СССР (см. «Правду» от 15 марта 1946 года).

Совет Союза: — 682 депутата. Из них: членов ВКП(б) — 576; беспартийных — 106. Из общего числа 682 депутатов было: партийных и общественных работников — 169; советских работников — 198; хозяйственных работников — 41; работников науки и культуры — 57 (среди них 18 академиков). Относительно 217 депутатов мандатная комиссия не сообщила области или характера их работы. Отсюда можно сделать вывод, что эти 217 депутатов были от вооруженных сил СССР. Среди депутатов было 535 (78%) орденоносцев. Из них было: Героев Советского Союза — 48; дважды героев — 11; трижды героев — 3. Героев Социалистического Труда — 39.

Совет Национальностей: 657 депутатов. Из них: членов ВКП(б) — 509; беспартийных — 148. В составе Совета Национальностей было: рабочих — 224 (34,1%); крестьян — 198 (30,1%); служащих и интеллигенции — 235 (35,8%). Никаких данных о характере работы депутатов Совета Национальностей в момент их избрания мандатная комиссия не сообщала. В общих чертах сообщение мандатных комиссий обеих палат Верховного Совета 1946 года было составлено по тому же принципу, как и в 1937 году: произвести желательный пропагандный эффект, но не сказать ничего о действительном составе Верховного Совета СССР.

Перейдем к анализу персонального состава Верховного Совета СССР 1946 года, по тому же методу, какой был нами принят в отношении Верховного Совета 1937 года. Как и в первом случае, анализ проводим сразу по обеим палатам. Источниками служат списки кандидатов в депутаты Верховного Совета, опубликованные в «Известиях» и «Правде» за 10, 11, 12, 13 и 14 января 1946 года.

Таблица № 2

Персональный состав Верховного Совета 1946 года

Вожди (члены Политбюро, Оргбюро и т. п.)	15
Ответственные работники ЦК ВКП(б)	12
Наркомы СССР	29
Наркомы союзных и авт. республик	28

Примечание: Переименование «наркомов» в «министры» было сделано в конце первой сессии нового Верховного Совета СССР, в марте 1946 года. В списках кандидатов они фигурировали еще под старыми наименованиями, которые и сохранены в настоящей таблице.

Председатели Верх. Советов и СНК республик	58
Секретари республиканских ЦК партии	29
Секретари областных и окружных комитетов партии	107
Председатели областных Советов	55
Секретари городских комитетов партии	11
Председатели Горсоветов	7
Секретари райкомов партии	18
Председатели районных Советов	10
Работники низового партийного аппарата	2
Работники ЦК ВЛКСМ и республиканских ЦК комсомола	6
Ответственные работники аппарата профсоюзов	2
Послы (в Великобритании и США)	2
Итого из государственного и партийного аппарата	391
Ответственные работники НКГБ	14
Ответственные работники НКВД	16
Прокуроры и председатели Верх. судов	3
Итого из аппарата террора	33
Маршалы и генералы	9
Старший и средний командный состав	17
Младший командный состав и рядовые	5
Итого военных	31
Управляющие трестами, директора заводов и шахт	16
Начальники железных дорог	7
Мастера и бригадиры	30
Рабочие	45
Итого работников промышленности и транспорта	98
Заведующие отделами с.-х. и агрономы	7
Председатели колхозов	72
Бригадиры и звеньевые в колхозах и МТС	46
Колхозники	23
Итого работников сельского хозяйства	148
Профессора и академики	38
Заведующие школами и учителя	30
Студенты	1

Инженеры	20
Писатели	14
Артисты	9
Композиторы и художники	2
Итого представителей интеллигенции	114
Капитаны, работники торгового аппарата и т. п.	13
Всего	828

Как видим из этой таблицы, из общего числа 1.339 избранных депутатов, в списках официально зарегистрированных окружными избирательными комиссиями, кандидатов было всего лишь 828 человек. Остальные 511 депутатов были избраны без такой предварительной публикации. В официальных списках уже избранных депутатов в СССР всегда публикуется только имя и фамилия избранного депутата, без каких-либо других данных. Фактически эти 511 депутатов были избраны т а й н о. В этих 511 случаях неизвестным остается всё: по какому избирательному округу избран тот или иной депутат, кто он, кого он представляет и т. д. Поэтому об этих 511 депутатах можно только строить более или менее обоснованные предположения.

Как показали выборы 1950 года, подобная система «засекреченных выборов» практикуется в СССР, главным образом, при выборах от вооруженных сил, находящихся за пределами СССР. Широко известен тот факт, что в составе Верховного Совета СССР 1946 года было очень много военных в разных чинах. Между тем, в списках кандидатов их было всего 31 человек. Наиболее вероятным кажется предположение, что эти 511 «засекреченных депутатов» были, в своем большинстве, военными, но включили в себя также довольно большое число разных советско-партийных работников в оккупированных странах-сателлитах, в Маньчжурии и в Китае, политработников армии и чинов «СМЕРШ-а». Наградить всех этих лиц званием депутата Верховного Совета было желательно, но рекламировать насыщение «советского парламента» подобными элементами, да еще в период следовавшей за окончанием войны игры в «демократию» — было крайне рискованно. Поэтому, думается, все они и были введены в Верховный Совет без излишнего шума и рекламы.

Но кто бы ни были эти 511 «секретных депутатов», следует отметить, что кремлевские диктаторы самым спокойным

образом нарушили установленные ими же самими правила выборов в отношении более чем одной трети всех депутатов Верховного Совета. И проделано это было в феврале 1946 года, когда еще почти весь мир верил в «демократические стремления» советского правительства, в так называемый период «ялтинской дипломатии».

Поскольку свыше трети депутатов Верховного Совета 1946 года являлись «величиной неизвестной», полный анализ его персонального состава проведен быть не может. Можно только сделать некоторые выводы по приведенной выше таблице тех 828 депутатов, данные о которых были сообщены.

Как и в Верховном Совете 1937 года, свыше 40 процентов официально зарегистрированных кандидатов в депутаты составляли работники различных звеньев государственного и партийного аппарата (391 из 828). Внутри отдельных групп этого монолитного слоя произошли некоторые изменения, но они были невелики: количество посланных в Верховный Совет работников центрального (общесоюзного) аппарата осталось почти неизменным; количество депутатов из работников республиканского масштаба уменьшилось на 14 человек, но областного — увеличилось на 15 человек. Значительно снижена была пропорция депутатов из работников городского и районного масштаба, а также представительство в Верховном Совете ответственных работников аппарата комсомола и профсоюзов. Это сокращение представительства от низовой сети государственно-партийного аппарата было очевидно сделано для того, чтобы иметь возможность увеличить соответствующую прослойку из уже упоминавшихся выше 511 «секретных депутатов». Но, несмотря на все эти изменения, аппаратчики из гос.-партийной сети составляли наиболее многочисленную и монолитную группу депутатов Верховного Совета СССР.

Значительно сокращена была официальная группа военных (31 вместо 115), но это произошло только потому, что основная масса депутатов от армии проходила по военным избирательным округам т. е. в секретном порядке. В действительности, как уже говорилось выше, представительство от военных весьма значительно возросло. Группа работников промышленности и транспорта была сокращена примерно на 50 процентов, а группа работников сельского хозяйства — почти вдвое. За счет этих двух групп, в первую очередь, и были выделены места для «секретных депутатов». Но это только уменьшало «демократичность» второго советского «парламента», даже по сравнению с первым.

Представительство от интеллигенции было несколько увеличено (114 вместо 87), но если принять во внимание общее увеличение количества депутатов (1.143 в 1937 году и 1.339 в 1946 г.), произведенное в связи с увеличением территории и населения СССР между 1937 и 1946 гг., то окажется, что процент интеллигенции среди депутатов остался почти неизменным (около 8 процентов). В этом смысле Верховный Совет 1946 был таким же «демократичным», как и Верховный Совет 1937 года. Увеличение произошло за счет посылки в Верховный Совет несколько большего количества профессоров, учителей и писателей. Но количество депутатов-студентов уменьшилось с 6 до одного.

Наиболее характерной особенностью второго Верховного Совета было уменьшение вдвое официального представительства от аппарата террора (69 человек в 1937 году и 33 — в 1946 году). Наиболее естественным объяснением этого факта может показаться то, что Верховный Совет 1937 года выбирался в самый разгар «великой чистки», когда чекисты были основной действующей силой внутри страны, а в 1946 году, после победоносного окончания войны, Кремлю было не столь удобно афишировать роль и значение палачей в стране «победившего социализма». Но это объяснение нам кажется правильным только частично. Дело в том, что после 1945 года наиболее важная (с точки зрения Сталина и его коллег) сфера действия органов государственной безопасности переместилась в «страны народной демократии» и другие территории, приобретенные в результате войны и Тегеранско-Ялтинской политики Западных союзников. Здесь действовал СМЕРШ, со своими многочисленными органами, сюда были посланы наиболее опытные и заслуженные чекисты. Расшифровывать служебное положение этих лиц было нельзя, провести их в Верховный Совет было желательно, а потому и искать их надо среди тех 511 «секретных депутатов», которые избирались по специальным избирательным округам. Относительно их общего количества можно строить только предположения, но едва ли их было меньше, чем в 1937 году. Официально среди депутатов Верховного Совета 1946 года находились все ответственные работники аппарата террора. По Народному Комиссариату Государственной Безопасности (ныне МГБ): наркомы ГБ Украинской, Белорусской, Азербайджанской, Казахской, Эстонской и Латвийской союзных республик; Башкирской и Татарской автономных республик; начальники управления НКГБ Хабаровского края, Московской, Ленинградской, Орловской и Горьков-

ской областей. По Народному Комиссариату Внутренних Дел (ныне МВД): нарком НКВД СССР Круглов, четыре его заместителя; наркомы ВД Белорусской, Таджикской, Туркменской, Грузинской, Литовской и Латвийской ССР, Чувашской АССР; начальники управлений НКВД Красноярского края, Московской и Ярославской областей, начальники Дальстроя и Ухтинского комбината.

Как и в Верховном Совете 1937 года, среди депутатов оказались руководители аппарата террора почти всех республик и многих краев и областей. НКГБ представлен слабее, чем НКВД, но именно это показывает, что значительная группа руководящих чекистов оказалась среди 511 «секретных депутатов»: ведь среди руководства СМЕРШ-а преобладали именно старшие чины бывшего ГУГБ НКВД СССР, преобразованного после войны сначала в НКГБ СССР, а затем — в МГБ СССР.

Такова была картина «народного представительства» в советском «парламенте» в тот период, когда столь многие люди на Западе возлагали такие большие надежды на «перерождение» и «демократизацию» сталинского режима в СССР.

Верховный Совет 1950 года

В 1950 году Верховный Совет СССР был избран 12 марта, но первая его сессия была созвана лишь 12 июня, в последний день допускаемого Конституцией СССР трехмесячного срока для созыва новоизбранного Верховного Совета. Доклады председателей мандатных комиссий (см. «Известия» № 141 (10290), от 15 июня 1950 года) содержали следующие официальные данные. Всего депутатов 1.316. Из них: членов ВКП(б) — 1.099, беспартийных — 217 человек.

По палатам:

Совет Союза: — 678 депутатов. Из них: членов ВКП(б) 580 (85,5%); беспартийных — 98 (14,5%). Из общего числа 678 депутатов было: рабочих — 238 (35,1%), крестьян — 123 (18,1%). Количество представителей интеллигенции не было указано, но было отмечено, что 82 депутата имеют ученые звания и степени, в том числе — 14 академиков. Относительно действительного общественного положения депутатов в сообщении мандатной комиссии говорилось: — «Депутатами Совета Союза избрано 187 партийных и общественных работников, 172 руководящих работника центральных органов власти и местных советских органов, 49 хозяйственных работников». Среди депутатов было 619 орденоносцев. В том

числе: 42 Героя Советского Союза и 46 Героев Социалистического Труда.

Совет Национальностей: — 638 депутатов. Из них: членов партии 519, беспартийных — 119. Из общего числа 638 депутатов было: рабочих 180, крестьян — 146, работников науки, культуры, искусств — 103. Кто такие были остальные 209 депутатов Совета Национальностей — в докладе мандатной комиссии не говорилось. Среди депутатов было 592 (92,8%) орденоносцев.

Переходим теперь к такому же анализу по кандидатским спискам, какой был проделан в отношении Верховных Советов 1937 и 1946 гг. Источниками служат официальные списки кандидатов, опубликованные в «Правде» и «Известиях» за 19-27 февраля 1950 года.

Таблица № 3

Персональный состав Верховного Совета 1950 года

Вожди (члены Политбюро, Оргбюро, ЦК ВКП(б) и т. д.)	34
Ответственные работники аппарата ЦК ВКП(б) и ЦК республиканских компартий	27
Министры союзных и автономных республик	33
Председатели Верховных Советов и Советов министров республик и их заместители	85
Секретари республиканских ЦК партии	53
Секретари областных и окружных комитетов партии	137
Председатели краевых и областных исполкомов	78
Секретари городских комитетов партии	28
Секретари райкомов партии и председатели райисполкомов	62
Слушатели высшей партийной школы при ЦК ВКП(б)	9
Работники ЦК ВЛКСМ и республиканских ЦК комсомола	11
Ответственные работники профсоюзов	11
Секретари редакций газет, работники политотделов МТС и т. д.	10
Итого из государственного и партийного аппарата	578
Ответственные работники МГБ	25
Ответственные работники МВД	12
Прокуроры союзных республик (УССР и БССР)	2
Итого из аппарата террора	39
Военных (анализ состава группы военных отдельно)	43

Управляющие трестами, директора заводов и шахт	25
Начальники железных дорог	6
Мастера и бригадиры	33
Рабочие	78
Итого работников промышленности и транспорта	142
Заведующие отделами с.-х. и агрономы	28
Директора совхозов и МТС	12
Председатели сельсоветов и колхозов	157
Колхозники (преимущественно бригадиры тракторных бригад)	17
Итого работников сельского хозяйства	214
Академики	20
Профессора и заведующие кафедрами	20
Заведующие школами и учителя	66
Студенты	3
Инженеры и начальники цехов	19
Врачи и зоотехники	27
Писатели	22
Артисты и работники кино	15
Композиторы и художники	4
Итого представителей интеллигенции	196
Всего	1.212

Кроме того списки кандидатов включали несколько десятков лиц, которых трудно подразделить на какие-либо типовые категории: тут было два «старых большевика», несколько капитанов дальнего плавания, технические работники исполкомов, Герои Советского Союза (без указания их рода занятий) и несколько лиц вообще без всякого указания на их профессию или положение в советском обществе. Полные списки кандидатов включали 1,279 человек: 650 — по Совету Союза и 629 — по Совету Национальностей. 37 человек было проведено в Верховный Совет в описанном уже нами выше «секретном порядке». Причина введения этих 37 «секретных депутатов» была, несомненно, та же, что и в 1946 году. Но уменьшение «засекреченных депутатов» с 511 до 37 не следует понимать так, что к 1950 году уменьшилось в 15 раз количество советского персонала за пределами СССР: просто выборы и выдвижение кандидатов были сделаны в 1950 году более «планомер-

но», чем это было в 1946 году, когда административно-бюрократическая машина еще не была приведена в нужный порядок после войны.

Таблица № 3 показывает следующие особенности Верховного Совета 1950 года, по сравнению с предыдущими двумя:

1) В Верховный Совет почти совершенно не были введены общесоюзные министры. За исключением Сабурова, Первухина, Малышева, Ефремова и Тевосяна, вошедших в Верховный Совет в качестве заместителей председателя Совета Министров СССР, ни один министр центрального аппарата (Совета министров СССР) не оказался среди депутатов (там был Вышинский, но его уже надо причислить к «вождям») — 2) значительно была усилена группа работников краевого, областного и районного масштаба, — 3) значительно увеличено представительство от интеллигенции, — 4) весьма характерна группа военных: из 43 человек в ней около 20 командующих военными округами, — 5) МГБ представлено значительно сильнее, чем МВД, хотя общее представительство от обоих этих органов террора осталось почти таким же, как в 1946 году.

От МГБ вошли в Верховный Совет: министры государственной безопасности Украинской, Белорусской, Грузинской, Молдавской, Латвийской, Литовской, Эстонской, Казахской, Таджикской, Туркменской, Армянской, Узбекской, Киргизской, Азербайджанской ССР; Башкирской, Дагестанской, Кабардинской и Северо-Осетинской АССР; начальники управлений МГБ по Московской, Куйбышевской и Орловской областям, и по Хабаровскому и Краснодарскому краям.

От МВД: — министры внутренних дел Белорусской, Грузинской, Казахской, Таджикской, Азербайджанской ССР, Дагестанской и Северо-Осетинской АССР; начальники управлений по Московской, Кемеровской и Драгобычской областям. Кроме них от аппарата террора вошли еще военный комиссар Эстонской ССР (до сих пор было неизвестно о существовании такой должности) и начальник Ухтинского комбината.

В этой группе депутатов чекистов обращает на себя внимание полное отсутствие среди депутатов работников центрального аппарата МГБ и МВД СССР, которые были в прежних двух Верховных Советах. Но охват территории СССР этой категорией «народных избранников» остается по-прежнему достаточно внушительным.

Прежде чем переходить к дальнейшему анализу и выводам, сделаем сводную таблицу главнейших категорий депутатов всех трех Верховных Советов.

Таблица № 4

Персональный состав Верховных Советов 1937, 1946 и 1950 годов

	1937 г.	1946 г.	1950 г.
Работники гос.-партийного аппарата	474	391	578
Работники аппарата террора	69	33	39
Военные	115	31	43
«Секретные депутаты»	нет	511	37
Работники промышленности и транспорта	155	98	142
в том числе, рабочие	91	45	78
Работники сельского хозяйства.....	261	148	214
в том числе, колхозники	85	23	17
Представители интеллигенции.....	87	114	196

Таблица эта показывает, прежде всего, что монолитный слой руководящих работников государственного и партийного аппарата не только является господствующей силой в Верховных Советах всех трех созывов, но удельный его вес непрерывно растет. В 1946 г. слой этот представлен, как будто, несколько слабее, но ведь тогда было еще 511 «секретных депутатов». А если прибавить еще руководящих работников аппарата террора, то во всех трех Верховных Советах эти две «группы» депутатов имели абсолютное большинство, оставляя даже в стороне их действительное значение в зале заседаний и в стране. Но и это еще не всё, так как к ним надо прибавить руководящих работников промышленности, транспорта и сельского хозяйства, а также весьма многих из представителей «интеллигенции»: директора учебных заведений, научно-исследовательских институтов и т. п.

Рассмотрим теперь, как распределялись депутаты-«аппаратчики» на представителей центральных и местных органов власти.

Таблица № 5

Депутаты-«аппаратчики» в Верховном Совете

	1937 г.	1946 г.	1950 г.
Вожди и центральный аппарат	60	56	61
Работники республиканского масштаба...	134	115	171
Работники областного и краевого масштаба	147	162	215
Работники городского масштаба.....	41	18	28

Работники районного масштаба.....	59	28	62
Работники низового аппарата.....	7	2	10
Руководящие работники комсомола	17	6	11
Руководящие работники профсоюзов	9	2	11

Выводы из таблицы № 5 таковы:

1. Группа вождей и работников центрального аппарата остается количественно почти неизменной. Но качественно она подверглась в 1950 году радикальному изменению: в 1937 и 1946 гг. почти 50% этой группы составляли общесоюзные наркомы, в 1950 году эти 29-30 мест были заняты работниками ЦК ВКП(б).

2. Наибольшее число мест среди «депутатов-аппаратчиков» занимают работники республиканского, краевого и областного масштаба. Эти две группы депутатов непрерывно увеличивались и к 1950 году количество занимаемых ими мест в Верховном Совете достигло почти 400. Это есть самая однородная по своему составу и абсолютно самая многочисленная «фракция» советского парламента. Число депутатов этой категории во всех трех Верховных Советах неизменно превышало число депутатов колхозников, рабочих и интеллигентов, вместе взятых. Между тем, и это чрезвычайно важно для уяснения истинной роли «советского парламента», — именно эти две категории руководящих работников республиканского, краевого и областного аппарата являются важнейшей опорой большевистского режима в советской провинции. Они являются хозяевами во всех республиках, краях и областях, они составляют генералитет властвующей партии, они же должны представлять «советскую демократическую общественность» в зале

Примечание: Во всех предыдущих и последующих рассуждениях автор не делает никакой разницы между, скажем, секретарями обкомов и председателями исполкомов областных Советов (также и применительно к «партийным» и «советским» работникам республиканского, краевого, городского и районного масштаба). И те и другие являются, одновременно, членами бюро соответствующих партийных комитетов; они, по сути, есть чисто партийные работники, а переброска того или иного из них, время от времени, то на «партийную», то на «советскую» работу, определяются решением вышестоящего партийного органа, и ничем иным.

заседаний Верховного Совета СССР. 400 партийных наместников и губернаторов в парламенте — такова большевистская «демократия»!

3. Группа руководящих партийных работников городского и районного масштаба представлена уже значительно слабее, хотя число депутатов и от этих двух групп в 1937 и 1950 годах приближалось к 100, т. е. превышало общее число депутатов-колхозников и депутатов-рабочих. Эти две категории местных партийных «вождей» не столь важны для обеспечения полновластной диктатуры на всей территории страны, а потому они и посылаются в «парламент» в значительно меньшем числе.

4. Работники низового партийного аппарата представлены среди депутатов в совершенно ничтожной пропорции. Также слабо представлен аппарат комсомола и профсоюзов, от которых в Верховный Совет, всех трех созывов, вводились почти исключительно комсомольские и профсоюзные работники общесоюзного или республиканского масштаба, т. е. ответственные работники центрального партийного аппарата, управляющие работой комсомола и профсоюзов.

Таблица № 5 ясно показывает, что костяком депутатского состава всех трех Верховных Советов были ответственные чиновники местных органов партийной власти, в первую очередь — республиканского, краевого и областного масштаба. Этот монолитный слой дополнялся соответствующими руководящими работниками НКВД (впоследствии МГБ и МВД). В Верховном Совете 1950 года система эта была распространена и на военные органы: среди депутатов-военных оказались командующие почти всеми военными округами Советского Союза.

Своеобразный «демократический прогресс» наблюдается в группе «депутатов-крестьян». Если в 1927 году в ней было 75 председателей колхозов, 92 бригадира и 85 колхозников (разных «пятисотенниц» и «мастеров высоких урожаев»), то в 1950 году эта группа была уже окончательно «демократизирована»: в ее составе было 157 председателей колхозов и сельсоветов и... 17 колхозников (считая и бригадиров тракторных бригад). Целых 17 депутатов от 100 миллионов крестьян, это ли не образец советской «демократии»!

Для полноты анализа приведем еще две таблицы, основанные на официальных данных мандатных комиссий каждого из трех Верховных Советов.

Таблица № 6

Возрастной состав депутатов
(По обеим палатам)

	1937 г.	1946 г.	1950 г.
моложе 25 лет	97	46	15
от 25 до 40 лет	734	568	397
от 41 до 50 лет.....	152	553	656
от 51 до 60 лет	50	156	191
старше 60 лет	10	35	57

По некоторым категориям данные таблицы № 6 являются приближенными, ибо при ее составлении пришлось расшифровывать ряд статистических трюков, примененных мандатными комиссиями Верховного Совета для сокрытия того невыгодного для советской пропаганды факта, что с 1937 по 1950 год средний возраст депутата Верховного Совета СССР повысился примерно на 15 лет. Но общей картины эти небольшие погрешности не меняют. Из таблицы № 6 мы видим, что в 1937 году основная масса депутатов была моложе 40 лет; в 1946 году средний возраст депутата был уже 40-45 лет; в 1950 году он находился в пределах 45-50 лет.

Так разбивается созданный советской пропагандой миф о том, что Верховный Совет является самым молодым в мире парламентом, что советская власть открыла для молодежи двери своих законодательных учреждений. Уже этот результат является большим ущербом для советской пропаганды. Но еще важнее то, что смещение среднего возраста депутата доказывает, что между 1937 и 1950 годами в Верховный Совет выбирались одна и та же категория лиц, превратившихся, как бы, в «бессменных депутатов».

Речь идет о том поколении партийной «аристократии», которое пришло к власти в результате ежовщины и с тех пор наполняет собой все рабочие органы большевистской диктатуры, каковы бы ни были их название и формальные функции. Физически многие из них выбывают из строя (так, например, почти половина депутатов первого Верховного Совета была истреблена в 1938 году), но пополнение их идет из того же слоя новой партийной бюрократии (так называемого маленковского партнабора), который был выдвинут Сталиным и его помощниками (в первую очередь Маленковым) на руководя-

щие посты во всех рабочих органах партии к моменту завершения борьбы против оппозиции. Тогда этим людям было около 35 лет, теперь их средний возраст приближается к 50-ти годам. Ряды их значительно поредели за годы войны и в ходе той перманентной чистки, которая идет в Советском Союзе все последние полтора десятилетия, но они всё еще держат в своих руках все командные посты на местах, из них же и вербуются «народные избранники» в Верховный Совет СССР. Факт этот чрезвычайно прост и естественен для условий большевистской диктатуры, но он крайне невыгоден для мифа о царстве «истинной демократии» в Советском Союзе, а потому он и скрывается самым тщательным образом, для чего официальные источники прибегают к любым трюкам и фальсификациям.

Таблица № 7

Партийный состав депутатов Верховного Совета

	1937 г.	1946 г.	1950 г.
Члены и кандидаты ВКП(б).....	855	1.085	1.099
Беспартийные	288	254	217

В процентном выражении удельный вес членов и кандидатов ВКП(б) среди депутатов Верховных Советов таков: — в 1937 году — 74,8%; в 946 г. — 81%; в 1950 году — 83,4%.

Таблица № 7 и ее процентная расшифровка, сами по себе, не сообщают ничего принципиально нового: большевики никогда не скрывали, что их «парламент» коммунизирован более, чем на три четверти. Факт этот был широко известен и заграницей, где он соответственно комментировался. Интересна лишь общая тенденция: непрерывное увеличение и без того подавляющего процента коммунистов среди депутатов. При продолжении этой тенденции, лет через 10-15, Верховный Совет будет вообще состоять только из членов партии, а для «демократического фасада» беспартийным будет отведено несколько десятых или даже сотых процента общего числа депутатов. Фактически и сейчас картина уже очень близка к этому, если учесть, что среди «беспартийных» находятся также и комсомольцы: ведь комсомол, формально, — не партия, а «беспартийный» союз молодежи.

***

Итак, Верховный Совет СССР никак нельзя рассматривать как некий «демократический фасад», служащий для прикрытия истинной тоталитарной сущности большевистского режима. В нем не больше «демократичности», чем в любом обкоме партии или даже в самом Политбюро.

Но что же он тогда представляет собой, какова его истинная роль, его служебные функции в системе органов большевистской диктатуры?

Изложенные выше факты приводят нас к такому выводу: Верховный Совет СССР есть орган не государственной, а партийной власти: это есть представительный орган ВКП(б).

Схема персонального состава этого органа особого назначения к наастоящему времени такова:

1. В него входят все члены Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК ВКП(б), работники аппарата ЦК ВКП(б), редакторы газет «Правда» и «Известия», директор института Маркса-Энгельса-Ленина, некоторые слушатели Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б), работники секретариата Сталина (например, Поскребышев) и т. п. Министры СССР не обязательно присутствуют в этой группе, насчитывающей 60-70 депутатов (если считать и слушателей Высшей партшколы).

2. От каждой союзной и автономной республики, от каждого края и от всех важнейших в экономическом и стратегическом отношении областей в Верховный Совет СССР вводятся такие лица: секретарь (иногда, два и больше) соответствующего партийного комитета, председатель Совета или его заместитель (от союзных республик вводятся неизменно председатель республиканского Верховного Совета и председатель республиканского Совета министров); министр или начальник управления МВД-МГБ; командующий военным округом; в некоторых случаях — начальник железной дороги и руководители наиболее крупных хозяйственных ведомств, расположенных на территории данной республики, края или области. Этот слой депутатов из высшего местного партийного начальства составляет ныне около 400 человек.

3. От городов и районов представительство отбирается по этому же принципу, но общее число работников городского и районного масштаба среди депутатов оказывается уже значительно меньшим и не превышает 200. Если слой партийного начальства республик и областей вводится в Верховный Совет

почти полностью, то среди партийного начальства городов и районов производится тщательный отбор, чтобы допустить в этот представительный орган только тех немногих, которые, по каким-то соображениям, кажутся наиболее достойными этой «великой чести». Здесь выдвижение в депутаты является, несомненно, одной из форм награждения партийного чиновника за его нынешние или прошлые заслуги.

4. По такому же принципу производится и отбор кандидатов из низовой сети партийно-государственного аппарата, комсомола, профсоюзов, колхозов, научных и учебных заведений и т. п. Здесь «конкурс» оказывается еще более жестким, принцип «награждения» депутатским званием — еще более ощутительным.

5. Нижний слой пирамиды депутатов состоит из колхозников, рабочих-стахановцев, немногочисленных представителей интеллигенции. Здесь при отборе кандидатов царствует уже полный произвол, ибо эта группа «народных избранников» составляется просто по статистическому принципу: есть известное число мест, их надо кем-то заполнить.

6. Для пропагандного украшения Верховного Совета, в него неизменно вводится небольшая группа летчиков с громкими именами, академиков, известных писателей, композиторов, художников, артистов, исследователей полярных районов или других лиц, деятельность которых, по каким-либо причинам, была широко рекламирована за последнее время в советской прессе. Группа эта обычно насчитывает несколько десятков человек, удельный вес ее в Верховном Совете ничтожен, но именно эта группа многократно и всеми способами рекламируется, чтобы создать впечатление, что подавляющее большинство депутатов Верховного Совета состоит из таких «заслуженных» лиц. Тактика эта увенчалась полным успехом и помогла создать во всем мире абсолютно неправильное представление о Верховном Совете.

Верховный Совет СССР не прикрывает диктатуру, он представляет ее, в том ее виде, в каком она в действительности существует.

В самом деле, в стране абсолютной диктатуры составлен «парламент», состоящий на 90 процентов из наместников, губернаторов, градоначальников, начальников жандармских управлений, командующих вооруженными силами и прочих чиновников этой диктатуры, а между тем находятся серьезные люди, склонные усматривать в этом учреждении какой-то «обман», какое-то нарушение «принципов», изложенных в самой

конституции этого режима. Никакого обмана нет. По мысли диктатора, рабочий аппарат его партии представляет собой весь народ; этих своих аппаратчиков он и посылает в свой «парламент». Причем делает это совершенно откровенно, публикуя все нужные подробности о составе этого «парламента», представляющего его партию, и только эту партию.

На нынешнем этапе развития коммунистической диктатуры в СССР, Верховный Совет СССР выполняет для этой диктатуры служебную роль всесоюзного съезда ВКП(б), как совещательного органа при Политбюро.

В обоснование этого вывода можно привести такие доводы:

1. За время существования Верховного Совета, как учреждения, всесоюзный съезд партии был созван только один раз (18-й в 1939 году), но тогда это было совершенно необходимо сделать, ибо более половины прежнего состава Центрального Комитета ВКП(б) подверглось физическому истреблению в годы ежовщины.

2. Если бы завтра был созван ожидаемый уже свыше десяти лет 19-й съезд ВКП(б), то, за исключением нескольких десятков беспартийных, его персональный состав был бы почти точно такой же, как, скажем, состав депутатов Верховного Совета СССР 1950 года.

На это можно возразить, что круг вопросов, обсуждаемых партийным съездом, не идентичен с тем, что выносится на повестку дня очередной сессии Верховного Совета. Так, например, Верховный Совет не может заслушивать политического отчета ЦК, не может избирать нового состава ЦК и других органов партии, не может рассматривать и принимать новой программы и устава ВКП(б), для выработки которых еще 18-м съездом была создана специальная комиссия. Всё это, конечно, справедливо, но мы и не собираемся доказывать, что Верховный Совет является съездом партии; он просто имеет все данные для того, чтобы выполнять служебные функции съезда (как совещательного органа) на тот период, пока властвующая олигархия не желает созывать самого съезда. А когда Сталин и Политбюро пожелают созвать съезд для пополнения состава ЦК и (быть может) для утверждения нового устава и программы ВКП(б), то такой съезд будет созван примерно в том же составе, как и действующий ныне Верховный Совет СССР. Фактически это будет, как бы, внеочередная сессия Верховного Совета для обсуждения некоторых специально партийных вопросов.

Всё дело определяется просто изменением самой роли съезда партии. Если в первый период большевистской диктатуры съезд партии всё еще считался верховным органом партии, то после разгрома и физического уничтожения Сталиным оппозиции, съезд партии был низведен до роли созываемого время от времени совещательного (и достаточно бесправного, притом) органа при властвующей олигархии. Если лет десять-пятнадцать тому назад было вполне справедливо утверждать, что советский режим есть не диктатура пролетариата, а диктатура над пролетариатом, то теперь в такой же мере правильным будет утверждение, что сталинский режим есть не диктатура коммунистической партии, а диктатура Политбюро над компартией. А в таких условиях регулярный созыв съезда партии становится практически ненужным, если есть какой-либо другой орган, где центральный и местный рабочий аппарат партии представлен достаточно полно. Таким органом и является Верховный Совет.

В свете всего изложенного рассуждения многих зарубежных обозревателей о том, что съезд партии не созывается из-за опасения какой-то оппозиции на съезде или из-за нежелания Сталина сделать политический отчет, в качестве генерального секретаря ЦК, — не имеют под собой никаких оснований. Перемещение заседающих в здании Верховного Совета партийных аппаратчиков в Большой театр (а практически только этим и будет отличаться съезд партии от очередной сессии Верховного Совета) едва ли создаст какие-либо предпосылки для появления оппозиции в их среде. Что же касается политического отчета ЦК, то ведь мог Сталин, — в своей роли председателя Совета министров СССР, — обойтись без отчета Верховному Совету СССР в 1946 и 1950 гг., когда формально производилось утверждение нового состава правительства СССР. Он даже не счел нужным лично доложить Верховному Совету о новом составе своего кабинета. Почему же нужно ждать, что он начнет отчитываться в политических вопросах перед теми же секретарями обкомов, председателями исполкомов и прочей публикой, которых он два раза в год наблюдает перед собой в зале заседаний Верховного Совета? Только потому, что они будут тогда называться делегатами Всесоюзного съезда партии, а не депутатами Верховного Совета СССР?

Затронутый вопрос приводит нас к большой проблеме сращивания государственного и партийного аппарата в СССР на нынешнем этапе большевистской диктатуры. Вопрос о роли

Верховного Совета является лишь небольшой частью этой проблемы, рассмотрение которой не входит в задачу настоящей работы, но которая должна подвергнуться детальному исследованию, ибо без этого нельзя понять подлинного значения всех тех процессов, которые происходят в настоящее время внутри СССР.

Н. Градобоев

О СОВЕТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

(ПО ПОВОДУ СТАТЬИ С. ВАСИЛЬЕВА)

В 26-м выпуске «Нового Журнала» помещена статья С. Васильева «Великая железнодорожная держава». Общий вывод автора, что советская власть безнадежно запустила развитие железных дорог, оспаривать, конечно, не приходится, — это общеизвестно. Правильное освещение причин, это обусловивших, было бы очень ценно. К сожалению, такого освещения мы в статье не находим.

Исходной базой и канвой своего исследования автор статьи избрал сравнение подхода к решению железнодорожной проблемы в старое и в советское время, делая при этом частые экскурсы в область железнодорожной стратегии. В наших замечаниях на его статью мы будем следовать тому же плану.

***

Вряд ли можно сомневаться в том, что советская власть, решая какой-либо вопрос, не рассматривает его и с военной точки зрения. Другое дело, какая это точка зрения и к каким решениям она приводит. Но во всяком случае, нельзя ожидать, чтобы эта власть слепо следовала в вопросах железнодорожного строительства примеру и установкам царского военного командования. А по этой части С. Васильев исключительно прямолинеен и настойчив. Уже с самого начала, приводя планы железнодорожного строительства из времен первой войны, автор пишет:

«Одновременно с этим отдел Военных сообщений Ставки составил план на 7.000 км. стратегически необходимых железных дорог. Как увидим, советская власть не построила почти никаких дорог в плане Ставки».

Спрашивается, почему она должна была их строить? Какое

сходство между военно-политическими задачами и международным положением царского режима и советского, не говоря уже о том, что существенно изменились и самые границы страны? Вот как С. Васильев описывает положение в 1914 году: «Со стороны тогдашней России к западным ее границам, от Балтийского до Черного моря подходило 13 линий с 21 колеей. Германия, Австрия и Румыния могли подвозить войска к русской границе по 32 линиям с 46 колеями». Этот подсчет линий и колей С. Васильев сопровождает следующим неожиданным утверждением: «Это соотношение, сыгравши, конечно, большую роль в истории самодержавия и войны 14 года, осталось при советском режиме неизменным, — и даже, с отходом Польши, ухудшилось» (стр. 245). Как же это понимать? Ведь 32 линии с 46 колеями остались теперь далеко на западе. Границу Советского Союза от них отделила обширная территория, занятая Польшей и балтийскими лимитрофами, где сеть железных дорог была не гуще, чем на советской территории. Несколько дальше С. Васильев добавляет: «Сталин не сделал ничего, чтобы изменить это соотношение». Как мы видим, это соотношение резко изменилось помимо воли Сталина, но и Сталин его тоже изменил — и в смысле для С. Васильева, повидимому, неожиданном. Но прежде, чем об этом говорить, надо уточнить некоторые данные относительно стратегических дорог царского времени.

Протоколами начальников штабов, дополнявшими франко-русскую военную конвенцию, под которую граф Коковцев получал в свое время от Франции военные займы, был обусловлен следующий минимум развития стратегической железнодорожной сети: четыре магистрали о 2-х колеях должны были подходить к западной границе России севернее Пинских болот и столько же южнее их, но в пределах до границы с Румынией. Минимум одноколейных подходов установлен не был, — побольше в пределах необходимости и возможности. В качестве главной рокадной линии должна была быть всемерно развита дорога Дно-Жлобин-Коростень-Казатин. Естественно, что французы нажимали на скорейшее обеспечение северной половины, где с постройкой магистрали Бологое-Полоцк-Седлец к войне минимум был выполнен. Три остальных двухколейных магистрали представляли здесь дороги: Петербург-Вильно-Вержболово; Москва-Барановичи-Брест-Варшава и третья Брянск-Гомель-Брест-Граево. Южнее Припяти и Пинских болот дело обстояло хуже: в наличии были только две двухколейных до-

роги: Киев-Ковель и Киев-Проскуров. Спешно начинали строить магистраль Гришино-Золотоноша-Ровно.

С. Васильев утверждает, что Сталин не изменил невыгодного для России соотношения железнодорожных сетей. На самом же деле Сталин его изменил. Везде, где только было можно, вторые колеи были сняты. На магистрали Бологое-Полоцк второй путь был разобран на всем протяжении — до границы. На линии Брянск-Гомель-Брест — на всем главном и длинном участке от Гомеля до границы. На севере — немного — от Пскова до границы. Везде убраны были мостовые фермы и часть станционных путей и устройств. Московско-Брестская дорога уцелела только из декоративно-престижных соображений: здесь ходил курьерский поезд Столбцы-Владивосток и ездили иностранцы. Южнее Полесья ничего разбирать не приходилось, так как там и так путей было мало. Но дорогу Гришино-Ровно достроили только отдельными участками, локального хозяйственного значения, в одну колею.

Куда же девался снятый железнодорожный материал? Несомненно, он был употреблен на линиях и направлениях, больше отвечавших стратегической концепции Кремля и роли, отводимой в ней железным дорогам. Может быть, снятые рельсы уложили на «сверхмагистрали» Москва-Елец-Донбас, может быть, отвезли их в Кузбас. Основной стратегической задачей Кремль считал скорейшую отстройку мощной военной промышленности в качестве базы мировой революции. Этому подчинялось всё остальное, в том числе и вопросы обороны страны на ближайший период. К тому же в этом отношении до 1934 года угроза с запада не казалась большой. Поскорее иметь оружие считалось более важным: это давало возможность при благоприятных условиях наступать и, казалось, вернее обеспечивало и оборону. Нельзя отрицать, что русский опыт в первую войну давал для такой установки достаточно оснований.

Однако, здесь уместно и нужно поставить вопрос, как допустила советская власть такую диспропорцию между развитием железнодорожного транспорта и развитием промышленности и вообще экономики? Почему она почти не строила железных дорог в период 1-ой и 2-ой пятилетки? На Западе по этому поводу до сих пор строят разные догадки. С. Васильев тоже не дает этому факту никакого объяснения. Обычно ссылаются на отсутствие у советских верхов способности к государственному мышлению. А ключ к разрешению загадки можно найти, просмотрев советскую печать за время с 1929 по

1932 год. И «Правда» и «Известия» очень много писали тогда о транспорте, и в частности, о железных дорогах. Суть же этих писаний постепенно свелась к следующему: «Железные дороги — это архаическое, отживающее средство передвижения; ведь четыре пятых затрачиваемой тепловой энергии теряется паровозом впустую. Нужно искать замены его новыми, более рентабельными, прогрессивными средствами». Стимулировало и подогревало такие настроения развитие автотранспорта в США. А там в это время много писали о том, что автомашина успешно конкурирует с железными дорогами и чуть их не вытесняет, что на расстоянии до 1000 км. перевозить грузы уже выгоднее на грузовике, чем по железной дороге и т. д.

Эту скороспелую концепцию, недостаточно проверенную и в США (а в Советском Союзе, к тому же вообще мало применимую в виду совсем иных пространственных, климатических и экономических условий), Кремль постепенно воспринял и стал приводить в действие. В начале 1931 года он снял с плана 1-й пятилетки почти все без исключения железнодорожные новостройки, которых было около 4000 км., хотя все они были уже начаты. Было решено напречь до отказа наличный «отживающий» железнодорожный транспорт и перепрыгнуть в эпоху более передового транспорта. Предполагали иметь к 1938 году, началу 3-й пятилетки, 2 миллиона грузовых машин и сеть шоссейных дорог для них. Считалось, что это будет уже достаточным дополнением к железным дорогам, а дальше, с ростом выпуска автомашин, дело, казалось, должно было пойти как по маслу.

И еще одно. В тех же «Правде» и «Известиях», за указанный выше период, можно встретить многочисленные статьи, посвященные Шаропоезду Ярмольчука. Модель этого Шаропоезда весь 30-й год бегала в своих желобах по аллее парка им. Горького в Москве. Ее следовало рассматривать отнюдь не как игрушку или даже только как символ передовой революционной техники. Полуутопическому изобретению талантливого техника самым серьезным образом отводилась почетная роль в разрешении транспортных проблем ближайшего будущего.

***

На принятие Кремлем мудрого решения о прекращении постройки железных дорог в первой пятилетке повлияли и обнаружившиеся к тому времени «успехи» коллективизации. Рессурсы, на которые расчитывали при составлении плана пяти-

летки, начали таять не по дням, а по часам. Не стало хлеба, лошади и коровы дохли миллионами или их резали крестьяне. Хочешь не хочешь, а план надо было сокращать; первой жертвой и пали железные дороги. Их участь в дальнейшем разделило еще очень многое. Ведь к концу 1931-го года из 36 миллионов лошадей — 20 миллионов уже нехватало. А многие миллионы их тоже ведь должны были активно и непосредственно выполнять пятилетку. Другого же транспорта никакого не было. Теперь участие лошадей почти исключалось, нужно же было на чем-то и землю пахать. Продолжать пятилетку по первоначальному плану стало бессмысленным и просто технически невозможным, приходилось всё перекраивать. В 1932 году сняли с плана всё оставшееся и советские фанфары оповестили мир о досрочном выполнении первой пятилетки в 4 года...

Остались некоторые следы своеобразных «успехов» пятилетки. Еще накануне войны можно было видеть заросшее травой земляное полотно, убегающее из Александрова Гая за Волгой куда-то на юго-восток к Аральскому морю. Навстречу ему из Чарджуя, на север вдоль по Аму-Дарье, тянулась такая же насыпь. Такие же хвостики сиротливо выглядывали и тянулись друг к другу из Ташкента и Чикмента; из Безенчуга к Ершовке и обратно, из Мельникова в Фергане к Ташкенту и во многих других местах. Стыдливые свидетели побед пятилетки...

Ну, а что же получилось с прыжком в эпоху передового транспорта?

Прыжок оказался плохо расчитан. Вместо 2 миллионов автомашин к началу 3-й пятилетки их число еще не достигло четвертой части этого количества. С шоссейными дорогами дело вообще с места почти не сдвинулось. Общая их сеть едва перешагнула 20 тысяч километров. И все ужасного качества, преимущественно еще построенных при царизме. Да в них и не было почти надобности. Разве что для будущего. Автомашинами не смогли полностью заменить лошадей даже только во внутри-городском транспорте. О междугородних автоперевозках не могло быть и речи.

Спохватился Кремль только во второй половине 2-й пятилетки, когда в хозяйстве уже возникли огромные простои из-за недостатка транспорта. Приходилось консервировать большие новые предприятия. Поэтому-то на период с 1937-го по 1941-й год из построенных за всё советское время (до войны) 19 тысяч км. железных дорог падает половина, а другая — на

18 лет, от начала советской власти. В этот период, с 1937 года, были построены первые после Турксиба, сравнительно значительные по протяжению, дороги: Котлас-Ухта, Илецкая Защита-Урбах, Карталы-Акмолинск, Горький-Котельнич, Гурьев-Кандагач. Строились Ухта-Воркута, Казань-Чистополь-Бугульма и другие.

**
*

Обвинив Сталина в небрежении к стратегическим заветам царской ставки, С. Васильев тут же устанавливает, к каким печальным последствиям упомянутое небрежение привело уже в начале войны. Он пишет, что новый режим «заплатил за это: 1) сдачей в плен свыше миллиона солдат в трех сражениях (Минск, Смоленск, Киев), 2) недостаточным вывозом еврейского и западно-украинского населения на восток. То же, вероятно, и с эвакуацией индустриального оборудования» (стр. 240). Почему С. Васильев считает, что все эти несчастья произошли из-за недостатка в железных дорогах? События на фронте в первый период протекали совсем не так, как он себе это, очевидно, представляет. Уже с чисто формальной стороны нужно указать, что у Минска или в его окружении никаких сражений не было. Война началась 22 июня, а в полдень 25-го передовые танковые отряды немцев уже проследовали через Минск дальше на восток. Потом за ними еще неслись через горящий город отдельные советские машины с беглецами, но ночью он был окончательно занят. Так что для сражения под Минском и времени не было. Говоря о Смоленске, С. Васильев имеет, повидимому, в виду то, что принято называть Вяземским окружением. Но ведь оно произошло уже на четвертом месяце войны и число пленных после него было уже не «свыше миллиона», а около четырех миллионов.

В первые недели войны, надолго определившие ее печальный для большевиков характер, железные дороги играли весьма незначительную роль. Почти все войска, предназначенные для войны, находились в полосе к западу от Днепра, рассеченной в одну неделю по разным направлениям танковыми и моторизованными клиньями немцев. Железные дороги были сразу парализованы и не могли бы помочь, как бы ни была густа их сеть. Подвозить на помощь войска с востока можно было только до линии Днепра. Да и подвозить оттуда сперва было, собственно, некого, т. к. все войска там были в неотмобилизованном виде. А о том, чтобы что-нибудь из указанной выше полосы выво-

зить, — не могло быть и речи. К тому же евреев советская власть и не собиралась спасать, а из «западно-украинцев» едва ли нашлось бы много желающих эвакуироваться; они радостно советскую власть провожали, но следовать за ней никакой охоты не имели. Несколько легче было положение южнее Полесья, на Румынском фронте, где румыны не были проникнуты никаким наступательным духом и ждали немецкой помощи. Здесь кое в чем могли помочь и железные дороги. Наконец, само собой понятно, что хорошо развитая, по планам царской ставки, стратегическая сеть железных дорог к западу от Днепра в дальнейшем ходе войны могла бы быть полезна только немцам.

Для точности надо всё-таки отметить, что в свое время советы некоторые, нужные с их точки зрения, улучшения в железнодорожной сети внесли. В соответствии со скромными возможностями Красной армии до середины тридцатых годов, их беспокоило в первую очередь сохранение плацдарма на западном берегу Днепра. В условиях возможных воздушных нападений считалось необходимым увеличение железнодорожных переправ через Днепр. Поэтому были построены: соединительная ветка Чернигов-Овруч с мостом через Днепр; объездная ветка у Киева со второй железнодорожной переправой у этого города; был закончен начатый при царизме мост у Золотоноши; был построен второй мост у Днепропетровска. Аналогичные меры были приняты местами и севернее по рекам Днепру и Сожи.

***

Рассказывая о перипетиях постройки известного БАМ'а, С. Васильев начинает со следующего заявления: «Другой пример плановой неразберихи виден из истории Байкало-Амурской Магистрали (БАМ)» (стр. 248). В данном случае трудно говорить, однако, о «плановой неразберихе», поскольку постройка БАМ'а была начата совершенно без всякого плана, экспромтом, и не во время второй пятилетки, как думает автор, а раньше, в первой половине 1932 года. Вызвана она была паникой в Кремле, в свою очередь вызванной захватом Манчжурии японцами. В результате всё Приморье с Владивостоком повисло на волоске, готовом каждую минуту оборваться. Ведь чуть не вся Амурская дорога, идущая по берегу сперва Амура, а потом Уссури, могла обстреливаться, где тяжелой, а где и легкой артиллерией с манчжурского берега. У войск же, линию р. Амура обороняющих, не оказывалось никакого тыла; везде к северу

простирались необжитые горные пустыни. Пока в Манчжурии были только китайцы, это особенно не беспокоило; с появлением японцев — стало катастрофой. Теперь и Кругобайкальская ж. д. не казалась достаточно обеспеченной.

Поэтому постройку начали в пожарном порядке на основе имевшихся, частично старых, изысканий, чтобы в дальнейшем уточнить трассу и составить полный проект; построить же дорогу намеревались не за третью пятилетку, как пишет С. Васильев, а как можно скорее. Намечали окончание в 1938 году, но по мере уточнения проекта, срок этот отдалялся. Сейчас 1952 год, а дорога еще не закончена и неизвестно будет ли закончена вообще. С. Васильев об указанных причинах постройки БАМ'а нигде не упоминает и думает, что она была вызвана желанием освоить золотоносные районы.

Спрашивается, раз постройке придавали такое значение, то почему ее не закончили? Очень просто: советская техника и экономика не доросли до таких построек. Кроме трудно проходимых горных хребтов и мертвой пустыни сибирской тайги, надо было преодолеть три с половиной тысячи километров вечной мерзлоты. Она и явилась почти непреодолимым препятствием.

**
*

На стр. 248-250 своей статьи С. Васильев дает итоговое описание недочетов и затруднений, вызванных во время войны отсталостью железнодорожного транспорта. Не всё тут правильно. В пункте 4 этого раздела (стр. 249) С. Васильев перечисляет те «рокадные и укорачивающие поперечные соединительные участки железных дорог», которые советской власти волей-неволей пришлось спешно построить во время войны. Однако, не все перечисленные автором дороги подходят под его определение — как по их значению так и по времени постройки. Какой же, например, рокадной или поперечно-соединительной линией может считаться дорога Карталы-Акмолинск? Во-первых, нужно отметить, что эта дорога как раз и является первой, западной третью той Южно-Сибирской магистрали, о которой С. Васильев так часто упоминает и про которую он, полагаясь на авторитет проф. Хачатурова, говорит, что ее начали строить в первую послевоенную пятилетку. Можем уточнить, что, продолженная от Акмолинска через Экибастус, Барнаул, Сталинск и Абакан, она должна выйти на Тайшет и вместе с БАМ'ом составить вторую Транс-Сибирскую магистраль. Строи-

лась же дорога Карталы-Акмолинск не во время войны, а была сдана в рабочую эксплоатацию уже во второй половине 1940 года, явившись в 1939 году поприщем для первых опытов применения знаменитого советского путеукладочного комбайна. Названная в перечне дорога Гурьев-Кандагач тоже была построена еще до войны, как и восточная часть Московской Большой Окружной дороги.

Зато автор не упоминает наиболее типичной для его перечня и интересной постройки чисто военного значения, — линии Беломорск-Обозерская, соединившей по берегу Белого моря Мурманскую дорогу с Архангельской, когда Мурманская потеряла вообще выход куда-либо, будучи перерезана у Ленинграда. Во время войны была, наконец, после 25-летней консервации, закончена вчерне дорога Туапсе-Поти, давшая второй короткий выход из Закавказья.

***

Свою статью С. Васильев заканчивает выводом, что во время войны транспорт в СССР не развалился, вопреки своей отсталости, лишь благодаря помощи союзников, геройству населения и бойцов Красной армии. С таким выводом можно согласиться, можно и не согласиться. Нет достаточных данных, трудно отсюда судить, насколько транспорт там не развалился. Но во всяком случае можно уверенно сказать, что если он не развалился, то в первую очередь потому, что советская власть использовала его только для войны, беспощадно отметая и игнорируя все без исключения, даже самые насущные нужды населения, обрекая на умирание женщин, детей, стариков — всех, кто не был непосредственно ей нужен для войны. И власть эта всегда, и до войны, знала, что так именно будет поступать, и это существенно определяло ее легкий подход к разрешению железнодорожной проблемы.

Ю. Марков.

Примечание редакции: Ответ С. А. Васильева будет помещен в следующей книге «Нового Журнала».

БИБЛИОГРАФИЯ

ТРИ КНИГИ О РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

ПРОТ. В. В ЗЕНЬКОВСКИЙ. История русской философии. Том II. Париж. 1950. (478 стр.).

Труд проф. В. В. Зеньковского, который покойный С. Л. Франк, давший прекрасную характеристику 1-го тома, справедливо назвал «*первой* историей русской философии», был закончен уже через 2 года после выхода первого тома. Второй том вполне оправдывает ожидания, которые сложились у читателей при чтении первого тома. Более того — второй том удался автору еще лучше первого. Он посвящен весьма увлекательному периоду истории русской мысли: концу 19-го и началу 20-го века. Здесь автор избежал таких досадных пробелов, как в первом томе, при работе над которым он не мог достать, например, ни всех сочинений такого крупного мыслителя, как П. Юркевич, учитель Вл. Соловьева, ни всей литературы о нем, или не мог посвятить достаточно места философии древней Руси.

Русская философская мысль конца 19-го века стоит с одной стороны под знаком влияния идей Владимира Соловьева, первого крупного русского систематика, с другой открывает начало действительно серьезного и плодотворного усвоения западно-европейских философских течений. Начало 20-го века приносит дальнейший расцвет философского творчества. Разделение книги на две части несколько условно: в первую часть, посвященную 19-му веку, попали авторы, вся деятельность которых протекала в 20-м: Лосский, Гессен, Гурвич, Яковенко и др. Правда, всякие чисто хронологические разделения почти всегда вынуждены или разрушать хронологические рамки или разрывать смысловую связь явлений. Автор пошел здесь по пути несколько искажающему перспективу исторического развития.

Если оставить в стороне эту частность построения книги, то надо признать книгу в целом выдающимся явлением. Иногда читатель-специалист хотел бы в частностях несколько изменить освещение, но ведь трудно найти книгу, при оценке которой не играла бы роль «точка зрения» читателя-критика.

Как и в первой части, автор вынужден за недостатком места из-

лагать только *основные* проблемы каждой философской системы. Но зато его критика оставляет более сильное впечатление, так как и в ней он останавливается только на основных идеях, не затрагивая деталей. В первом томе были подчеркнуты некоторые основные идеи русской философии (мне эти страницы первого тома не представляются особо убедительными). Во втором, в критических замечаниях, автору хочется отметить также общие черты в недостатках новейших русских философских построений, — это ему удается сделать весьма убедительно. Основной недостаток именно тех систем, которые во многом особенно близки Зеньковскому — увлечение идеей «всеединства», которую Зеньковский возводит к Соловьеву. Мне представляется, что корни этого увлечения часто лежат непосредственно гораздо глубже в прошлом, — в увлечении мистикой и «немецким идеализмом» (особенно философией Шеллинга и Гегеля), а иногда восходят прямо к одному из общих источников и мистики и немецкого идеализма — Плотину. Зеньковский совершенно справедливо указывает на то, что в последовательном развитии идея всеединства приводит к пантеизму. Отвержение пантеизма. однако, не покажется обязательным каждому читателю книги. Сам автор примыкает к учению о «Софии», не очень удачно называемому «софиологией», но в особом видоизменении, основы которого намечены в книге в критике других «софиологических» построений. Пока трудно высказать об этом видоизменении определенное суждение, так как отсутствие детального обоснования не позволяет судить, насколько у автора есть, кроме чисто богословских, философские аргументы в пользу его взглядов.

Очень удачна характеристика позитивистов и критика советского истолкователя идей тех русских ученых (Сеченова, Павлова), которые в Советской России безоговорочно признаны материалистами, хотя, как показывает автор, такая интерпретация основана только на натяжках и передержках.

Кроме основных линий развития русской мысли, кратко охарактеризованных выше, автор подробно останавливается на ряде течений и отдельных мыслителях, не укладывающихся в эти рамки. Особенно интересны остававшиеся без внимания широких кругов и теперь почти забытые всеми, кроме специалистов, мыслители арх. Никанор (Бровкович), профессора Несмелов и Тареев. Проф. Зеньковский напрасно не отмечает популярной попытки последнего дать философскую интерпретацию христианства, произведшую в свое время (около 1912 г.) значительное впечатление именно на внецерковные круги читателей. Очень хорошо изложены также те системы русских мыслителей, которых автор объединяет под именем *«системы всеединства»*: это системы о. П. Флоренского, о. С. Булгакова, Л. Карсавина и С. Л. Франка, — последнего автор, по моему мнению, совершенно справед-

ливо считает самым крупным мыслителем за все время развития русской философской мысли.

Очень ярка также характеристика философии Льва Шестова. Пожалуй, слишком сурова, в обоих случаях остроумная, критика интуитивизма Н. О. Лосского и позитивизма В. Лесевича. В общем картина получается очень полная и яркая. Автор не игнорирует и советской философии и философских течений в русской науке. К сожалению, он не останавливается на отражениях философии в изящной литературе. Это, конечно, особая и трудная тема, — но в литературных течениях этой эпохи ведь отражений очень много, сильны они у символистов, но есть они и у «футуристов» (Маяковский находился под несомненным влиянием Федорова). Между тем, во втором томе упоминаний о таких отступлениях меньше, чем в первом.

Некоторых недостатков автору не удалось избежать. Основным является тот же, что и в первом томе: недостаточно прослежены генетические связи между отдельными системами идей. Поэтому книга в некоторых частях дает собрание отдельных, иногда блестящих, очерков, но не «историю». Подчеркну — «в некоторых частях»!

Есть и некоторые пробелы. Единственным существенным является неполнота изложения философских взглядов замечательного минералога, акад. В. И. Вернадского (который, кстати, умер не в 1937 году, а в 1945, после второй мировой войны). Автор посвящает несколько страниц его методологическим взглядам, также весьма интересным, но в последние десятилетия жизни Вернадский дал очерк очень оригинальной философии природы, детально проанализировав роль жизни (живых существ) в экономии неживой природы («биосфера»), а в последних своих работах дал и основы такого же анализа роли (человеческого) сознания, разумного творчества, изменяющего природу («ноосфера» — от греческого слова «нус» — «ум» или «дух»). Забыт автором и московский биолог, проф. В. Карпов, довольно много писавший по вопросам философии биологии и стремившийся к обоснованию особой формы «витализма». Все остальные пробелы мало значительны: несколько «скомкано» изложение взглядов А. А. Спира, писавшего, правда, только на иностранных языках (не упомянута посвященная ему французская брошюра И. И. Лапшина). Так как автор не останавливается на частных философских проблемах, то в книге только упомянуты работы по логике М. И. Каринского, которые автор сам признает «замечательными», и психологические статьи Л. Лопатина, принадлежащие к его наиболее ценным трудам (и здесь в списке литературы отсутствует единственная, посвященная философии Лопатина, книга его ученика, А. Огнева, вышедшая в 1922-3 году). Можно было ожидать изложения общефилософских взглядов философа права Богдана Кистяковского, хотя они и даны им в труде специально методологическом.

Слишком высока, по моему мнению, оценка Н. Федорова, несомненно яркой личности, оказавшей влияние и на Вл. Соловьева, и на Толстого, и на Достоевского, но не столько мыслителя, сколько «провозглашателя» идей оригинальных, но необоснованных и часто сумбурных; (в них, возможно, есть отзвуки «утопического социализма» и идей английского «религиозного анархиста» 18-го века, В. Годвина). И уж вовсе необоснована высокая оценка взглядов петербургского проф. А. И. Введенского, исповедывавшего до-нельзя упрощенную форму кантианства, в своей философской деятельности совершенно отмежевавшегося от всей европейской философии и «плодившего» среди своих слушателей материалистов на основе своего «нового и легкого» не «критицизма» (как ему хотелось), а нигилизма!

Отмечу также некоторые мелкие пробелы и ошибки, касающиеся более крупных мыслителей: не упомянута очень существенная для характеристики этики С. И. Гессена его статья о Толстом (в пражском толстовском сборнике). Гессен, кстати, посвятил себя философии *с самого начала* своих университетских занятий, а не после изучения юридических наук, как пишет автор. Г. Д. Гурвич учился не в Петербурге, а в Юрьеве, где и вышла его первая философская работа (не упомянутая в книге) о философских источниках «Правды воли монаршей» Феофана Прокоповича. Первым печатным трудом Лосева была статья в сборнике в честь Челпанова, последним — комментированный перевод трактата Плотина «О числе» (обе работы не упомянуты в книге). Карсавин издал в Ковно в 1929 году книгу «О личности», также не упомянутую Зеньковским. Среди сторонников Федорова следовало отметить марксиста (!) историка Н. Рожкова (его книга «Основы научной философии», СПб. 1911 или 1912 г.). Затем: отец Андрея Белого, проф. Н. Бугаев не был особенно крупным математиком, его «аритмологию» следовало бы назвать обычным именем — «теория чисел», и уже вовсе не заслуживали упоминания сочинения П. Некрасова, полные невообразимых безвкусиц и математических ошибок (на которые справедливо указывал академик А. А. Марков). Немецкая книга о. Сергея Булгакова называется не «Philosophie der Tragoedie», а «Tragoedie der Philosophie». Все это, конечно, мелочи, но указание на них небесполезно, так как книга несомненно выходит не в последний раз и будет печататься и на иностранных языках.

Особо следует остановиться на мелком замечании (о марксисте-эмпирио-критике и «тектологе» А. А. Богданове, стр. 283), в котором автор неясно упоминает о знаменитом, якобы, гегелевском «переходе количества в качество». Надо подчеркнуть, что это «основное» положение марксистской философии, правда, имеется у Гегеля, но *основной* процесс в его «Науке логики» — *переход каче-*

ства в количество, а упоминаемый далее переход количества в качество *никакой* роли в его системе не играет. Не следует поддерживать недоразумения, вызванного теми авторами, которые знают Гегеля по... Марксу и Энгельсу, а не по его собственным произведениям.

Книга издана прекрасно, опечаток меньше, чем в первом томе и, кажется, меньше, чем в каком-либо парижском русском издании. Отмечу только искажающие смысл: на стр. 179 — «теория локальных знаков» (не «законов»), на стр. 222 — «нормативный» (а не «нормальный», на стр. 395 «богомирность» (а не «богомерность»). Неточно дано заглавие одной статьи А. Введенского (прим. на стр. 225). Памфил Данилович Юркевич несколько раз упомянут, как Д. Юркевич.

Выше я уже высказал не надежду, а уверенность, что первое издание этой «Истории русской философии» не будет последним и что книга выйдет на иностранных языках. Хочется, чтобы новые русские и иностранные издания не заставили себя долго ждать.

N. O. LOSSKY, History of Russian Philosophy. Нью Йорк. 1951. (416 стр.).

Несколько позже 2-го тома книги Зеньковского вышла первая история русской философии на английском языке. Имя автора сейчас несомненно наиболее популярного и признанного из русских философов, ручается за научность и глубину изложения. Книга частью содержит материал уже известный русскому читателю: ряд глав представляют в переработанном виде статьи, которые Н. О. Лосский печатал в различных, преимущественно русских, изданиях за границей. Однако, книга скомпонирована весьма неравномерно: собственно говоря, она охватывает историю русской философии, только начиная от славянофилов. Пять с небольшим страниц, посвященных 18-му и началу 19-го века, конечно, не могут дать никакого представления о подготовке того идейного движения, которое *начато* спорами славянофилов и западников. Главы, более обширные по объему, посвящены только некоторым философам, по большей части симпатичным автору. Изложение здесь в общем не вызывает замечаний: оно всегда дает всё наиболе существенное, иногда критические замечания; многое может быть полезно и для специалиста, так как по большей части дана точная цитация. Но неравномерность изложения заметна уже с первых глав; даже среди славянофилов Юрий Самарин, как философ, в сущности обойден молчанием: реферат его полемики против теории происхождения религии Макса Мюллера касается только одной случайной темы в его мышлении. Глава о западниках весьма коротка и даже Чаадаев и Герцен характеризованы только весьма поверхностно, особенно последний.

Совсем плохо пришлось Мих. Бакунину, который помещен между материалистами, и отведено ему меньше двух страниц: иными словами всё интереснейшее и характерное для истории русской мысли *развитие* Бакунина через фихтеанство и гегельянство, сначала «правое», потом «левое», оставлено без внимания. Я не разделяю мнения того странного американского рецензента, который упрекал Н. О. Лосского в том, что он мало места отвел Чернышевскому, Писареву и Михайловскому. Вряд ли нужно было сказать о них в рамках книги такого размера *многим* больше. Но можно было несколько расширить изложение идей Михайловского, опустив совершенно незначительных представителей позитивизма, вроде Троицкого или вообще не писавшего по русски Вырубова и т. п... Совершенно несправедливо кратки строки (!) посвященные Страхову и Леонтьеву (первому 16, второму 5 строк, отчасти занятых библиографией и биографией). Л. Шестову отведено 11 (!) строк. Зато читатель может отдохнуть от общих мест, которыми только и ограничиваются эти параграфы, на страницах, посвященных Федорову, Вл. Соловьеву (стр. 80-133), Чичерину. Не буду прослеживать содержания книги далее, но замечу только, что снова обидно коротки строки, которые автор отводит Лопатину или, например, характеристике духовного поворота в русской интеллигенции в начале 20-го века и ряду мыслителей, отчасти весьма интересных. Возможно, что эти недостатки искупают обстоятельные характеристики философских взглядов о. П. Флоренского (176-191), о. Сергия Булгакова (192-232), Н. Бердяева (233-250), самого автора (251-266, весьма ценный автореферат, в котором интересны многие частности), С. Франка (266-292); слабее страницы, посвященные Карсавину (299-314). Подробное изложение советского «диамата» (344-380) вряд ли удовлетворит читателя. Даже читая изложение Лосского, я не могу вызвать у себя иного переживания, кроме чувства погружения в какую-то духовную клоаку. Очень кратки замечания о ряде философов современных (замечу про domo mea, что я почему-то соединен в один параграф со мною весьма уважаемым и любимым В. С. Шилкарским, со взглядами которого я, однако, никогда не солидаризовался).

Ряд кратких главок и параграфов вызывают, однако, некоторые сомнения в пригодности книги для иностранных читателей. Хотя в английской обработке книги принимали участие, как видим из предисловия, 6 человек, но, как видно, не только у семи, но и у шести нянек «дитя без глаза»! Книга имеет ряд внешних недостатков, которые, к сожалению, весьма затрудняют ее читаемость иностранцами. Первый из них — чрезвычайно своеобразное правописание («х» передается как латинское «h» и т. п.); затем: все названия не только русских книг (что еще можно оправдать), но даже и журналов переведены на английский язык (не всегда вразумительно —

я затрудняюсь перевести некоторые с английского на русский), так что многое из богатых и интересных библиографических указаний не может быть использовано читателем: соответственных названий и имен (Герцен почему-то пишется «Hertsen», хотя ему отцом дано было немецкое имя «Herzen», которым он всегда и пользовался, Вырубов писал свое имя Wyrouboff и печатался почти исключительно по французски, здесь он именуется Virubov и т. д.) нельзя найти ни в каком библиотечном каталоге. Важнее другое: слишком много незначительных имен и фактов, без знания которых читатель не поймет содержания, но которые не могут быть известны американскому или английскому читателю и ему вовсе не нужны (индекс содержит более 350 имен, из которых не менее 250 русских!). Многие читатели оставят книгу, не дочитав до самых интересных глав, отпугнутые этой embarras de richesse... Не мало опечаток: Г. Вернадский фигурирует как «S. G.», Лапшин, как «Lapskin», Краевский то «Kzaevich», то «Kraevich», Бакунин — «Bakumin» и т. п. Ошибок мало, но напр. Лермонтов никогда не был членом кружка Станкевича, только условно можно назвать таким членом Кольцова. Совершенно непонятно соединение Вячеслава Иванова в одном параграфе с Минским! Впрочем, всё это мелочи.

Существеннее то, что книга вообще не является историей философии, а только рядом почти не связанных между собою очерков о русских философах, как читатель мог видеть из обзора содержания — в первую очередь представителях современной религиозной философии. Под впечатлением чтения книги у меня возникла, м. б. странная, но, кажется, правильная мысль, что для иностранцев историю русской философии следует писать, начиная с конца. Читатель, заинтересованный построениями Бердяева или о. С. Булгакова или даже «диаматом», гораздо легче одолеет после этого главы, посвященные их «предшественникам» в положительном или отрицательном смысле, т. е. тем, от кого новейшие философы исходят или от кого они «отталкиваются». И тогда то обилие имен, которое может отпугнуть иностранного читателя, не представится опасным: читателя-иностранца надо заиинтересовать, а заинтересовать его гораздо легче изложением философских взглядов самого Лосского, Флоренского и даже Михайловского или Лаврова, чем Радищевым, Новиковым и Шварцем, не говоря уже о допетровской философской литературе...

Третья новая книга, посвященная русской философии, это — *Alexandre Koyré*: Etudes sur l'Histoire de la pensée philosophique en Russie (Париж. 1950, стр. 6—224). Она вообще в основе не дает нового материала. Это собрание статей автора появлявшихся в «Le Monde slave» 1928-36 г.г. Статьи эти, правда, существенно переработаны, с привлечением нового материала и новой литературы. Они

говорят — о молодости И. Киреевского (1-18), о Чаадаеве (19-102), о Гегеле в России (103-170) и о Герцене (от стр. 171 до конца). Первая статья, вероятно, попытка продолжить работу над историей раннего славянофильства, которой была посвящена ранняя книга автора «Philosophie et le problème national en Russie au début du XIX siècle» (Париж. 1929). Остальные статьи можно назвать реакциями «идеального читателя», который во многих случаях знает и понимает больше чем авторы прочитанных им книг. Появление их было вызвано — книгой Кене о Чаадаеве, моей работой о Гегеле в России и книгой Лабри о Герцене. Переиздавая их в форме книги, автор принял во внимание позднейшую литературу, особенно книгу Б. Яковенко о русском гегельянстве. Автор сопровождает изложение содержания книг своими критическими и иногда очень существенными дополнениями, не жалея места и для очень длинных цитат из источников неиспользованных авторами рецензируемых книг. Для многих мыслей он находит иное, часто более яркое выражение (по отношению к моим работам этого порой требовал и французский язык). В некоторых случаях дополнения очень существенны, в других — Койре высказывает свою собственную точку зрения на те или иные вопросы, обстоятельно обосновывая свои замечания и возражения. При его прекрасном знании русской и европейской философии его книга оказывается совершенно необходимым дополнением к тем работам, которые вызвали появление его статей. В статье о Чаадаеве представляется несколько странным отсутствие упоминаний о влиянии на Чаадаева французских «традиционалистов», в особенности ранних сочинений Ламменэ (об этом есть замечания в комментариях Д. Шаховского к его изданию «Философских писем» Чаадаева и в моем введении к чешскому переводу «Писем», Прага. 1946 года).

Что касается возражений, которые Койре делает мне, то справедливость некоторых из них я должен признать, иные не представляются мне достаточно убедительными. Так признаю теперь, что влияние Шеллинга на И. Киреевского было значительнее, чем мне то представлялось, когда я писал свою книгу (см. стр. 111); зато я не могу согласиться ни с, правда, только относительным «оправданием» Белинского (стр. 147 слл.), ни с признанием существенного влияния философии Фейербаха на Герцена (стр. 197). В последнем случае мое мнение совпадает с мнением Г. Г. Шпета («Философское мировоззрение Герцена». Петроград, 1921 г.) и Лабри, ему противостоит теперь мнение Б. Яковенко и Койре, — вопрос несомненно заслуживает более детального обсуждения, чем то могло быть сделано в книге Койре, где ему посвящено одно длинное примечание. Надеюсь, что по ряду вопросов мне удастся высказаться в другом месте. Во всяком случае несколько эпизодов истории русской философии полу-

чили в книге Койре прекрасное освещение и я могу только горячо рекомендовать ее читателям и даже читателям-неспециалистам: автор всегда принимает во внимание интересы последних и дает достаточную, хотя и краткую, характеристику исторического и духовного фона, на котором разыгрываются изображаемые им явления истории мысли.

Все три книги являются существенным шагом вперед в разработке вопросов истории русской философии. Остается пожелать, чтобы работа в этом направлении не замерла. Советские публикации последних лет показывают, что только вне границ СССР можно ожидать всестороннего и объективного освещения вопросов истории русской мысли. *Дм. Чижевский.*

И. А. БУНИН. «*Жизнь Арсеньева*». Первое полное издание. Изд-во Имени Чехова. Нью Йорк. 1952 (388 стр.).

«Жизнь Арсеньева» сплетает воедино три основные темы: тему России, тему жизни и смерти, тему любви. Книга напоена любовью к людям, ощущением неповторимости каждого мига, но жизнь потому и ощущается с такой полнотой, что человек и всё его окружающее смертно. Ощущение бренности мира вызывает не отречение от него, а лишь обострение любви к нему. Чувство смерти дано человеку от рождения, и не будь его, «любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил».

В бунинском мире смерть всегда является внезапно, как бы обрывая на полуслове. Являя картину, поражающую своею странностью, она внушает не ужас, а недоумение: как мог человек, который с улыбкой щурился на солнце, внезапно превратиться в «еще почти живое, податливое и бессильно падающее куда угодно тело». Это непонятное превращение человека в неодушевленный предмет составляет тему бунинского «Господина из Сан Франциско». В «Господине из Сан Франциско» смерть поражает человека, исполненного мелочной суетности, и его превращение в неудобную мебель, которую спускают в трюм, как бы довершает его образ, напоминая картины Вальдес Леаля о бренности земного, о «Торжестве смерти» над человеческой суетою.

В «Жизни Арсеньева» явление смерти лишь на мгновение колеблет чувство жизни и вызывает смятение в душе героя. Навстречу ее власти над скорбно-поникшим ликом покойника «в душе моей вдруг зазвучала какая-то несказанно сладкая, радостная, вольная песня каких-то далеких, несказанно счастливых стран». Заупокойное чтение дьячка над мертвым телом сочетается с прелестью ночного сада и первыми слезами «счастья, любви, надежд и какой-то исступленной, ликующей нежностью» к той, чей огонек мерцает в окне заснувшего

дома. Сладостная отрава жизни кажется сильнее яда смерти. Бунин внимательно всматривается в эту спутницу жизни, как бы вторую ее ипостась: «во всем была смерть, смерть, смешанная с вечной, милой и бесцельной жизнью».

Любовь, как высшее проявление жизни, сопряжена смерти и в бунинском мире она почти всегда ей сопутствует. Полнота ощущения жизни у Бунина не допускает смертного тления, как нет его у Пушкина. Смерть является в образе разлуки, которая представляется одною из ее личин. Это ощущается в «Натали», где смерть предваряют несколько разлук, и особенно в «Жизни Арсеньева», когда герой со всею остротой переживает именно разлуку, а весть о смерти приходит лишь как подтверждение уже пережитой горечи утраты. Ослепительный блеск жизни озаряет малейшее явление у Бунина. Это радостное ощущение жизни, при постоянном «чувстве смерти», роднит бунинский мир с Пушкиным. Сознавая, что «чей-нибудь уж близок час», Бунин сохраняет в своем творчестве пушкинскую ясность и веру в то, чего не может коснуться смерть. В самом языке Бунина сохранился пушкинский металл.

Поэт один в своем творческом мире идет свободною дорогой, и это составляет драматическую основу «Жизни Арсеньева». Сближаясь с общественными группами, он отвергает участие в их деятельности. Даже любви он не может отдать хотя бы частицы своего призвания, своей творческой свободы. И при всей разнице между ними, не странно ли, что именно к Бунину бывают обращены упреки в нескромности при выборе тем, какими осыпали некогда Пушкина. Литература, приняв тяжелый груз общественных забот, уходила от пушкинского пути. Бунин нашел свою тропу, которая вела его к пушкинской свободе.

Быть может не случайно и то, что подобно пушкинской близости к народу, вне теории народности, у Бунина являются Климы живые, а не созданные отвлеченной идеей автора. В мещанине Ростовцеве Бунин видит не какие-то особые бытовые черты, а свойственную многим русским гордость, гордость той, с виду простой жизнью, которая богаче и краше всякой иной. Крестьяне у Бунина не являются выразителями жертвенности «живых мощей» или запуганной смиренности Татьяны в «Муму», где сочувствие к обездоленным сочетается с тайным ощущением их особой природы, ограниченной в мыслях и чувствах: потеря любимой девушки и потеря собаки почти одинаково воспринимаются глухонемым Герасимом, так как собака становится последним его прибежищем. У Бунина крестьяне не какие-то особые существа, отграниченные им одним присущими свойствами, а такие же разнообразные, общительные и по-своему тоже гордые люди, которые хоть и зовут молодого помещика «барчуком», но на самом деле вполне равнодушны к условной разнице их положений.

Встреча с ними на ярмарке, картина полевых работ, в которых он принимает участие не по принципу, а из простого желания помочь, короткий эпизод любви крестьянской девушки, показанный в двух коротких, изумительных по лирической прелести картинах, обличают именно это свободное от всякой преднамеренности чувство автора к крестьянству.

Ведя повествование, охватывающее несметное богатство людей и явлений, Бунин не подталкивает читателя, не навязывает ему своего готового объяснения происходящему и не подводит нравоучительных итогов. В этой нелюбви к подчеркиванию, к разъяснениям, к подсказыванию Бунин тоже продолжает пушкинскую линию. Так показана вся история любви героя, столь отличная от спокойного течения любви у его двух братьев.

Как в древних поэтических творениях, природа у Бунина не является красивым фоном или художественным пейзажем, украшающим развитие действия, но как бы участницей самого действия, активным лицом драмы. Жизнь слита с окружающей природой, которая передана Буниным с поистине неотразимою силой. Россия показана не в отдельном уголке и не в устойчивом быте особой группы. Она открывается в скитаниях героя, в сменяющихся колебаниях его собственной жизни, в его встречах с различными людьми и разными формами жизни, в которую он входит не чуждым наблюдателем, а участником и другом. Она рисуется даже не в ограниченном отрезке времени, не в незыблемом ее облике, а как бы в ее становлении, нить которого через тесную цепь предков восходит к началу ее, «теряется во мраке времен».

Рождение героя относится к годам глубоких перемен, близко следующих за освобождением крестьян, и хотя ни словом, ни намеком о том не говорится, всё же ощущается еще неостывшая сила воспоминаний о «большом барстве» и о неограниченных возможностях беззаботной жизни. Близость былого замечается и в уменьшительных именах, которыми, в отличие от барышень, называли крестьянских девушек. Но между ними не видно грани, а напротив, дано как бы полное их равенство в той жизни природы и России, которая и составляет основу книги. В любви брата и крестьянской девушки герой не разделяет их, чувствуя общую «их красоту, юность, счастье», и написанный в нескольких строках образ Сашки один из самых прекрасных у Бунина.

В изображении родителей героя даны как бы два лика России. Полумонашеский облик матери, безмолвной на протяжении всей книги, написан в нежно-вечерних, скрывающих очертания, красках. Прямою радостью жизни сверкает отец, один из самых замечательных образов бунинского творчества. Отец как бы раскрывает истоки поэтического ощущения мира у героя, истоки его любви и чувства

России, таким необычайным очарованием наделяет его автор. Усадьба, дряхлеющая и беднеющая вместе с людьми, сияет почти человеческой, одушевленной красотою. Бедность «оскудения» приходит не от общественных реформ, а от личных свойств отца, и есть в облике ветшающего дома что-то бесконечно трогательное, как морщины на любимом лице.

В этой книге жизни, с ее бесконечным поэтическим богатством мыслей и образов, быть может, главное неотразимое очарование в том, что она вся пронизана светом и как будто написана в пламенном подъеме любви. *Ю. Сазонова*

В. ВЕЙДЛЕ. «Вечерний день». Нью-Йорк. Изд-во имени Чехова. 1952. (219 стр.). Printed by Rausen Bros.

Имя профессора Богословского Института в Париже, В. В. Вейдле известно достаточно хорошо. Труды его по истории искусства завоевали ему прочное место в зарубежной печати. Его «Умирание искусства» (во французском издании «Les abeilles d'Aristée», переработанное им теперь вновь) равно как и статьи в «Православной Мысли» («Знак и символ. Наброски вступления к общей теории знака», в № 4 и «Перерождение античного искусства» в № 5) свидетельствуют о нем, как о значительном философе искусства. Он едва ли не единственный из русских писателей, кто полноправно вошел во французскую среду. Порученное ему, русскому, составление и редактирование большой всеобщей истории искусства в издательстве "Nouvelle Revue Française" говорит само за себя. Его последняя французская книга «La Russie absente et présente» заслужила ему Риварольевскую премию за лучшую французскую книгу, написанную иностранцем. Проф. Вейдле не только ученый, но и выдающийся писатель, что надо прежде всего отметить, говоря о его, недавно вышедшей книге «Вечерний день». Эти «Отклики и очерки на западные темы» должны быть признаны прекрасным литературным произведением.

В книге собраны 26 очерков из разбросанных когда-то в периодических изданиях (преимущественно в «Последних Новостях») статей. В них сочетается тонкий анализ литературного и художественного критика с глубоким пониманием истории и с искренним чувством, точнее *ощущением* Европы. Автор неоднократно уже исповедывал свое понимание русской культуры, как неотъемлемого звена всей европейской культуры.

Наброски В. В. Вейдле распределяются, так сказать, географически в трех планах: Англия, Франция, Италия. Об Италии сказано в русской литературе немало. Гоголь и Блок, Муратов и Зайцев запечатлели в незабываемых словах свое «чувство Италии». Она

всегда будет какой-то второй духовной отчизной для тех, кто живет красотой и кто без нее перестал бы быть христианином и человеком. Проф. Вейдле нашел свои особые слова об Италии и воплотил в них непреходящие образы этого мира Вергилия, Данте, Равенны и Рима. У него это «притяжение Италии» (заглавие одной из статей) выражено в пяти прелестных очерках, созданных не скучающим туристом, а верным вечной Италии пилигриммом. Его паломничества по святыням религиозным и по святилищам художественным пронизаны, как и всё у него, тонким восприятием знатока и мыслителя, историка и поклонника. Страницы эти полны ощущением чего-то умирающего, но не гибнущего, обреченного и потому особливо дорогого сердцу.

Другим пяти очеркам, об Англии, автор предпослал слова Печорина: «я благословляю тот день, когда я в первый раз вышел на английский берег». Кажется, сам автор мог бы сказать тоже и про себя. Англию он знает и любит не меньше, чем Италию. Не знаю, может ли путешествие в страну Альбиона стать паломничеством, и влечение к ней может ли вырости в такое же сильное, почти религиозное переживание, каким навсегда наполняется сердце того, кто хоть раз посетил Италию, но «чувство Англии» у автора очень сильно и о нем он говорит убежденно и убедительно. Пишет-ли он об английском благочестии, повествует ли о старости Шекспира или просто вспоминает Китса и Шелли, автор находит всегда слова высокие и искренние, какую-то верность тому, что дала ему Англия за долгие годы жизни в ней.

Едва ли не самым замечательным из всех его очерков должен быть признан «Древний Запад». Это описание глухого угла Уэльса, приморского пейзажа, скалистых берегов, приземистых древних часовень, алтаря св. Давида. Это самый крайний мыс, выдающийся в океан, покрытый вереском и какими-то одинокими менгирами, где горестное ощущение «всемирного сиротства» особливо остро переживаемого нами, вдохновило автора написать поистине прекрасные страницы. Пронзают сердце и заключительные строки этого наброска: «на этом кладбище забытого былого, где не осталось и надгробных плит, всё-таки что-то нашептывает тебе о дальних судьбах западного мира, еле внятным лепетом твердит о жизни, которой еще и ты живешь. И когда, наконец, отвернешься от этих образов, уносящихся в туман, встань, повернись назад: ты увидишь прямо перед собой грустное, и такое прекрасное еще, постаревшее лицо Европы».

Только три первых очерка автор посвятил Франции, которую он так знает и так умеет любить. В такой скупости хочется упрекнуть его. Почему бы не сказать о ней больше? Нельзя, однако, не благодарить за то, что дано. Бургундия, которую он исходил пешком вдоль и поперек, внушила ему страницы, которые нельзя без сердечного волнения читать. Те, кто во Франции знают нечто большее, чем

Лазурный берег, Версаль и Монт Ст.-Мишель, кто хоть раз свернул с проторенных туристами дорог, каждый раз находил всё новые и новые неведомые сокровища в развалинах древних аббатств, в сельских церквах, да и просто в волнистой и столь волнующей поверхности Бургундии или Иль-де-Франс. В мирных, незатейливых пейзажах, в серых замшелых камнях, в плодородии садов и виноградников автор чувствует то почвенное французское, то материнское лоно, которое дало жизнь святым, крестоносцам, писателям, художникам, на котором вознеслись соборы с их цветными стеклами и выросла вообще вся французская цивилизация. Это то, что выработало столь свойственное французам чувство меры, что создало ритмическую безупречность Расина, гений французского языка и тонкость их мысли, «демон совершенства» Флобера, которому автор посвятил особую статью. Это то, что дало «мудрую разреженность холстов» и «самую высокую прохладу» картин Пуссена, в связи с чем проф. Вейдле в «Воспоминаниях» об этом художнике дал тонкую характеристику французского классицизма вообще, по сравнению его с греческой классикой и классицизмом Рафаэля и Браманте. «Воспоминания о стольких торжественных минутах, полных меры, пространства и числа, подчиненных едва ощутимой власти превратившегося в искусство разума».

Во всех книгах проф. Вейдле особенно заметна способность обобщения. Его синтезы продуманы, убедительны, анализ его доброкачествен и глубок. Такой синтезирующей статьей сборника является «Девятнадцатый век». Вся насыщенность этого столетия, всё нарастание угрожающих и близких уже кризисов, — ума, искусства, политики, жизни, — показаны в этом очерке в немногих, но сильных словах. Замечательно и то, что всё это симптоматическое и неизбежное выражено от имени одного из наблюдательнейших французских умов XIX века, — Сент-Бева. При этом автор обращается не к прославленным и всем известным его «Понедельникам», а к почти неведомой, испепеленной и самой личной его книге «Мои отравы». Лишний раз, — и пусть это и не сказано, — дано ощутить (или м. б. только предощутить), что, по слову одного большого французского мастера слова, «история этого мира, есть история *конченного* мира». Хотелось бы особо поблагодарить автора именно за то, что он вспомнил Сент-Бева.

Проф. Вейдле не только историк искусства, но и мыслитель об искусстве. Вопрос кризисов или кризиса, — скажу его же словами, — «умирания» искусства особенно привлекает его внимание. Не одна только смена школ и стилей, не одни биографии художников, но главным образом их судьбы занимают его мысль. Думать о последней судьбе, не бежать от мысли об умирании и смерти есть признак не только мужества, но и зрелости духа. Он пишет не только

о факте смерти, но и о *даре* смерти, т. к. «только смерть завершает личность» («Памяти о. Сергия» в «Православной Мысли», № 8). Поэтому не удивительно, что в настоящих очерках автор так много говорит о смертях, — Клейста, Шелли, Байрона, Занда (убийцы Коцебу), Стендаля, Гейне, Бодлера, Аретино, Шекспира, — и говорит не так, как обычно пишет в некрологах репортер, а именно так, как об умирании может и должен думать мыслитель.

Из газетных статей, которые наверное были бы безнадежно потеряны и забыты, Чеховское издательство создало прекрасную книгу «откликов на западные темы». Пусть в ней нет одной объединяющей темы и каждый очерк есть нечто самостоятельное и законченное, но вся она проникнута одним общим настроением любви, почитания и верности европейскому прошлому, частицею которого когда-то полноправно были и мы, русские. *Архимандрит Киприан*

Ю. ЕЛАГИН. Укрощение искусств. Изд-во имени Чехова. Нью Иорк. 1952. (434 стр.).

Эта интересная книга, уже больше года назад вышедшая на английском языке, а теперь изданная по-русски чеховским издательством, читается с неослабевающим интересом от первой до последней страницы. Первая часть книги — воспоминания автора о работе в театре Вахтангова и о судьбах этого театра, вторая, главным образом, о джазоркестрах России, о «Государственном Джазе Союза ССР» и, отчасти, о московской консерватории.

Из особенно ярких эпизодов книги хочется отметить, прежде всего, прекрасно написанное повествование об Алексее Толстом и его посещении вахтанговского дома отдыха. Этот рассказ — законченная новелла. Такой же законченностью и яркостью отличается рассказ о конкурсе на лучший военный марш и об инспекторе всех оркестров Красной Армии — комбриге Чернецком. Превосходно в этом рассказе описание первомайского парада на Красной площади. Вообще, у Юрия Елагина незаурядное юмористическое дарование. Фигуры «рабоче-крестьянского графа» Алексея Толстого, актера Кузы, Чернецкого написаны легко, уверенно, без малейшего нажима. Немногие из профессиональных писателей русского зарубежья могли бы так непринужденно и интересно нарисовать характеры и ситуации, как это сделал скрипач-концертмейстер Елагин.

Превосходно написан концерт в Кремле, хорошо передано и непосредственное впечатление от некоторых постановок, в особенности, от «Коварства и Любви» вахтанговцев. Видевшие эту постановку вспоминают ее всегда, примерно, с той же эмоциональной окраской, как и автор «Укрощения искусств». Слабее — эпизод с красавцем и любимцем московских дам и цыганок «Праги» — Димой Дорлиаком.

Налет некоторой сентиментальности портит эту недурную по замыслу зарисовку.

Есть в книге и некоторые неточности. «Страсти» и «Высокая» месса Баха, моцартовский Реквием, «Месса Солемнис» Бетховена достаточно часто исполнялись в симфонических концертах, по крайней мере, в Ленинграде. Они исполнялись по нескольку раз в сезон — в 1924, 1925-30, 1933 и 1936-1941 гг. Исполнялись также оратории Генделя, обе кантаты Танеева, оратории Гайдна, а до 1926 года — в Ленинградской Академической Капелле исполнялась и Литургия Чайковского. Но это, конечно, мелочь.

В целом книга Ю. Елагина талантливая и интересная.

Борис Филиппов.

МИХАИЛ КОРЯКОВ. «Освобождение души». Предисловие Бор. Зайцева. Изд-во имени Чехова. Нью Йорк. 1952 (364 стр.).

Прежде всего нужно отметить прекрасный русский язык книги. Язык свой, ядрёный и хваткий. Изобразительная сила автора часто, однако, ослабляется страницами рассуждений, представляющих интерес лишь в качестве «человеческого документа»: они показывают как автор, вчерашний выученик диаматских кафедр и кружков по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)» тянется к культуре свободной мысли, как вростает в нее.

Зато превосходны все зарисовки событий, характеров и, особенно, настроений народных толщ. Хороши пейзажи, внешний рисунок церквей, деревень, улиц, советских учреждений, подмосковных дач.

Особенно удачна первая половина книги. Курсант — художник Юхнов, огромный суровый олончанин, озорной и буйный при случае, крепко запоминается. Такой же уверенной походкой вступают в наш внутренний мир лейтенант Заворуев, директор яснополянского музея Корзников, усталый военпред на фабричке взрывматериалов и мин, бойцы-бегунцы и «нырики» первого года войны, хищники-хозяйственники, захватывающие трестовские и заводские кассы и целые автомобили продовольствия и всяческого добра... Все они — живые, высмотренные зорко и любовно выписанные, все они облечены в добротную, соответствующую каждому персонажу словесную ткань.

Во второй половине книги превосходная лепка персонажей советского полпредства в Париже, на наш взгляд, тоже ослабляется страницами рассуждений. Но чекист-дипломат Панченко, шифровальщик Коля, девушки полпредства, все эти персонажи — полнокровны, живут своей собственной жизнью, автор ничего им не на-

вязывает. Верное чутье художника подсказывает Корякову нужные краски.

Есть в книге некоторые ошибки. Так, например, на стр. 159: в СССР «по кино-экранам проносится на боевом коне князь Александр Невский, по страницам романов проходят Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, все трое — первосвятители Русского Православия». Даже преп. Сергий Радонежский не был ПЕРВОсвятителем, ибо не был даже епископом, а уж св. благоверного князя Александра Невского и вовсе не причисленного к лику святых Дмитрия Донского назвать первосвятителями никак нельзя.

Менее интересны в книге — ее лирические герои — Даша, «Воротничок», Тоня, Ленхен — они, как говорят актеры, «голубые роли»: схематичны и мало убедительны. Даже удивляешься, та ли это рука, которая, с беззастенчивостью подлинного художника, не спрашивая нашего на то согласия, ввела в наше сознание не только отдельных командиров и бойцов, киршонов и заворуевых всех оттенков и рангов, но и целые народные массы — армии и толпы, отряды и сброд (вернее, разброд) дезертиров...

«Освобождение души» — талантливая, интересная и нужная книга. И многим писателям стоит внимательно вчитаться в нее — и поучиться хорошему русскому языку, зоркости глаза и лепке образов.

Борис Филиппов.

Н. А. ТЭФФИ. ***«Земная радуга».*** Из-во имени Чехова. Н. И. 1952.

Это, если не ошибаюсь, 32-ая по счету книга Н. А. Тэффи. Она имеет очень большой успех у критиков и у читателей. Так было всегда и везде. Тэффи общая неизменная любимица. Когда-то вся читающая Россия восхищалась ее фельетонами, составлявшими гордость и украшение «Русского Слова». В Париже первый же ее фельетон в «Последних Новостях» («Фер-то ке?») вызвал сенсацию в эмиграции.

Тэффи постоянно называют «юмористкой», и, кажется, это порою вызывает у нее досаду. Почему же? Странная судьба слова «юмор», перешедшего в литературу из химии, а в химию из древней медицины. Однако, в науке от этого слова не осталось ровно ничего, а в литературе оно, повидимому, вечно. Теккерей в своей известной книге причислял к юмористам самых выдающихся писателей Англии. И действительно почти нет больших писателей, совершенно лишенных юмора. Его задача, по Теккерею, двоякая: 1) обнаруживать в людях и в их делах смешное, 2) вызывать к людям сочувствие, жалость и нежность. Почти то же говорят общие места в словарях. У меня под рукой один старый русский словарь: «Сущ-

ность Ю. характеризуется вкратце следующими названиями: серьезность в комизме, победа великого, доброго, естественного, разумного над ничтожным, слабым, бессмысленным, неестественным... Высокая задача Ю. состоит в том, чтобы выделять и освещать в человеческой душе то прекрасное, высокое и человеческое, что остается в большинстве случаев невидимым и скрытым»... Читаю с невольной улыбкой: очень удобное определение для юмористов (и сатириков). Незачем тут вспоминать знаменитое, жестокое и, по моему, справедливое слово с оценкой «смеха сквозь невидимые миру слезы». Но, быть может, и люди, этого слова не приемлющие, согласятся с тем, что не всегда юмористы и сатирики (Свифт, например, или Салтыков) так уж старались «выделять прекрасное, высокое и человеческое». Об их *методах* же, о методах Гоголя, очень много верного и ценного можно прочесть в превосходной (по силе анализа, по учености и — почти везде — по объективности) статье Д. Чижевского в 27-ой книге «Нового Журнала».

Автор краткой поневоле рецензии не может, конечно, ставить себе задачей определение особенностей творчества Тэффи, ее большого таланта, ее редкого ума и очарования. Да об этом всё давно сказано. К ней приведенные выше строчки из словаря почти подходят. Теперь особенно подчеркивается в применении к ней положение, высказанное в *последних* из этих строк. Тем лучше, если это верно. Сомерсет Мохэм признает, что только *добрые* книги имеют шансы на настоящую любовь читателей и на долгую жизнь. Это делает ему честь. Его необыкновенная талантливость бесспорна; искусство рассказа доведено, например, в «Лысом Мексиканце» до огромной высоты. Но это не мешает ему быть одним из самых *злых* писателей нашего времени.

Теперь Н. А. Тэффи выпустила очень *добрую* книгу. Правила рецензии требовали бы, чтобы я выделил лучшие из ее рассказов и кратко изложил их содержание. Это невозможно хотя бы потому, что их в книге больше тридцати и они совершенно различны по роду. Могу только рекомендовать всем читателям приобрести книгу; она доставит им наслаждение, кто бы они ни были.

Могу — и обязан — высказать еще и сожаление, которое, впрочем, я уже высказывал и в печати, и не раз в разговорах с Надеждой Александровной: отчего она до сих пор написала так мало больших произведений? (слово «большой» я тут употребляю в смысле «длинный»). Какая романистка пропадает в Тэффи! Мне приходилось слышать, что другие две писательницы, Колетт и Викки Баум, долго не решались писать романы. Всё же они решились. Каков был результат у Колетт, достаточно известно: теперь почти всеми признается, что она «лучший романист современной Франции». Никто, конечно, не

скажет и не может сказать сходного о Викки Баум, одной из самых неровных писательниц наших дней (она в некоторых главах «Марион» или «Гранд Отель» поднимается *почти* до уровня Колетт, но, к сожалению, очень часто опускается до самого посредственного в Холливуде). Напоминаю об этих двух писательницах лишь в связи с мыслью, что *надо* «решиться». Никогда не поздно.

Книга издана хорошо и стоит недорого. Было бы прекрасно, еслиб издательство имени Чехова выпустило и интереснейшие «Воспоминания» Н. А. Тэффи. *М. Алданов.*

Примечание редакции: Рецензия М. А. Алданова написана до кончины Н. А. Тэффи.

С. МАКСИМОВ. «*Тайга*». Из-во имени Чехова. 1952. (208 стр.). Printed by Rausen Bros.

«Настоящий художник и в тюрьме напишет картину», говаривал пейзажист А. И. Куинджи. Когда я читал «Тайгу», я невольно припомнил эти слова. «Тайга», впрочем, не картина: перед нами ряд зарисовок, эскизов, сделанных с натуры и занесенных в путевой альбом. Написанное в этом сборнике — пережитое автором в концентрационном лагере.

Небольшой сборник рассказов Сергея Максимова позволяет нам — по настроениям и переживаниям отдельного человека — составить себе представление о системе. И это делает «Тайгу» страстным, непосредственным протестом против порабощения свободы личности.

Сергей Максимов — романтик, отсюда стремление соединиться с природой, приобщиться к ее силе и независимости: «На выжженном бледновато-сером небе плавится солнце. Ни облачка. По тайге густо плывет лесной перегар — пьянящая голову смесь запахов трав, цветов, смолы. Уныло пересвистываются в кустах разомлевшие от жары синицы». Описания природы в очерках и рассказах Максимова выпиваешь залпом: северная природа, сосновая тишина и пихтовый шум, выпрямляют душу человека, согбенного непосильным трудом.

Максимов дает безукоризненно правдивые зарисовки принудительного труда в советских концентрационных лагерях. Сборник его рассказов согрет состраданием к человеку. Но это сострадание не жалостное, а мужественное, и возникает оно из кровного родства с народной силой, которая покоится на твердой уверенности в том, что большевизм и принудительный труд, предстающий его неотъемлемой функцией, явления всё-таки преходящие.

В этом смысле «Тайга» перекликается с рассказом Ивана Макарова «Преступление Василия Королева» (автор объявлен «злостным врагом народа» и осужден на десять лет без права переписки) и с маленькой поэмой Павла Васильева «Клятва на чаше»:

«Позади, с отставшим не считаясь,
Часовые заняли места,
Солнце косо вылетит, качаясь,
Гибельная рухнет чернота».

«Я лениво нагружаю тачку песком и искоса поглядываю на товарищей, ожидая условленного сигнала. Лопата валится из рук. «Убьют... не надо... не стоит», — мелькает мысль. Но сильнее и властнее этой мысли звучит другая — это даже не мысль, а лишь одно слово, огненное, пламенное слово: «свобода».

В этом пламени, на котором сгорают и горечь и грязь жизни, — сила свежо и увлекательно написанных рассказов и очерков Максимова. *Вяч. Завалишин.*

С. ЮРАСОВ. «Враг народа». Роман. Изд-во имени Чехова. Нью Йорк. 1952. (197 стр.).

Вольтер говорил, что все книги хороши, кроме скучных. В этом смысле «Враг народа», книга несомненно хорошая. Начав читать, читатель дочитает ее до конца. Некоторая приятная неожиданность общего построения книги в том, что новейший советский перебежчик Юрасов написал ее не в обычной (с некоторых пор) для советской литературы манере уездного тягучего романа. «Враг народа» написан скорее в форме западного авантюрного романа.

К внутренним достоинствам книги хочется прежде всего отнести, что сквозь нее чувствуешь некую вечную Россию. Метко схваченные типы военных, обывателей, энкаведистов, дикость таможенных чиновников, непропускающих репродукции «буржуазного» Рубенса, нищета, голь, безногие и безрукие инвалиды, бесправие, полуголод. «Россия, нищая Россия...» (Блок), «Край родной долготерпенья...» (Тютчев). Но эта, заарканенная Сталиным, Россия не главная тема Юрасова. Она только далекий фон. Действие же романа происходит среди советских людей, выброшенных военной судьбой на Запад, в Восточную Германию, при чем эти оккупанты — всё из «ведущего слоя».

Если в художественном произведении нет искренности, оно всегда мертво. В подаче своих персонажей, в обрисовке их психологии у Юрасова есть явная художественная честность, потому и книга его живая. Верно и жестоко (хоть м. б. и обидно для нашего «национального самолюбия») Юрасов показывает до чего вся эта «сталинская элита» духовно убога и как беспомощно она чувствует себя на Западе. Свободное время этих «высоких демонтажников» только и занято что непомерным чревоугодием, пьянством, да еще жаждой «каракулевых шуб» и автомобилей «самых лучших» марок. Этот

фон быта и нравов сталинских оккупантов художественно правилен для героя книги, Федора Панина. Панин — человек с сердцем, с широким пониманием людей, любящий искусство, литературу, на Западе он ищет каких-то новых человеческих отношений со всеми людьми и, в частности, и с побежденными немцами. Образ этого молодого русского человека, задыхающегося в «сталинской счастливой жизни», автору удался. Читатель верит Панину, когда тот говорит своему закадычному другу Василию о причинах, заставляющих его бежать на Запад: «...теперь же я совершенно уверен: победи коммунизм, человечество кончит всеобщим рабством — мы ведь уже рабы! Все рабы!.. Если мне удастся бежать, я не знаю, что я буду там делать — не вижу еще. Знаю одно, жить здесь не могу, задыхаюсь...».

Но самый удавшийся Юрасову образ, это, конечно, — Екатерина Павловна. Этот женский портрет — лучший в книге. Он весь в контрастах, и поэтому до конца книги читатель никак не может увидеть полный образ этой очень русской женщины (и безудержной, и мягкой, и жертвенной, и отчаивающейся). Немка Инга (второй женский образ романа) не столь убедителен, хотя и здесь есть очень верные психологические черты «немецкой Душеньки».

К недостаткам книги я бы отнес в ее начале некий сентиментализм (о матери, о елке, о старом немце и пр.). Такого фальшивого сентиментализма очень много в советской литературе. У Юрасова его, слава Богу, немного. Дабы быть совершенно объективным, отметим некоторые недостатки языка. Иногда язык Юрасова очень меток и хорош. Иногда же, к сожалению, неряшлив. Нельзя писать: «Когда опомнился и с трудом, отяжелевшими ногами, опираясь на перила, стал подниматься...». Но это первая книга Юрасова и такие погрешности бывают.

Мне думается, что «Враг народа» это еще, конечно, не роман. Он воспринимается только, как начало какого-то большого романа, как предисловие к какому-то большому роману. И если у Юрасова хватит сил развернуть свою очень советскую и очень нужную тему на большом полотне, то это будет большая художественная удача. Книга Юрасова говорит о нем, как о писателе талантливом, которому есть что сказать по-своему. Пожелаем ему самое нужное: — чтобы не началось «головокружение от успеха». *Роман Гуль*

С. МАЛАХОВ. «*Летчики*» Пьеса. Изд-во имени Чехова. Нью Йорк. 1952. (71 стр.). Printed by Rausen Bros.

«Летчики» Сергея Малахова — это первая русская пьеса, в которой автору удалось проникнуть в подлинный душевный мир современного советского человека. В этом главная причина успеха пьесы.

Малахов хорошо «чувствует» театр — неожиданно для начинающего драматурга. Его пьеса театральна. И, поэтому, несмотря на некоторую сухость и лаконичность языка, автору удалось основную свою идею провести ясно. Эта идея — психологическое разоблачение на первый взгляд «сильного» коммунистического человека, полковника Кудрявцева — вот «сквозное действие» «Летчиков». Автор съумел показать неустойчивость психологии сталинских «твердокаменных большевиков».

Советский человек, пока он еще не выбросил свой советский паспорт, сам бежит от собственных мыслей, боится своей собственной души. Потому что, несмотря на многолетнюю тренировку, жить одним «вторым лицом» нелегко. Нужна всегда поддержка со стороны. Мэри говорит Кудрявцеву: — «Слушая ваши разговоры с майором, мне казалось, что вы не его убеждали — вы знаете, что его нельзя переубедить — а как-бы еще раз убеждали самого себя».

Там, где сжатость, лаконичность уместна — там диалоги написаны хорошо. Таковы почти все сцены Мэри с Кудрявцевым и короткая сцена Михаила с лейтенантом. Маленькая роль лейтенанта вообще написана очень точно и выразительно. Как он правдив, естественен — этот советский лейтенант, не имеющий пока-что причин бросать свой паспорт и снимать свою защитную маску.

К недостаткам пьесы следует отнести образ миссис Крауфорд — «тёти» — появляющейся всегда в самых напряженных моментах пьесы. С ней самой эти драматические моменты тесно связаны. Но речь (да и поведение) миссис Крауфорд не всегда вяжутся с значительностью ее поступков. Говорит она скупо и маловыразительно.

Но недостатки эти второстепенны. Они не меняют основного. «Летчики» — большая удача С. Малахова. *Ю. Елагин*

STANISLAVSKY'S PRODUCTION OF THE SEA-GULL. Published by Theatre Arts Books. New York, 1952.

Искусство актера — преходяще: только легенда остается от таких артистов как Дузэ, Сара Бернар, Щепкин и Сальвини. Поэтому естественно желание узнать, как великие актеры создавали и исполняли свои известные роли? В этом отношении «Stanislavsky's Production of The Sea-Gull» редкая и увлекательная книга.

«Чайка» была первой постановкой Московского Художественного Театра, которая направила путь великого театра к всемирной известности. «Чайка» наметила начало натуралистической драмы в России, драмы настроения. Впервые режиссер Станиславский создал в ней совершенно новую технику реалистической, мотивированной игры. Это было начало современной театральной техники, — игры всего ансамбля вместо игры отдельных «звезд». С тех пор эта идея распространилась в западном театре и повлияла на все

серьезные театральные движения. Книга о постановке «Чайки» Станиславским включает содержание чеховской драмы, сценические указания Станиславского (по действиям) и всю фактическую информацию о приеме, который был оказан «Чайке» в свое время. Чрезвычайно важны указания Станиславского, обогащающие понимание пьесы и для профанов и для профессионалов. Благодаря своей исключительной чуткости и гению Станиславский дал интерпретацию пьесы, углубляющую понимание и Чехова и «Чайки».

Интересно отметить, что книга является также и комментарием к нашей современной сцене вообще. Станиславский ввел технику «реализма», но его реализм был *духовным*, построенным на чутье и желании проникнуть в психологию человека. Он отличался от теперешней актерской игры бóльшим, если можно так выразиться, благородством. Это лишний раз доказывает, что без культуры и мудрости Станиславского и ему подобных больших артистов, реализм превращается в окостенелую и грубую фотографию жизни.

В рецензируемой книге читатель найдет много интересного и достойного размышления материала. Современному актеру она во многом поможет в его профессии. Так Станиславский продолжает жить и теперь, становясь в меньшей мере легендой чем действительностью.

Р. Прайзинг

МИХАИЛ БУЛГАКОВ. Сборник рассказов. Изд-во имени Чехова. Нью Йорк. 1952.

М. А. Булгаков — необыкновенно разносторонний писатель: сатирик, романист, драматург. Его произведения — во всех жанрах — имели большой успех у читателя, и у подсоветского и у эмигрантского. Литературная деятельность Булгакова пронизана отрицательным отношением к советской действительности, из-за чего творчество писателя было взято советской цензурой в топоры. Если как романист и, особенно, как драматург Булгаков, с помощью Станиславского и Немировича-Данченко, еще кое-как держался в искусстве, то как сатирика, после крушения НЭП'а, его быстро лишили творческих прав: новые сатирические вещи его перестали печатать, а старые изъяли из библиотек. Поэтому рецензируемый сборник сатирических рассказов М. А. Булгакова имеет для нас особенную ценность. В сборник входят четыре произведения: «Роковые яйца», «Дьяволиада», «Дом № 13» и «Похождения Чичикова». Рассказ «Дом № 13» — не сатирический в точном смысле слова и включение его в сборник не обосновано.

Большая новелла «Роковые яйца» представляет собой развернутую пародию на фантастические романы Герберта Уэллса. В

«Дьяволиаде» слышны отголоски Гоголевской «Шинели» и «Двойника» Достоевского. «Похождения Чичикова» посвящены теме «бессмертия» героев «Мертвых душ», которые, не падая духом, принялись врастать в советский строй.

Нельзя согласиться с тем, что юмор Булгакова напоминает желчный смех Салтыкова-Щедрина. Саркастический смех — не от Щедрина, а от Гоголя; смех, в котором горечь и злоба согреты добродушием и любовью к человеку. И что самое главное — смех Булгакова порожден общим иронически-подозрительным отношением среднего подсоветского человека к большевистским порядкам.

Сатирическое творчество Булгакова являет собой строгий суд над советской эпохой. У большевиков есть железная энергия и сила воли. Сила воли — это точка опоры, в которую они вогнали рычаг, чтобы сдвинуть с места сперва — Россию, а затем — земной шар. Но у большевиков нет внутренней культуры: они интеллектуально и нравственно тупы. Трагический порядок большевистского созидания в том, что энергия и воля адептов этого строя ведут страну к неизбежной и непредотвратимой катастрофе — вот в чем заключается кардинальная идея «Роковых яиц». Тут остросюжетная пародия на научно-фантастический роман перерастает в гротеск огромной обобщающей силы, где созидательной деятельности коммунистов вынесен беспощадный приговор.

Совсем иначе построена «Дьяволиада», герой которой, делопроизводитель Коротков, унаследовал черты характера Акакия Акакиевича и Голядкина. Коммунистический бюрократизм и укрепленный им государственный строй держатся на чувстве страха и на унижении, которому подвергаются подсоветские люди. Непрерывные чистки и увольнения со службы — это своего рода кипятильник, на котором чувство страха непрестанно подогревается, не остывая ни на минуту. Коротков и гибнет, ошпаренный этим страхом. Он — типичная жертва двух советских близнецов: бюрократизма и чисток. «Дьяволиада» освещена состраданием к человеку и ненавистью к системе, которая его калечит.

Мы должны быть признательны издательству им. Чехова, выпустившему, ставшие библиографической редкостью, новеллы талантливого и гонимого советской цензурой М. Булгакова.

В. Завалишин.

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ ДЛЯ ОТЗЫВА

«Южный крест». I. Литер.-Худож. сборник группы русск. писателей и журналистов в Аргентине. Ред. Н. Н. Федоров. Буэнос-Айрес. 1951 (192 стр.).

«Свобода», орган послевоенных эмигрантов из СССР. №№ 1-2. Мюнхен, 1951-52.

«Сатирикон». №№ 1, 2, 3. 1952.

Макс Неттлау. Очерки по истории анархических идей. Издание Профсоюза г. Детройта. 1951 (393 стр.).

Н. В. Воронович. Записки камер-пажа императрицы. Нью Иорк. 1952.

Николай А. Реймерс. О «правом» и «левом» типах мышления. Опыт политической силлогистики. Париж. 1949.

Вл. Крымов. Из кладовой писателя. Париж. 1951 (198 стр.).

Boris Nolde. La formation de l'Empire Russe. Etudes, notes et documents. I. Institut d'études slaves. Paris. 1952 (296 p.).

Lithuanian Bulletin. Published by the Lithuanian American Council. №№ 1-7. 1951.

Gleb Struve. Soviet Russian Literature 1917-50. University of Oklahama Press. Norman. 1951.

Kultura, № 6/58. Paris. 1952.

P. Fleury-Odartchenko. Azelle. R. Debresse, éditeur. Paris. 1952 (44 p.).

Е. Андреевич. Кремль и народ. Политические анекдоты. Обложка худ. Н. Олина. Мюнхен. 1951 (134 стр.).

Анатолий Гейнцельман. Космические мелодии. Изд-во Пиронти. Неаполь. 1951 (226 стр.).

Григорий Забежинский. Стихи. Нью Иорк. 1952 (106 стр.).

Л. Ржевский. Язык и тоталитаризм. Мюнхен. 1951 (63 стр.).

Ф. Легостаев. Физическое воспитание и спорт в СССР. Мюнхен. 1952.

Д. В. Константинов. Я сражался в Красной Армии. Изд-во «Новое Слово». Буэнос Айрес. 1952 (136 стр.).

«Воля» №№ 1-3. Ежемесячник Союза быв. полит. заключенных из СССР под ред. В. В. Позднякова. Мюнхен. 1951-1952.

Владимир Злобин. После ее смерти. Стихи. Изд-во «Рифма». Париж. 1951 (46 стр.).

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА YMCA-PRESS (ПАРИЖ):

Лев. Шестов. Афины и Иерусалим. 1951 (274 стр.).

Борис Зайцев. Жуковский. 1951 (246 стр.).

Ф. М. Достоевский. Повести и рассказы. Том 1. 1951 (660 стр.)

Ф. М. Достоевский. Повести и рассказы. Том II. Париж. 1951. (658 стр.).

ИСПРАВЛЕНИЕ

В книге 29-й «Нового Журнала», в статье И. Г. Церетели «Российское крестьянство и В. М. Чернов», на странице 243-й, в строке 3-й сверху вместо «5-го мая» должно быть «5-го июня»

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

CHEKHOV PUBLISHING HOUSE,

387 Fourth Ave., New York. 16, N. Y.

ВЫШЛИ В СВЕТ:

М. А. АЛДАНОВ — Живи как хочешь. Роман в двух частях. Том I 384 стр..... 2.75
Том II 320 стр..... 2.75

А. А. БОГОЛЕПОВ — Русская лирика от Жуковского до Бунина. Избранные стихотворения, 416 стр. 2.75

Вилли КАТЭР — Моя Антония. Роман, перевод с английского В. С. Яновского, 320 стр. 2.50

М. М. НОВИКОВ — От Москвы до Нью-Йорка 416 стр. 3.00

М. ОСОРГИН — Письма о незначительном, 416 стр. 3.00

А. РЕМИЗОВ — В розовом блеске. 416 стр. 3.00

С. ШВАРЦ — Антисемитизм в Сов. Союзе. 272 стр. 2.25

В. МАРКОВ — Приглушенные голоса. (Поэзия за железным занавесом). 416 стр. 3.00

С. ГУСЕВ-ОРЕНБУРГСКИЙ — Глухой приход и другие рассказы. 304 стр. 2.25

НИКОЛАЙ НАРОКОВ — Мнимые величины. Роман. 416 стр. 3.00

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО — Повести и рассказы. 428 стр. 2.75

ВЛАДИМИР ВЕЙДЛЕ — Вечерний день. 224 стр.. 2.00

«Неизданный Гумилев». Под редакцией Проф. Г. Струве. 240 стр. 2.25

И. БУНИН — Жизнь Арсеньева. Роман. Первое полное издание. 388 стр. 2.75

С. ЮРАСОВ — Враг народа. Роман. 208 стр. ... 2.00

Эти книги вы найдете в книжном отделе «Нового Русского Слова», 243 West 56 Street. New York 19, N. Y. и во всех русских книжных магазинах.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

CHEKHOV PUBLISHING HOUSE,
387 Fourth Ave., New York. 16, N. Y.

ВЫШЛИ В СВЕТ:

С. МАЛАХОВ — Летчики. Пьеса. 71 стр. 1.00

А. АХМАТОВА — Избранные стихотворения. 272 стр. 2.25

М. БУЛГАКОВ — Сборник рассказов. 212 стр. ... 1.75

К. КРИПТОН — Осада Ленинграда. Записки очевидца. 256 стр. 2.00

Е. ЗАМЯТИН — Мы. Роман. С предисловием В. Александровой. 224 стр. 1.75

Б. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ — Последняя книга. Рассказы. 256 стр. 2.00

А. В. ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС — На путях к свободе. Воспоминания. 432 стр. 3.00

Ф. Ю. ТЮТЧЕВ — Избранные стихотворения. Предисловие В. В. Тютчева. 272 стр. 2.00

РОМАН ГУЛЬ — Конь рыжий. Роман. 288 стр. .. 2.00

Н. ЛЕСКОВ — Соборяне. Хроника. 400 стр. 2.75

Г. П. ФЕДОТОВ — Новый Град. 384 стр. 2.75

В. В. НАБОКОВ — Дар. Роман. 416 стр. 3.00

Н. В. ГОГОЛЬ — Повести. С предисловием В. Набокова. 272 стр. 2.00

Н. ТЕФФИ — Земная радуга. Сборник рассказов из жизни русской эмиграции. 285 стр. 2.00

Ю. ЕЛАГИН — Укрощение искусств. Воспоминания музыканта. 436 стр. 3.00

В. АЛЕКСЕЕВ — Невидимая Россия. 405 стр. 2.75

М. КОРЯКОВ — Освобождение души. 372 стр. ... 2.75

С. МАКСИМОВ — Тайга. Сборник рассказов. 208 стр. 1.75

Эти книги вы найдете в книжном отделе «Нового Русского Слова», 243 West 56 Street. New York 19, N. Y. и во всех русских книжных магазинах.